

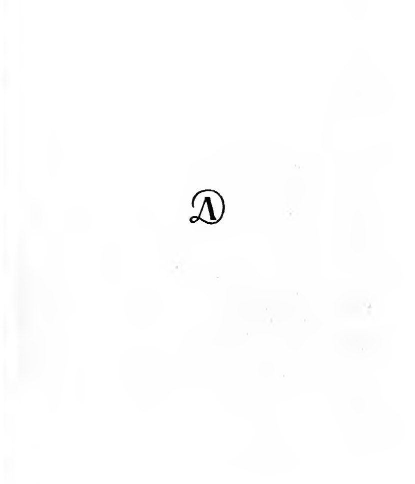
ГОД ВСТУПЛЕНИЯ 1918



ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА"









ЗИНАИДА ШИШОВА

ГОД ВСТУПЛЕНИЯ 1918

ПОВЕСТЬ

Рисунки Б. Маркевича

МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1978

Р2
Ш65

ИЗДАНИЕ ШЕСТОЕ

Ш $\frac{70803-014}{М101(03)78}$ 274—78


Часть первая



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Обыск

Сережа очень слабо потянул за ручку звонка, с таким расчетом, чтобы услышала его только Франя из кухни. Отворил ему, однако, Женя Гребенюк.

— Ну как? — спросил Женя с тревогой.

Сережа оглянулся. Двери в столовую и в кухню были распахнуты настежь, и так как мальчикам говорить о политике не разрешалось, оба они молча прошли в детскую. Сережа с грохотом сбросил ранец на пол.

— Всё враки! — объявил он.— «Алмаз» и «Синоп» как стояли на внешнем рейде, так и стоят...

— А «Ростислав»? — быстро отозвался третий обитатель комнаты — Вадя Шалыгин.

— И «Ростислав» на месте — у Большого Фонтана[1].

— Вот трепач этот Васька Маслов! — с возмущением сказал Женя Гребенюк.— Нет, вы подумайте только: вчера они втроем — он, Жорка Матюшин и Ника Бранд — объявили, что ни одного красного крейсера якобы в Одессе уже нет. Красногвардейцы якобы на военных кораблях по ночам потихоньку уходят в Крым. Ну, не сволочи, а? Надо им обязательно морды набить! Да, Вадька?

— Надо,— сказал Вадим.— Вот ты бы и набил,— добавил он насмешливо.

---

[1] Большой Фонтан — приморский район Одессы.

Очутившись в детской, Сережа понял, что происходит нечто неслыханное: оба его товарища одновременно приводили в порядок свои ящики.

— Что это за пасхальная уборка?..— начал было он дурашливо.

Но Вадя Шалыгин предостерегающе поднял руку.

— Она делала у нас обыск! — шепотом произнес он, оглянувшись на дверь.

«Она» — это могла быть только Ольга Ивановна, «Олька», их квартирная хозяйка.

— Интересно, что она искала? — добавил Шалыгин, покусывая губы.— Пора прекратить это безобразие!

Женя только свистнул: мол, попробуй прекрати!

— А как с хлебом, Сережка?—спросил он озабоченно.

Сережа вытащил из-за пазухи и развернул тощий пакетик: три тонких ломтика серого, недопеченного хлеба.

— Сегодня еще дали на троих,— сказал он.— Завтра и послезавтра хлеба вообще не будет. А во вторник будьте любезны каждый являться за своим пайком. Постановление учкома! А то, ей-богу, почти никто не посещает занятий...

— Уж ты много посещаешь! — резонно возразил Гребенюк.— Какие занятия, когда половины учителей нету! Тут уж никакой учком тебе не поможет!

Мальчики с особым вкусом произносили «учком». Это было новое слово, означало оно «ученический комитет». Такие комитеты, выбранные из учащихся самими же учащимися, были созданы недавно в помощь преподавателям.

Вадя оглянулся на шорох бумаги.

— Женька, не смей, что за свинство! — крикнул он возмущенно.

Но Гребенюк уже проглотил свою порцию хлеба.

— Верно, как не стыдно,— сказал Сережа.— Франя свой пай на всех делит!

— Пай и мы делим. А это специальная детская добавка. Нам больше нужно: у нас новые клетки образуются,— пробормотал Гребенюк, спокойно слизывая с ладони крошки.

— Чего же Олька у нас искала? — спросил Сережа.

— Она и сейчас еще у Франи орудует,— отозвался Шалыгин.— Ей-богу! Интересно все-таки, что ей нужно!

И все трое опрометью бросились на кухню.

...Мальчики ждали, что Ольга Ивановиа немедленно отошлет их обратно, нлн скажет что-иибудь по поводу беспорядка в детской, или вообще прндерется иеизвестио к чему...

Одиако ничего подобного не произошло.

Ольга Ивановна даже как будто рада их появлеиию. Она стонт посреди кухии и молча разглядывает стены. И стоит оиа с каким-то брезгливым в то же время озабочеиным лицом. А ведь кухня — это безусловио самое нитересное место в квартнре. Здесь на четыриадцати картинках можио проследнть жнзнь пьяницы, иачиная с того момента, как ои белоголовым мальчншкой допивает чью-то чужую рюмку, н кончая грозовой ночью, когда ои в изодраииой красной рубахе шагает со скалы в пропасть.

А вот злой король — горбоиосый Людовнк XI. Он стоит перед клеткой, где томятся сыиовья его царствеиного брата. Плеииикам невозможно выпрямиться — онн всю жнзнь осуждеиы простоять иа коленях, и заметиые слезы катятся по лицам присутствующих придвориых.

Когда-то Фраииоа кровать иоснла громкое иазваиие «Фрегат сокровищ». Ее инзкие, подламывающиеся назад иожки и миогоярусиые паруса подушек действнтельно сообщают ей стремнтельиость фрегата. Из-за парусов лезут красные пиратские морды наперииков. Но дело, коиечио, ие в этом: в трюме «фрегата», то есть у Франи под тюфяком, когда-то хранилось все, что не должно было попадать Ольге Иваиовне на глаза. Сейчас в Одессе иастоящий голод. Но ведь и в прошлом и в позапрошлом году Жене, Ваде н Сереже жилось у квартирной хозяйки ие очеиь сытно. Даже нз продуктов, которые привознла Сережииа мама или роднтели Гребеиюка, мальчикам мало что перепадало. Вот на присылаемые из дому деньги оии н прнкупали булку, халву или четверть фунта колбасы н все эти свои запасы прятали у Фраии.

Сейчас ни халвы, ии колбасы, ин булкн в Одессе не купишь. Правда, за короткое время Фраие уже два раза удалось выбраться в деревию н выменять иосильные вещи на продукты. В первый раз она сбыла свою красивую клетчатую шаль, потом пошли в ход вещи мальчнков.

«Благодаря моей прислуге,— говорит Ольга Ива-

новна в хорошие минуты,— мы не умрем от голода. В доме есть немного муки, картошки и даже капелька масла».

Завтра воскресенье — базарный день. Франя опять отправится менять вещи. Поэтому она уже сегодня занялась приготовлениями к «воскресному пиру». Завтра на обед вареники с картошкой!

Мерными и точными движениями Франя выдавливает стаканом тесто. Оно пищит под стеклом, и из стакана вываливаются вялые нежные кружки.

«Как это Франя может вот так спокойно брать мятую картошку из миски? — думает Сережа с уважением.— Хоть бы попробовала! Хоть бы ложку облизала!»

В бутылке с постным маслом медленно идет ко дну обессилевшая зимняя муха. Такие вещи можно увидеть в «естественном кабинете», в гимназии: пластинка янтаря, а в нем — муха или веточка. Честное слово, в кухне можно найти все, что есть интересного в мире! И ничего угрожающего здесь как будто не происходит.

Мальчики повернулись к двери. Ольга Ивановна тоже собралась уже уходить и вдруг от неожиданности ахнула и всплеснула руками.

Над кухонной дверью висела олеография военного времени. Как это Ольга Ивановна не замечала ее раньше! Над невысокими кустами, освещаемый страшным пламенем рвущихся гранат, казак на голубой лошади брал в плен четырех германцев. Бескозырка его была лихо сдвинута набок, похожий на виноградную гроздь чуб стоял у виска, и, если приглядеться, можно было заметить, что румянец храбреца состоит из множества багровых угрей. «Подвиг казака Крючкова» — гласила подпись под картинкой.

— О господи, откуда это? — слабым голосом сказала Ольга Ивановна, опускаясь на табурет. И потом погромче: — Франя, немедленно сожгите эту гадость!

Женя и Сережа оглянулись на Вадима: «Крючков» — это был его подарок.

Франя стояла молча. Все смотрели ей в спину. Стало слышно, как из крана каплет вода. Наконец, когда тишина сделалась уже нестерпимой, Франя, опять-таки не говоря ни слова, шагнула к столу за ножом. Четыре кнопки выстрелили в разные стороны. «Крючков» тот-

час же свернулся в трубочку. Со свертком под мышкой Франя направилась к плите. Женя смотрел в потолок, Сережа — в окно. Они боялись встретиться с Вадимом глазами.

Ободренная беспрекословным повиновением прислуги, Ольга Ивановна, прищурясь, оглядела Франину кровать.

— И это! — произнесла она, указывая пальцем вперед.

Франя замерла на месте, потом оглянулась через плечо: она не поняла распоряжения хозяйки.

— Все это снимите! — сказала Ольга Ивановна.— Что хотите делайте — жгите или выбрасывайте, но чтобы сегодня же в моей квартире этого не было! Целую роту солдат развешала!

Над кроватью действительно висело множество фотографий: в зажимах под стеклом, в оклеенных ракушками рамках и вовсе без рамок. Мальчики знали историю каждой фотографии. Вот, например, эта группа — четверо солдат — прислана совсем недавно. Это Франины двоюродные братья. Они снимались уже без погон и со звездочками на папахах. Вот Пава, Франин жених из Бессарабии. На обороте карточки так и написано: «Напамить прыбывання Бисарабие».

Снимок этот давний — тогда Паве не было даже семнадцати лет. Они с Франей, кажется, и познакомились в Бессарабии, когда Франя нанималась туда «на бураки». А Пава так влюбился, что приехал за ней в Одессу. Он работал в железнодорожных мастерских и бывал у Франи, пока его не забрали в солдаты.

Впрочем, сам Сережа Павы никогда не видел, а обо всем этом знает от Жени и Вади. Те с Франиным женихом знакомы были хорошо. А Сережа поселился у Ольги Ивановны в сентябре 1914 года, когда Пава был уже на фронте.

...Франя медленно и осторожно сняла с гвоздиков фотографии и, придерживая стопку подбородком, снова направилась к плите. Женя Гребенюк даже покачал головой и сочувственно поцокал языком. Все трое мальчиков повернули головы, следя за каждым Франиным движением. Даже Ольга Ивановна нервно позвякивала в кармане ключами.

По плите метались пыльные шарики воды. Франя сняла крышку с кастрюли, вода в которой перекипала через край, и с грохотом отодвинула чугунные кружки. Сережа так громко проглотил слюну, что Женя и Вадя испуганно оглянулись.

Подбросив в плиту лопаточку угля и все еще поддерживая карточки подбородком, Франя вернулась в свой угол. Ловко, без помощи рук, она опустилась на колени. Потом, выдвинув из-под кровати сундучок, девушка ссыпала туда карточки, уложила полушалок, сняла коврик, стянула со спинки кровати полотенце, вышитое петухами, освободила подушки от наволок. Кухня тотчас же наполнилась летающим пухом.

Мальчики с трудом удерживались от чихания, боясь напомнить о своем присутствии.

Последним Франя уложила в сундучок свернутого в трубку «Крючкова».

— Ну,— сказала Ольга Ивановна, переставая бренчать ключами,— что это будет?

Франя резко повернулась к ней, и тут все увидели, как сильно дрожат ее полные вишневые губы.

— У вас осталось ще моих четырнадцать рублей,— сказала она тихо.— Давайте мени гроши, я пиду на друге мисце...— И вдруг, положив голову на кровать, громко зарыдала.

— Это что еще за истерика! — пробормотала Ольга Ивановна и, зная, как ошеломляюще действуют непонятные слова на простые сердца, добавила: — Надо стараться не оскорблять патриотические чувства врага!

Франю так и подбросило от этих слов. Смысл малопонятной для мальчиков фразы был, очевидно, ею разгадан немедленно.

— Оскорблять! — вдруг закричала она каким-то новым — сильным и хриплым голосом.— А что немцы брата моего убили — то цэ не оскорблять? А что Вадя мени подарував, а вы кажете «гадость» — то цэ не оскорблять? Я всэ терпила за ради хлопчиков, продукты свои возыла, а теперь — давайте мени гроши, я пиду на друге мисце!

— Успокойтесь, пожалуйста! — сказала Ольга Ивановна.— Даже по ихним законам вы не имеете права уходить без предупреждения. Я — трудовой элемент.

По документам Ольга Ивановна числилась преподавательницей арифметики.

Однако Франю трудно было успокоить.

— Имею право! — во весь голос кричала она.— Батрачила пять лет — róди![1] Из своей муки коржи пекла, торговала на базаре, а гроши — вам. Такой трудовой элемент! Тильки хлопчиков жалко, а то давно ушла бы!

— Вот и не уходите, если жалко! — обращая все в шутку, весело сказала Ольга Ивановна.— Я ведь портрет Павы вашего не заставляю жечь или выбрасывать... А на что вам все эти вояки? — добавила она совсем добродушно.— Словом, не выдумывайте глупостей, оставайтесь... А карточки припрячьте куда-нибудь подальше...

— Паву могу и пожечь! — сказала Франя сумрачно.— Полгода не пишет! А люди с фронта приезжали, говорили — живой... Бачили его... А цих — прятать не буду. Що вони — воры чи разбойники? Вони на войне, может, уже головы свои поскладали...

И вот тогда была сказана историческая фраза. Ольга Ивановна обеими руками ухватилась за грудь и, останавливая на клетке с королевскими детьми трагический взгляд, произнесла:

— Ну вы подумайте, что только она вытворяет! А ведь не сегодня-завтра в город войдут немецкие войска.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мама

Комната, носившая громкое название детской, была самой темной в квартире. Окно ее выходило на лестницу. В детской стояла корзина с грязным бельем и не уместившийся на кухне шкафчик с посудой. В трех его верхних ящиках мальчики держали свои вещи.

[1] Гóди (укр.) — хватит.

Обогревалась детская только плитой со стороны кухни, поэтому зимой здесь было холодно, а летом жарко. Но мальчики были невзыскательны.

— Слышали? — сказал Вадя, спуская с кровати длинные желтые ноги и поеживаясь от холода.— По городу ходят бандиты и грабят. По ночам домовые комитеты будут дежурить в подъездах с оружием... Попросимся, а? Сережка в четвертом — ему могут не дать... А старшеклассникам, по-моему...

— Пятый тоже еще не старший класс...[1] — моментально проснувшись, ответил Женя Гребенюк.— Так тебе сразу и дадут оружие! А вдруг оно разорвется у тебя в руках...

Сережа Кульчицкий спал, уткнувшись носом в грязноватую наволоку.

— Сергей! — крикнул Женя.

Сережа точас же открыл глаза.

— Что, Франя уходит все-таки? — спросил он обеспокоенно.

— Останется! Что ты, Франю не знаешь? — разом ответили оба мальчика.

— А Олькины немцы пришли уже? — спросил Сережа несерьезно.

И все трое расхохотались.

— Шутки шутками, а вот, говорят, их идет сюда сто тысяч! — заметил Гребенюк таинственно.

— Кого сто тысяч?

— Да немцев же!

— Кто говорит? — спросил Сережа сердито.— Ей-богу, Женька, ты как баба на базаре!

Мальчики помолчали. Если действительно в Одессу идет сто тысяч немцев — дело, пожалуй, неважное... Кроме команд военных кораблей, в городе, кажется, войск нет. Но, впрочем, мало ли что болтают в городе!

Мальчики часто ходили на Стрельбищное поле, где происходили полевые учения отрядов одесской рабочей Красной гвардии. Оружия у красногвардейцев было мало — шесть человек стреляли из одной винтовки.

---

[1] Четвертый и пятый классы старой гимназии соответствуют шестому и седьмому классам десятилетки. В первый класс гимназии принимались дети девяти-десяти лет.

— Вот разве еще железнодорожники...— начал Вадя неуверенно и вдруг замолчал.— Тшш! — прошипел он.

Несколько минут назад прозвеиел двериой колокольчнк, ио мальчики не обратили иа это виимаиия. А сейчас по коридору протащили что-то тяжелое.

— Спасибо, Франечка, дальше я сама,— услышал Сережа ласковый, страшно знакомый голос.

— Сережа, Вадя, Женя! Вставайте и одевайтесь,— сказала Ольга Иваиовиа, распахнув дверь детской.— Приехала Нина Леоиидовна!.. По воскресеньям дети встают иемного позже,— объясиила оиа кому-то в коридоре.

Это, вероятно, бывает со всеми. Открывается дверь. В конце стола сидит мама. С пушистыми волосами, прилежио зачесаииыми за уши. С тугим честиым узелком на макушке. (А Ольга Ивановна из своих редеиьких волос разделывает такое, что можно подумать — они у нее до пят!) И сердце ваше иачинает стучать так, точно вы пробежали не меиьше версты.

В груди у Сережи становится жарко и тесио. Этак, пожалуй, можио и расплакаться.

— На-ко-не-ец-то! — протяжно произиосит Ольга Иваиовна.— Ну вот, полюбуйтесь иа своего отпрыска. Воображаю только, какие у него руки и ногти!

Мама все понимает. Она ие рассматривает Сережино несвежее белье или пятиышки на куртке. Она наклоняется и целует мальчика мелкими горячими поцелуями. От волос мамииых сладко пахиет сеиом и чуть-чуть пылью и дымом.

Сережа иезаметно прижимает мамины пальцы к глазам. А для вида бормочет:

— Ну, будет, будет... Да не иацеловывай меня так!

Ольга Ивановиа молча наблюдает эту сцену, довольная, что ннкто ие обратил внимания на Сережин запущеиный вид. У Кульчицкой и ее сыиа волосы, оказывается, одного и того же красивого пепельиого цвета. А Кульчицкая, когда ие знает, что иа нее смотрят, становится просто хорошенькой.

«Но она — типичиая сельская учительница, совершенно ие занимается своей наружиостью»,— думает Ольга Ивановиа иеодобрительно и тут же ласково улы-

бается своему отражению в зеркале: при несколько излишней полноте, небольшом росте и не очень больших глазах — все-таки можно кое-чего добиться!

Знакомые прозвали Ольгу Ивановну «Екатериной Великой».

Подталкивая друг друга и хихикая, мальчики рассаживаются. Нина Леонидовна, безусловно, привезла из деревни что-нибудь съестное. Они с надеждой оглядывают стол, но — увы! — кроме морковного чая без сахара и шести ломтиков хлеба, на столе ничего нет.

— Мама, а что же это вы тащили с Франей? — спрашивает Сережа, чтобы прервать тягостное молчание.

— Мать твоя занимается благотворительностью,— отвечает Ольга Ивановна язвительно.

У мамы робкий и виноватый вид. Она заметно стесняется. По первому взгляду Ольги Ивановны она пододвигает все, что той нужно.

— И великолепно можно было отсыпать пять-шесть фунтов пшена! — говорит Ольга Ивановна, очевидно продолжая начатый разговор.

Мама краснеет.

— Что вы, Ольга Ивановна! — вырывается у нее возмущенно.— Это пшено, посланное детским домам. Наша волость шефствует над седьмым и восьмым детдомами города Одессы.

— И что же вы думаете, ваше пшено так и дойдет до этих детдомов? — презрительно спрашивает Ольга Ивановна.— Уверяю вас, его разворуют по дороге! А вы это хитро придумали, что остались в деревне: по крайней мере, не голодаете, как все мы!

Кульчицкой в Валегоцулове живется не бог весть как сытно: свой учительский паек она сдала на кухню «питательного пункта» и получает там один раз в день горячую пищу.

Она молча обводит ребят взглядом. Даже Женя сейчас заметно осунулся. Жаль, что ей не удалось на этот раз завернуть в Ананьев на крупорушку[1] к Гребенюкам. Женина мама уж наверняка передала бы ему какой-нибудь гостинец. А на Сережу и Вадю просто больно смот-

[1] Крупору́шка — мельница, перерабатывающая зерно на крупу.

реть. Особенно на Вадю. «Он все тянется и тянется вверх»,— думает Кульчицкая с сочувствием и, щурясь, старается припомнить, чем закончилась эта история с Вадиным отцом.

Офицер военного времени, штабс-капитан Шалыгин после отравления газами получил в 1915 году чистую отставку. Однако в конце 1916 года ему снова пришлось лечь в лазарет — иприт[1] давал себя знать. Шалыгин, кажется, находился еще на излечении, когда в Одессе была провозглашена Советская власть. Где же он теперь?

Ольга Ивановна, проследив взгляд Кульчицкой и словно читая ее мысли, говорит со вздохом:

— Да, вот штабс-капитан скрывается от них у рыбаков, в Дофиновке... Вы доставляете пшено в детские дома, а мадам Гребенюк, как вышла во второй раз замуж, вообще, очевидно, считает, что сыну ее не нужно есть...

— При чем тут мама?! — отзывается Женя сердито.— Это все отчим! Если бы не Советская власть, он вообще забрал бы меня из гимназии. Ему, видите ли, нужен весовщик на его крупорушке. Ведь тот окорок мама тоже тайком от него прислала...

— Да, кому-кому, но тебе, Евгений, пошла на пользу Советская власть,— перебивает его Ольга Ивановна. Потом она некоторое время сидит, постукивая пальцами по столу. «Угостить или не угостить Нину Леонидовну ветчиной? Нет, не стоит, а то Кульчицкая еще вообразит, что в доме бог весть какие запасы».

Взвизгивает дверь. Ольга Ивановна оглядывается и возмущенно поднимает брови.

— Вам что-нибудь нужно, Франя? Сколько раз я просила, если у меня есть кто-нибудь, без стука не входить!

Франя, не отвечая, обходит стол.

— Нина Леонидовна, а что — наша Домочка учится? — спрашивает она тихо.

— Учится, учится,— вся расцветает Кульчицкая.— Только, знаете, трудно ей. Пишет очень плохо. А вот Юрко ваш, тот совсем молодец, мы его сразу во второй класс приняли.

---

[1] Иприт — отравляющее вещество, примененное немцами на западном и восточном фронтах в 1915 году.

— А с Кохановских послал кто хлопчат до школы? — спрашивает Франя, и злые желваки передвигаются под ее скулами.

Нина Леонидовна трет пальцами виски. Сережа знает, что кохановские зажиточные хуторяне — мамино больное место.

— Ой, плохо, плохо на Кохановских отрубах[1],— говорит Кульчицкая огорченно.— Не хотят они детей учить, мы ведь закон божий упразднили... А в Гандрабурах богачи хату-читальню сожгли. Хорошо еще — хоть человеческих жертв не было... Но ничего, Франечка, не всё сразу. Поймут люди... И с питанием дело наладится. Ведь вы знаете....

Ольга Ивановна считает, что разговор этот пора закончить.

— Ну, вот и весь наш завтрак,— перебивает она Нину Леонидовну, со вздохом поднимаясь из-за стола.— Чем богаты....

Но нежелательные слова все-таки произнесены.

— С питанием безусловно дело наладится,— повторяет Кульчицкая уверенно.— Ведь уже известно: блокада скоро будет снята. Красная Армия в Конотопе... Подумать только — регулярная Красная Армия!

«Значит, про немцев Олька все наврала! Ну вот и отлично!» Сережа ждет, чтобы все ушли из столовой,— ему нужно поговорить с мамой по душам.

— Знаешь, взяла бы ты меня домой,— начинает он как можно равнодушнее.— Пожили бы наконец вместе...— И вдруг с ужасом чувствует, что глаза его наполняются слезами.

— Сереженька, милый, что с тобой?

Нина Леонидовна обнимает сына. За тонкими ребрышками под ее рукой мелко-мелко бьется его сердце. Она жадно разглядывает длинные слипшиеся ресницы, нос, с бегущей по нему слезинкой, и, совсем как маленького, гладит Сережу по голове с золотистой восьмеркой на макушке.

Несколько минут они сидят обнявшись, и от этого им обоим становится немного стыдно.

— А дружка своего, Федю Рубана, ты еще по-

[1] Отруба́ (укр.) — хутора.

мнишь? — намеренно громко спрашивает Кульчицкая.— Он сейчас главный мой помощник по хате-читальне...

Помнит ли Сережа Федьку Рубана! Нет, эти взрослые, ей-богу, странный народ! Даже мама... Сережа не видел Федьки только с прошлого лета. Да и вообще, как можно задавать такие вопросы!

Возвращаясь на каникулы домой, Сережа обязательно соскакивал у хаты Рубанов, а потом три с половиной версты тащился в Валегоцулово пешком. Мама с этим уже примирилась. Без Федьки он дня не мог прожить. Когда Федьку наняли в пастухи в Кохановку, Сережа ежедневно ходил к нему лесом — шесть верст туда и шесть обратно. Он даже похудел в то лето... Федьке же он подарил своих любимых голубей — белую египетскую и двух турманов.

— Твой помощник по хате-читальне? — переспрашивает Сережа озадаченно.— А голуби как же?

...В деревне сейчас не до голубей. У Рубанов, где ребят шестеро — мал мала меньше — и семья недавно лишилась кормильца, голубей, пожалуй, съели... И уж, во всяком случае, Феде Рубану сейчас не до голубей.

Однако, чтобы не огорчать сына, Нина Леонидовна говорит весело:

— Да разве ты не знаешь Феди? У него на все хватает времени — и на голубей, и на хату-читальню... Мы, между прочим, ее в новом доме Котованов устроили...

Сережа громко хохочет.

— Понимаю! — кричит он торжествующе.— Федька потому и пристроился к хате-читальне, что она в доме Котованов! Ого, там голубятня на полсотни голубей!

Нина Леонидовна, задумавшись, так долго смотрит в одну точку, что Сережа даже оглядывается в недоумении.

...Голубятни в доме Котованов давно нет. Когда хозяев переселяли в их старую хату, старик Котован со зла порубил голубятню на щепки. Отца Феди Рубана подстрелили в Кохановском лесу; он долго болел и умер неделю назад. Но Сереже совсем нет надобности знать обо всем этом. Нина Леонидовна нисколько не собирается прятать его от жизни, но пускай как можно дольше продлится его детство!

Глава третья

Одесса красная

Размахивая руками и громко переговариваясь, мальчики шагают впереди. Вадя и Сережа тащат мешок с пшеном, а Женя, хватаясь то за одно, то за другое его ухо, дает, очевидно, товарищам какие-то наставления. Шагают они не в ногу, мешок нелепо раскачивается... Ну вот — конечно, уронили!

— Осторожнее! — кричит им вслед Нина Леонидовна.

Она на минуточку закрывает глаза. В последний раз она была в Одессе в декабре 1917 года и январе 1918, во время школьных каникул. Подумать только, сколько всего напроисходило за эти два месяца!

Сейчас город окружен врагами: в руках гайдамаков[1] Беляевка (водопровод), Кодыма, Рудница (топливные районы)... Враги отрезали Одессу от железной дороги; они перехватывают направляющиеся сюда подводы с продовольствием. Вот даже этот мешок пшена Нине Леонидовне три или четыре раза приходилось тащить на собственных плечах. Их возница, как только на дороге показывались конные разъезды, сворачивал в кусты или в овраги. А когда объехать встречных не было возможности, люди брали свой груз на плечи и прятались в канавах. Потом, делая круг, приходилось догонять подводу бегом. У Кульчицкой до сих пор еще немного покалывает в боку.

В Одессе не работает водопровод. По воду ходят к артезианскому колодцу на Матросском спуске. Нет продовольствия. Бывшие лавочники и спекулянты, припрятав продукты, продают их из-под полы втридорога. Нет дров. Говорят, вырублена половина Дюковского сада.

---

[1] Гайдамáки (укр.). — Так называли себя контрреволюционные буржуазно-националистские банды Петлюры. Они заимствовали это название у казацко-крестьянских повстанцев XVIII века, пытаясь сколько-нибудь прикрыть им свою антинародную сущность.

Нина Леонидовна открывает глаза и додумывает свою мысль: «И все-таки в Одессе сейчас как-то лучше, светлее. Может быть, потому, что закрыты все кабаре и кабаки, которых уж слишком много расплодилось, как это ни странно, за последние годы войны».

Вот прошли двое молодых парней, по виду — рабочие. Они опоясаны патронташами. Это сейчас что-то вроде формы — патронов в патронташах может и не быть. На рукавах у парней — красные повязки. В городе то и дело идут облавы, вылавливают спекулянтов и валютчиков.

Это новое слово и новая профессия. Многие из «бывших людей» любой ценой перебираются через границу и переправляют туда свои капиталы и свои семьи. Вот и появились «валютчики» — люди, с большой для себя выгодой меняющие советские деньги на иностранную валюту.

— Говорил я,— вдруг долетает до Кульчицкой сердитый Женин голос,— нужно было разделить пшено на три равные части. А то втроем тащить невозможно: один трудится, а двое мешают...

— Ты-то уж, во всяком случае, не трудишься,— отзывается запыхавшийся и взъерошенный Сережа.

— А Вадька трудится? Все пшено переехало на твою половину.

— Он не виноват, что такой высокий,— вступается Сережа за своего напарника.

— Ну довольно препираться! — говорит Нина Леонидовна.— Если вы хотите кому-нибудь помогать, делайте это так, чтобы человеку была приятна ваша помощь. Давайте-ка я понесу сама!

— Что вы, Нина Леонидовна! — Вадя испуганно выдергивает у Сережи мешок, взваливает его на плечи и, согнувшись, прибавляет шагу.

— Вот циркуль настоящий! — не то иронически, не то виновато говорит Гребенюк ему вслед.

— Да, худенький очень.— Нина Леонидовна вдруг кричит во весь голос: — Ничего, родные, потерпите — скоро блокада будет снята!

Ребята с улыбкой оглядываются, им тоже кажется, что город сегодня какой-то особенный... Праздничный...

Нет, на самом деле: до́ма душно, уныло, пахнет едой

и стиркой. А на улице хоть и холодновато, но уже по-весеннему ярко. Только что прошел короткий шумный дождь. Улицы побелели и стали просторнее. На акации больно смотреть: веточки вместо почек унизаны толстыми сверкающими бусинками воды.

— А Вадька, если хотите знать, худой от своего собственного благородства! — изрекает вдруг Женя Гребенюк.

Чтобы не встретиться с ним глазами, Нина Леонидовна смотрится в красную, похожую на картинку лужу. Но Гребенюк подмечает ее улыбку.

— Да вы не смейтесь! — говорит он обиженно.

Солнце бьет прямо в его яркие, золотисто-карие глаза. Как можно не улыбнуться, глядя на этот веселый, смеющийся рот! А рыжие волосы Гребенюка так и пылают на солнце.

— Вот, например, сейчас,— продолжает Женя,— схватил весь мешок и потащил. А чего, спрашивается? Великолепно можно было разделить пшено на всех... Ну что ж, пускай тащит — нам с Сережкой еще лучше.

Нина Леонидовна молчит.

— А недавно Вадим получил письмо от отца. Я говорю: «Вадька, ну что тебе стоит, скажи Ольке, что папа твой передает ей поклон и сердечный привет. Она раздобрится и выдаст нам какую-нибудь добавочку». Честное слово... Вы так и поверили, что у нее только мука и постное масло? Что Франя привозит, то и расходуется... А окорок? А топленое сало? У Ольки полная кладовая припасов... Да, так вот Вадька не захотел. Это, видите ли, не-бла-го-род-но! — по слогам произносит Гребенюк.

— Конечно, неблагородно,— бормочет Сережа.

Мальчикам отлично известно, что, запоздай Гребенюки или Кульчицкая со взносом платы «за полный пансион», Ольга Ивановна Веде немедленно подымет скандал. А Вадин папа — совсем другое дело! Красивый, бледный штабс-капитан Шалыгин и раньше навещал сына неаккуратно и, кажется, так же неаккуратно вносил деньги. Но он — офицер, вдовец, и Ольга Ивановна относится к нему снисходительно. В дни его посещений она надевает свое самое шуршащее платье, и мальчики знают, что она хочет выйти замуж за Вадькиного папу. Только это уж дудки!

Нине Леонидовне следовало бы тут же остановить Гребенюка, объяснить ему всю неблаговидность его рассуждений, запретить называть Ольгу Ивановну «Олькой», но сейчас не до этого. Она внимательно смотрит на Женю, а потом на Сережу.

— Не знаю, может быть, мне это только показалось,— говорит она задумчиво,— но ты, Женя, как будто с какой-то насмешкой произносишь слово «благородно»...— Она не замечает, какой быстрый, торжествующий взгляд бросает на товарища ее сын и как внезапно густо краснеет Гребенюк.

Он мерит глазами расстояние, отделяющее его от Вадима, и бормочет виновато:

— Сейчас, Нина Леонидовна, его уже не догонишь... И вы не знаете Вадьки: мешок он не отдаст до самой думы!

На бульваре, в здании бывшей городской думы, сейчас помещается Наркомпрос, куда Кульчицкой нужно доставить пшено.

Догнать Шалыгина, однако, удалось до того, как все добрались до бульвара. Женя, первым свернув на Преображенскую, остановился, оглядываясь на Кульчицких.

— Авария! Скорее! — крикнул он, приложив ладони рупором ко рту.

Кульчицкие прибавили шагу. А вот и Вадя, тут же за углом. Прислонившись к столбу для афиш, он беспомощно смотрел на женщину в красной косынке, которая, ползая по тротуару, собирала рассыпанное пшено. Вторая, постарше, пристраивала поудобнее мешок у Вади за спиной.

— Стой-ка, не завязывай,— сказала женщина в красной косынке,— может, еще на мисочку какому-нибудь сиротинке хватит! — и высыпала собранное зерно в мешок, улыбаясь подоспевшей Нине Леонидовне.— Сейчас пробиться в город — это не шуточка!

Кульчицкая поняла, что Вадим успел рассказать женщинам и о пшене, и о детских домах, и о трудной дороге.

Поняла Нина Леонидовна и другое: вот почему город кажется ей сегодня каким-то близким, своим... Дело не в закрытых кабаках. Просто сейчас Одесса — точно один большой дом, а все живущие тут — это свои, близкие люди. Не все, конечно, но буржуев на улицах почти не

видно — всё больше бушлаты, кепки, платочки. Если и попадается один-другой «бывший», он старается как можно скорее прошмыгнуть в ближайший подъезд. А люди в кепках, платочках и бушлатах спокойно и хозяйственно, точно по собственному дому, двигаются по улицам. Встречные заговаривают друг с другом, словно все они давным-давно знакомы между собой.

— Трудно ехала? — участливо спросила женщина в красной косынке.

— Нет, ничего,— ответила Нина Леонидовна, чувствуя, что в глазах ее стоит горячий туман слез, и в душе упрекая себя за сентиментальность.— Перетерпим! Теперь с каждым днем будет легче.

Женщины переглянулись.

— А про немцев ничего не слыхать? — быстро спросила старшая.

— Какие там немцы! Гайдамаков гоним! — весело вмешался Гребенюк.— Красная Армия уже в Конотопе!

— Ну, давай боже! — Старшая перекрестилась и добавила, точно извиняясь: — Мы ведь, знаете, еще по старинке...

— Ты когда уехала? Шестого? — спросил Сережа.— Так! А все началось еще четвертого января! Вот здесь,— он повел рукой вдоль Преображенской,— проходила зона: граница между нашими и гайдамаками... Весь порт, Пересыпь,— Сережа по одному загибал пальцы,— Слободка, Молдаванка, Ближние Мельницы, Дальние Мельницы были в руках Красной гвардии. А центр, Малый, Средний и Большой Фонтаны, весь Александровский парк занимали гайдамаки и юнкера.

— Ух, помнишь, Сережка, семнадцатого января гайдамаки ка-ак грохнут из орудий! — сказал Женя.— У нас все стекла повылетали.

— А тогда — наши из порта, с «Алмаза»! — вмешался Вадя Шалыгин, который уже отдышался и с мешком на спине готов был снова двинуться в путь.— И тут железнодорожники вывели свой бронепоезд...

«Порт, Пересыпь, Слободка, Ближние и Дальние Мельницы, Привокзальный,— думала Нина Леонидовна,— это всё рабочие районы».

— Вот здорово было! — тем временем весело рассказывал Гребенюк.— Железнодорожники с вокзала шпарят, морячки — с «Алмаза». А эти как крысы в мышеловке: юнкерочки-то в своем Сергиевском училище засели. Только мы уже в первый день знали, что наши возьмут верх. Да, Вадька?

Вадя Шалыгин снова снял мешок и уселся на него посреди тротуара.

— Ты только не завирайся. Никто ничего не знал. А юнкеров из Сергиевского училища еле выбили,— сказал он, вытирая рукавом лоб.

— Мамочка,— весь румяный от волнения, вмешался Сережа,— а ты ведь и не подозревала: четвертого января, оказывается, уже был создан штаб восстания... А ты тогда еще в городе была... А потом, числа одиннадцатого, по-о-ошло! Крейсер «Алмаз» открыл стрельбу.

Ой, яблочко,
Куда ты котишься?
На «Алмаз» попадешь —
Не воротишься! —

заорал вдруг Гребенюк на всю улицу.— Это наши одесские беспризорники сложили... Сейчас на «Алмазе» заседает Чрезвычайная комиссия — ЧК, судит спекулянтов и валютчиков... У одного на Княжеской нашли сто сорок два пуда топленого масла!.. Ой, ну и было! — Закрыв глаза, Гребенюк покачал головой.— Снаряды над домами — вззз-о-оух! Гух, гух... Мы ведь тогда с Вадькой и Сережкой сидели в подвале на Треугольном переулке. В самом пекле!

Вадя сердито толкнул Женю локтем.

— То есть это наверху было пекло,— тотчас же поправился Гребенюк.— А в подвале неопасно было... Ей-богу! Я же не пойду, где опасно.

Все громко засмеялись. А Женя уже не мог остановиться.

— Вот там, на Треугольном, мы и дали клятву. Вадька порезал палец перочинным ножом, и мы поклялись на крови...

Шалыгин густо покраснел, потом побледнел до того, что у него засветились белые пятнышки на скулах.

— Да это так... ерунда...— пробормотал он.— Хотя папа рассказывал: они в окопах тоже клялись... И шашку целовали. За Советскую власть... Его ведь солдаты в свой комитет единогласно выбрали.

— И зря это Анатолий Вадимович уехал!..— сказал Женя с досадой.— Давай, давай, Вадька, мне мешок...— добавил он ласково.— Сережка, не тронь, я один понесу... И знаете, это у штабс-капитана тоже от благород...— Глянув на Кульчицкую, Женя тут же спохватился.— Это у товарищей Шалыгиных, у обоих, гордость играет. Не дай господи! Мол, его не зовут — так и не надо, не будет навязываться. Выписался из госпиталя и...— Женя приподнял фуражку,— рыбку в Дофиновке предпочитает удить...

Крякнув, он с помощью товарищей взвалил мешок на спину.

— Но, кажется, объявляли мобилизацию офицерского состава? — сказала Нина Леонидовна задумчиво.— А ведь как Красной Армии нужны честные старые специалисты! — добавила она и пожалела.

— Он — честный,— сказал Вадя, покусывая губы.— Но он кашляет кровью... Может, он поэтому не хотел являться...

Вадя и Женя проводили Кульчицких до бульвара и распрощались. А Гребенюк ведь так и донес пшено до самых ступенек думы!

Потом Сережа уселся в коридоре Наркомпроса дожидаться матери.

Ждать пришлось недолго. Нина Леонидовна вышла минут через десять.

— Сдала пшено! — объявила она, вся сияя.— Обрадовались как, Сереженька! Жалованье мне для валегоцуловской и сычавской школы за два месяца выдали! Вот удача! И, знаешь, я все-таки поговорила о тетрадках... Все сочувствуют, конечно, а тетрадей взять неоткуда. Я уже начала прощаться, вдруг входит молодой человек. Инструктор... Так внимательно отнесся: «Попробуйте, говорит, в штабе Красной гвардии. Они реквизировали в типолитографии Франца Маха все запасы». Такие милые, сейчас же мне пропуск выписали...— Нина Леонидовна вдруг растерянно оглянулась.—Ой, Сереженька, а я ведь даже адрес штаба не спросила!

— Пошли,— сказал Сережа спокойно.— Торговая улица, дом номер четыре.

Ветер с моря дул сейчас им в лицо. Солнце зашло за тучи.

Сережа весь съежился и приумолк. Нина Леонидовна тоже шагала молча и думала о своем. Конечно, в такое время всем близким следовало бы держаться вместе. Но бросить работу в сельской школе, где в ней была такая нужда, она не могла. А Сереже нельзя оставлять гимназию. Когда выяснилось, что в городе учатся еще меньше, чем в Валегоцулове, она могла бы выписать Сережу к себе, но побоялась. Уж очень казалось ей на селе неспокойно... и, что бы ни говорила Ольга Ивановна, голодно. Нина Леонидовна подсчитала в уме: за последний месяц советские служащие в Валегоцулове четыре... нет... три раза получали хлеб. И, кроме того, Кульчицкая была уверена, что «на полном пансионе» у Веде мальчики будут гарантированы от всяких случайностей переходного времени. А вот выясняется, что они оказались в самой гуще событий.

Снова вышло солнце, но и оно, побывав за тучами, стало, казалось, холоднее.

А Сережа, как на беду, готовясь нести пшено, для удобства не надел шинели.

— Возвращался бы ты домой,— сказала Нина Леонидовна, видя, как он ежится от ветра.

Но Сережа только сердито помотал головой.

— Сы́нка,— сказала Кульчицкая, останавливаясь и насильно поворачивая его лицо к себе,— ты ведь знаешь, как я всегда волнуюсь за тебя. Не бойся, я не стану допытываться, откуда вы в курсе буквально всего, что происходит в городе. Но неужели, направляясь туда, в подвал на Треугольном, ты не подумал обо мне... Ведь если бы с тобой что случилось...

— Да никто и не «направлялся» туда...— пробормотал Сережа сердито.— Шли мимо, вдруг — артиллерия. Мы и полезли в подвал. А откуда мы в курсе всего, что делается в городе? — Он пожал плечами.— Ей-богу, даже не знаю... Наверно, один мальчишка услышит что, расскажет другому, тот — третьему, и пойдет.... А в подвале, честное слово, не очень страшно было, там с нами даже две девчонки сидели.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Торговая, четыре

В дверях штаба с винтовкой в руках стоял парнишка лет тринадцати-четырнадцати в не по росту длинной шинели. Нина Леониндовна только собралась было тронуть Сережу за плечо, указывая глазами на часового, как тот, взяв винтовку наперевес, загородил Кульчицким дорогу:

— Пропуск, граждане!

Прочитав пропуск и даже рассмотрев его с оборотной стороны, часовой спросил:

— А это кто?

— А это со мной,— ответила Кульчицкая, пряча улыбку.

— Отойди, гражданин! — сказал паренек сурово.— На каждого полагается свой пропуск... Или этот на двух нужно было выписать...

— Это сын мой... Мы только на одну минуточку.— Кульчицкая была уже в дверях и потянула Сережу за собой.

— Говорю, не полагается! — И, ловко перевернув винтовку в воздухе, часовой толкнул Сережу прикладом в грудь.

— Ну, тогда подожди меня на улице,— сердито сказала Нина Леониндовна.— А еще лучше, чем мерзнуть, ступай-ка ты домой!

В первой, заставленной столами комнате было накурено и пусто. Народ, как видно, разошелся недавно: из приткнутых то там, то здесь окурков еще вился дымок. Нина Леониндовна прошла дальше.

«Обратитесь к товарищу Хворостину или Мизкевичу,— посоветовал ей инструктор Наркомпроса.— Но лучше всего, если бы вы попали к товарищу Рудаковскому. Он сам из района, болеет душой за сельские школы... Кстати, он чаще других и дежурит в штабе».

Во второй комнате людей было только двое: полная

женщина на скамейке у входа и человек с узенькой, некрасовской бородкой за письменным столом красного дерева. Вид у него был до крайности усталый, и обратиться к нему Нина Леонидовна ие решилась. Она иаправилась к полной женщине и начала свой рассказ о тетрадках.

— Что вы, что вы! — сердито перебила ее та.—Я здесь такой же посторонний человек, как и вы. Фельдшерица из района. С той только разницей, что вы приехали за тетрадками, а я уже третий день добиваюсь медикаментов. Обратитесь к дежурному товарищу!

Нине Леонидовне не осталось иичего другого, и она шагнула к человеку с некрасовской бородкой.

На столе перед ним стояли два телефонных аппарата. Они почти беспрерывно звонили. Дежурный товарищ поднял на Кульчицкую усталые голубые глаза.

— Ваш пропуск,— сказал он, ловко орудуя в воздухе шнурами двух телефонов.— Тьфу! — Он на секунду положил обе трубки на стол и взял из рук Кульчицкой бумагу.

Даже издали слышно было, как в обеих трубках нетерпеливо жужжали человеческие голоса.

— Больше десяти не дам! — крикнул вдруг дежурный в одну из трубок.— Нет, нет... Вам отправляться с Сортировочной... Не дам. Всё.— Он поднес к уху другую трубку.— А ты зачем подслушиваешь?.. — Он засмеялся.— Тебе вот даже и десяти не дам. Шесть — и хватит! Вам отправление с Одессы-Малой... Ты мне очки не втирай. На Пересыпи — «Ропит», Спивака, Беллино-Фендриха, Анатра, почти все заводы... А ваши молдаванские небось еще с прошлого года нахiовали... Наверно, и пулемет сохранился... Да, обязательно разбивай сотни на десятки... Ну, бывай! Всё.

— Не родственница Андрея Кульчицкого? — спросил он, пробегая глазами пропуск.

— Вдова,— сказала Нина Леонидовна тихо.

Бледное лицо человека с некрасовской бородкой точно потеплело слегка, но до румянца было еще далеко. Полная фельдшерица у входа повериулась так, что под ней затрещала скамья. Нина Леонидовна огляиулась иа ее внимательный взгляд, но фельдшерица, вытащив из кармана тетрадку, стала делать в ней пометки карандашом.

— Хорошо,— сказал человек за столом устало.— По какому делу?

Волнуясь и запинаясь, начала Нина Леонидовна свой рассказ: в уезде открыто пять новых школ... Тяга к грамоте у ребят огромная. А тут нет ни топлива, ни учебников, ни тетрадей.

С удивлением Кульчицкая вдруг поняла, что уже не волнуется. Это так всегда, когда говоришь о деле.

— В Наркомпросе пообещали, что вы сможете уделить мне немного тетрадей,— закончила она.

Дежурный слушал ее, прищурясь и откинув голову на спинку стула. Издали можно было подумать, что он спит.

«Да он и на самом деле спит!» — испугалась Кульчицкая, услышав легкое похрапывание.

— Понимаете, это почти героизм... Раздетые, разутые дети за десять, за двенадцать верст по этой распутице ходят в школы... Мы, правда, организовали питательные пункты... В Наркомпросе мне сказали, что нужно обратиться к вам,— повторила Нина Леонидовна погромче.

Человек с некрасовской бородкой проснулся:

— Не беспокойтесь — я все слышал. Да, да... — Он с минуту помолчал.— Так вот, дорогой товарищ, тетрадок я тебе дать не могу. Они нам сейчас для другого пригодятся.

У Нины Леонидовны от волнения даже заныли плечи. Ее собеседник внимательно поглядел на нее.

— А много тетрадок тебе? — спросил он неожиданно.

— Ну, хотя бы штук... пятьдесят,— сказала Кульчицкая на всякий случай.

— «Хотя бы»! — передразнил дежурный.— У нас всего пятьдесят штук не наберется.

Он открыл ящик стола. И, выложив стопку новеньких голубых тетрадей, по корешкам начал отсчитывать:

— Четыре, шесть, восемь, десять... Получай. Всё... — и невольно улыбнулся ее радости.— Так сколько, говоришь, новых школ? — и снова откинулся на спинку стула.

— В Валегоцулове — одна, на участках в Ананьеве — две, в Майнове, в Гандрабурах... — Боясь, чтобы он не заснул снова, Кульчицкая старалась говорить как можно громче.

— Да вы не надрывайтесь так, гражданка,— сказа-

ла полная фельдшерица насмешливо,— товарищ дежурный спит, а все слышит.

Однако на этот раз дежурный не спал. Прищурясь, он следил за синими, зелеными, малиновыми пылинками в столбе света. «Ох, нехорошо, не поговорили о тете Поле — уборщице! Много грязи наносят товарищи — трудно старухе. Нужно ей хоть паек выделить... Напоследок... Значит, это вдова Андрюши Кульчицкого... Много толков было, когда Нина Попова, дочка известного инженера, уехала за Андреем в ссылку. Совсем-совсем еще девочка... А сколько самому Андрею сейчас было бы? Пожалуй, он даже чуть постарше меня. Да, да — мертвые не стареют...»

— ...Так вместо букварей мы, учителя и ученики старших классов, печатными буквами пишем в тетрадях алфавит, слоги, слова. Кто умеет — делает иллюстрации, простые рисунки. «Кад-ка», «ок-но»... Одна тетрадка... на пять душ.

Нина Леонидовна так громко произнесла последнюю фразу, что дежурный вздрогнул и открыл глаза.

Столб света уже переместился. Жена Андрея стояла в этом столбе, и волосы ее выявили неожиданные свойства: оказалось, что они не ровного пепельного цвета, а отливают, как и пылинки, огненно-красным, зеленым и синим.

Веки невольно опускались сами. Телефон все звонил. Дежурный на ощупь брал то одну, то другую трубку.

— Ты только не оголяй мне района, слышишь, Ачканов! Почтовики твои небось и стрелять не умеют... Нет, поздно, голубь, поздно... Теперь наша задача — обеспечить... — Он оглянулся на Кульчицкую.— Словом, сам знаешь, что нам нужно обеспечить. Всё!

Скрипнула дверь. На пороге соседнего помещения показался парнишка в мохнатой папахе, еще пониже того, что стоял на часах.

— Товарищ Рудаковский, чуетэ? Товарищ Рудаковский! — сказал он, вытягиваясь у стола.

«Значит, я все-таки попала к Рудаковскому!» — обрадовалась почему-то Нина Леонидовна.

— Товарищ Рудаковский, там якись хлопец гражданский всэ дывится и дывится у викно... Може, якась контра?

— Хлопец? — Дежурный открыл глаза.
— Ось вин и зараз дывится! — закричал парнишка. Нина Леонидовна тоже взглянула в окно.
— Это мой сын,— сказала она растерянно.
Полная фельдшерица поднялась с места и тоже с любопытством посмотрела в окно. Теперь они втроем разглядывали Сережу.
Ветер, как видно, усилился — в стекла, визжа, царапались голые ветки каштана. Сережа сидел на каменной скамейке у ворот дома через дорогу, весь — в беспощадном свету, съежившийся, маленький, худенький как никогда. «И ноги еще внутрь носками свесил»,— подумала Нина Леонидовна огорченно.
— Да, сходство большое... Только Андрей потемнее был,— сказал Рудаковский.— Ну, сын у тебя молодцом... Здесь учится? Почему не с тобой?
Нина Леонидовна замялась:
— Здесь, в Третьей гимназии.
— А мы сейчас гимназии, прогимназии, народные училища, сельские школы — всё сравняем,— заметил Рудаковский весело.— Не теперь то есть, а... ну, словом, когда придет время... — Он оглянулся на фельдшерицу у двери.— У меня есть одна идея... Сын твой, товарищ Кульчицкая, быстро ходить умеет? Город знает? Наш-то Петька не шибко грамотный.
Нина Леонидовна испуганно подняла на него глаза:
— Я с сыном, собственно, и не повидалась еще как следует. И потом — слабенький он у меня... После воспаления легких... Хотелось бы поберечь...
— Ну что ж, береги,— просто сказал Рудаковский.— Твое дело, товарищ. Мы ни в какие опасности сына твоего втравлять и не собирались. Просто — трамвай не ходит. У взрослых и без того пропасть работы. А нам нужно сегодня же разнести кое-какую почту... Ну ладно. Вот твой пропуск. Всё.
Так уйти Кульчицкая не могла.
— Если очень надо, я позову его... — начала она, прижимая руки к груди.— Но, понимаете, мне через час уезжать...
— Ладно, ладно, не терзайся! — Поднявшись из-за стола, Рудаковский положил руку ей на плечо.— Вот почему плохо, когда ребята растут без отцов... А буква-

ри эти твои мне понравились. Только, к сожалению...— Он оглянулся на фельдшерицу у двери. Снова отчаянно зазвонил телефон.— Подожди минутку — я отпущу посетителя! — крикнул Рудаковский в одну из трубок.— Да, к сожалению,— быстро и сердито закончил он, повернувшись к Кульчицкой,— хаты-читальни, школы, буквари — все это придется отложить... На несколько месяцев, на полгода... А может, на год. Понятно тебе, товарищ Кульчицкая? Только предупреждаю: без паники и без болтовни,— добавил он, видя, как буквально у него на глазах меняется лицо посетительницы.— Тетрадки эти свои пусти в ход как можно продуктивнее. И мой совет тебе: не вздумай сейчас брать с собой сына в деревню... У меня у самого душа болит: под Ананьевом остались жена с ребенком и теща, малышу года еще нет. А там сейчас — ох!.. — Рудаковский молча покачал головой и за плечи повернул Нину Леонидовну к выходу.— Всё! Завтра начинаем эвакуацию!

Хорошо, что солнце било Сереже прямо в глаза и он не разглядел расстроенного лица матери.

Жить в разлуке кое-как еще можно. Гораздо труднее людям расставаться.

Мама это понимала и обычно так заполняла прощальный день хлопотами, сборами, беготней за покупками, что, когда она на сияющем перроне целовала Сережу на прощание, у того уже слипались глаза и больше всего ему хотелось в постель.

Сегодня все будет иначе. Мама поедет не поездом, а по наряду УТРАНОТА (уездного транспортного отдела) подводой фрау Гетекемер, немки-колонистки из Найзаца. Гетекемерша вчера привезла в Одессу каких-то работников из уезда.

На вопрос, как ей удалось пробраться через гайдамацкий район, немка объяснила, что «жовто-блакитники»[1] держатся больше вдоль железной дороги, так как в «стэпу́ вони самі́ друг друга боятся».

— Сергей, Франя сегодня уходит... Что же, мы ее

[1] Жо́вто-блаки́тники (укр.) — желто-голубые — прозвище гайдамаков, носивших национальные цвета.

вещи без тебя потащим? — сердито окликнул Сережу Гребенюк.

Франя наконец решилась покинуть Веде: в месткоме пообещали устроить ее санитаркой не то в больницу, не то в детдом. Ольга Ивановна была в отчаянии.

— Я еще успею! — крикнул Сережа, съезжая за мамой по перилам лесенки.— Франя будет еще белить кухню и стирать нам летние костюмы...

— Мамочка, а ты так и не рассказала, что было в штабе,— весело начал Сережа, как только они с Ниной Леонидовной снова очутились на улице.— А я до того, понимаешь, замерз, что ни о чем и не расспросил.— На этот раз Сережа уже надел шинель.

Нина Леонидовна молчала.

В душе она была благодарна Рудаковскому за его предупреждение: «без паники и без болтовни». Получалось, стало быть, что она не то что не хочет посвящать Сережу во все эти дела, сейчас она не имеет на это права.

— Ну, мама, ну, говори же! — Сережа недовольно тянет ее за рукав.— Как там, в штабе? Здóрово, а?

— Ты, вероятно, думаешь, что там конница гарцует по комнатам?..

Сережа удивленно вскидывает глаза на мать. Почему она сердится?

— Штаб как штаб... — продолжает Нина Леонидовна.— Сидят люди за столами. Вот видишь, тетради мне дали.

— Ты рассказала им, что привезла пшено?

— Нет. Да и некогда было рассказывать. Они все очень заняты.

— То-то ты сидела там около часу,— замечает Сережа хмуро.

— Хочешь, поиграем немного в «нашу игру»? По дороге к постоялке,— предлагает Нина Леонидовна, беря его руку маленькой шершавой рукой.

Мама, очевидно, воображает, что он все еще приготовишка. В приготовительном классе в «нашу игру» он играл с удовольствием.

Сережа сбоку смотрит на Нину Леонидовну. Лицо у нее усталое и точно припорошенное пылью. Вон даже морщинки появились у глаз и около рта. И глаза ка-

кие-то несчастные. Ей, конечно, тоже невесело расставаться.

— Ладно, поиграем,— говорит он великодушно.

В игре принимают участие только двое: слепец и поводырь. Слепец закрывает глаза, и поводырь, стараясь его спутать, водит по различным направлениям, по два, по три раза возвращаясь на одно и то же место. Выигрывает тот, кто с закрытыми глазами, по запахам, по звукам, по каким-то ему одному понятным признакам определяет, где они находятся.

— Кто будет слепцом? — спрашивает Сережа.

— Ты.

Сын закрывает глаза. Мать несколько раз поворачивает его на месте, берет за руку, и он молча шагает за ней. Сейчас, пожалуй, играть в «нашу игру» трудно. А когда-то город был полон звуков и запахов.

Еще не дойдешь, бывало, до конца Нарышкинского спуска, а уже слышишь: а-чху, а-чху, а-чху — это дышит порт, заводы «Ропит», Анатра, Беллино-Фендриха.

Екатерининскую Сережа узнавал по запаху: от Дерибасовской до бульвара она с мая месяца до ноября пахла розами. Нескончаемыми рядами на маленьких скамейках вдоль тротуаров располагались цветочницы. Перед каждой голубой таз, а в тазу плавают розы. Сережа отлично помнит, как однажды, в натальин день, Ольга Ивановна покупала розы для знакомой именинницы. Она так брезгливо перебирала цветы, так долго торговалась, что довела цветочницу до слез. Женщина так и сказала: «Вам — розы, а нам — слезы», и выхватила из рук Веде почти подобранный букет.

На Греческом бульваре слышно было то и дело: так-так, так-та-так, так-так — это в кофейнях играли в домино греки за вынесенными на улицу столиками.

Дерибасовская пахла настоящим кофе — его продавали в магазине «Дементьева и сыновья». И здесь же, на Дерибасовской, поближе к Садовой, слышно было: шуурух, шуурух — это на Садовой жарили на особых жаровнях каштаны и все время помешивали их специальными лопаточками. Над Привозом круглый год стоит запах вялой зелени и рыбы, то есть не стоит, а стоял: сейчас в Одессу из продуктов почти ничего не привозят. Разве кто прорвется, как мама...

У Привокзального района свой — железнодорожный — запах нагретого железа и каменноугольного дыма.

На Дальницкой вначале пахнет кожей, немного дальше — кисловатым запахом пива, а потом — сырым хлебным ароматом джута. Все это — от заводов и фабрик...

Но куда же это мама тащит его сейчас?

Нина Леонидовна шагает молча, подняв лицо к высокому голубому, с виду теплому небу. По лицу ее непрестанно катятся слезы. Она и не вытирает их, а только чуть помахивает головой. Хорошо, что Сережа никогда не жульничает в игре и раньше сигнала не откроет глаза.

«...Значит, всему конец? Завтра начинается эвакуация! Значит, все пропало. Не будет уже новых школ, ликбеза... Франина племянница Домочка опять пойдет нянчить ребят к Суходолам, а Юрко — пасти коров. Котованы вернутся в свой дом и выбросят немудреное оборудование хаты-читальни.— Кульчицкая судорожно прижимает к боку маленький пакетик с тетрадками.— Ой, а Федя Рубан, что будет с Рубаном? А все сильрадовцы[1], комнезамовцы[2], что будет с ними?»

Хорошо, сейчас она поедет в Валегоцулово одна. Нельзя же оставлять товарищей без денег! Но как только будет возможность, она вернется в Одессу за Сережей. Если город займут немцы, Сереже лучше уехать в деревню. Да, сейчас им необходимо быть вместе!

— Мама,— говорит вдруг Сережа, останавливаясь,— я не могу больше... Раз, два, три — я открываю глаза!

Нина Леонидовна еле успевает утереть слезы. Потом они молча идут дальше, все еще держась за руки.

— А вот и постоялка Майбаха,— говорит Нина Леонидовна хрипло и откашливается.— А вот и фрау Гетекемер.

— Мама,— спрашивает Сережа,— а там, в штабе, тебе ничего не говорили о немцах?

Он чувствует, как рука ее судорожно вздрагивает и потом замирает в его руке.

— О немцах? — переспрашивает Нина Леонидовна медленно.— Нет, ничего не говорили.

---

[1] Сильра́довцы (укр.) — работники сельсовета.
[2] Комнеза́мовцы (укр.) — члены комитета бедноты.

Г Л А В А   П Я Т А Я

Фрау Гетекемер и ее пассажиры

Гетекемерша сидит неподвижно на туго набитом возу, широко расставив толстые ноги в полосатых чулках. Под ее нижней губой висит целая борода из шелухи подсолнуха. Сережа смотрит на нее с завистью: подсолнушки в Одессе сейчас редкость. Немка чуть кивает на Сережин поклон.

— Абенд,— говорит мама.

— Абенд,— отвечает Гетекемерша.

Это должно обозначать «гутен абенд» — добрый вечер. Ни мама, ни Сережа не любят Гетекемершу, но, раз едешь на ее подводе, нужно из вежливости посидеть с ней.

— Скоро двинемся, фрау Мальвина? — спрашивает мама.

— Не снаю. Как мои пассаширы,— не поворачивая головы, сердито отвечает немка. И вдруг кивает куда-то в сторону: — Итёт софетская парыня!

Сережа удивленно оглядывается и видит направляющуюся к подводе высокую девушку, белокурую до того, что вместо бровей у нее над глазами светятся розовые полосочки.

— Анна-Мария! — кричит он в восторге.— Мамочка, смотри — Анна-Мария! — И, поднявшись на цыпочки, целуется с девушкой.

Потом та переходит в объятия Нины Леонидовны.

Надо сказать, что девушка эта — особая. Из женщин она первая на всю Херсонщину подала заявление в партию. Для немки-колонистки, да еще католички,— это вещь совершенно неслыханная.

«До папы римского дойдет — достанется мне!» — подшучивает девушка сама над собой.

С Кульчицкой Анна-Мария сдружилась давно: в ту пору еще, когда украдкой убегала в воскресную школу для взрослых, которую учительница, на свой риск, организовала в Валегоцулове. Анна-Мария служила тогда в няньках у валегоцуловского мельника. Школу, по распоряжению исправника, вскоре закрыли, но Нина Леонидовна продолжала заниматься с группой лучших своих учеников у себя на дому. Анна-Мария давно уже грамотно пишет по-немецки и по-русски, знает четыре действия, немного историю и немного географию.

— Опять в Одессе, Марихен? — спрашивает Кульчицкая ласково.— А почему к Сереже не наведалась?

— Опять меня та барыня исповедовать будет! — сердито отмахивается девушка.

Месяца полтора назад она заходила к Веде навестить Сережу, и дело кончилось плохо: Ольга Ивановна обозвала ее предательницей и безусловно выгнала бы из квартиры, если бы Анну-Марию так просто было бы выгнать.

— Четыре дня как приехала, привезла сведения по волости,— объясняет Анна-Мария,— но в городе, можно сказать, и не была... Зашла в исполком, и там родичи наши люстдорфские... Зато, Сереженька, твое счастье! — Сунув руку в свой мешок, девушка вытаскивает аппетитный штрудель с творогом.— Как завезли меня к себе, так и продержали до сегодня... Я думала: они собак на меня спустят, а они вон какое угощение в дорогу дали.

— Распокатели колотранцы... — бормочет Гетекемерша.

— Ясно — разбогатели! — хохочет девушка.— Да они голодранцами и не были. Но раньше все в город на базар возили, а теперь сами едят... Угощайся, Сереженька, за их здоровье!.. А эта колыска на что? — спрашивает она вдруг.

Если бы не Анна-Мария, Кульчицкие и не обратили бы внимания, что возле подводы Гетекемерши стоит «колыска» — двухместное сиденье на рессорах, которое можно установить на любой повозке. Непонятно, для чего она фрау Гетекемер — ее зеленая, расписанная розовыми розами телега и без того рессорная.

— А вот мы ее сейчас! — Анна-Мария сгребает сено, освобождая место для «колыски».

— Остафь! Не тепе! — кричит Гетекемерша.— Еще пассашир есть!

— Для папы римского бережешь? — огрызается Анна-Мария. С папой римским у нее явно какие-то свои счеты. Но «колыску» она все-таки оставляет в покое.

Покончив со штруделем, Сережа оглядывается по сторонам. Ого, сегодня много народу на постоялке — целая улица тесно составленных подвод. У длинной колоды поят лошадей — это те, что уедут немедленно. Высокий конь, вытянув губу, деликатно трогает красивую, рябую от закатных пятен воду.

— Что-то много сегодня людей! — говорит Анна-Мария и качает головой. И тише: — Вы ничего не слыхали, Нина Леонидовна?

Сережа торопится ответить вместо матери:

— Марихен, говорят, в Одессу идут немцы, а?

— Ой, Езус-Мария! — Девушка всплескивает руками.— Вы тоже слыхали? А я думала — это только люстдорфские наши болтают... И выдумают же такую ерунду! Я их уговариваю: «У России мир с Германией. Откуда здесь немцам взяться?» А они мне: «Ты толшна так коворить, ты сама софетская». Знаете наших немцев-колонистов!

Гетекемерша, оставив подсолнухи, уже давно прислушивается к разговору. Последние слова девушки окончательно выводят ее из себя. Повернув к Анне-Марии лицо, все в красных пятнах, она кричит:

— А ты что, не немка? Цыканка?!

Но Анну-Марию переспорить трудно.

— Чего бельма вытаращила? — еще громче выкрикивает она.— Я беднячка, вот кто я!.. А ты спишь и видишь, чтобы буржуи вернулись. Хочь немцы, хочь цыгане — только бы буржуи!

Однако порыв, внезапно охвативший фрау Гетекемер, так же внезапно ее оставляет.

— А мне фсо рафно,— бормочет она равнодушно.— Нато со фсякой фластью шить.

— «Нато, нато»! — передразнивает ее девушка.— Двести лет в России живут, а говорить по-русски не научились.

Сама Анна-Мария если и говорит с акцентом, то никак не с немецким. Говорок у нее «одесский» — смесь

украинского, русского и еврейского языков. И не мудрено — она с одиннадцати лет работала в русских, украинских и еврейских семьях.

Нина Леонидовна считает, что пора вмешаться в разговор, который грозит закончиться ссорой.

Но в эту минуту к подводе подходит третий пассажир фрау Гетекемер.

Все удивлены, а Сережа, пожалуй, больше всех: это не папа римский, а обыкновенный русский матрос в бушлате, распахнутом на груди, в бескозырке с ленточками. На ленточке надпись золотом: «Крейсер «Память Меркурия». В руках у третьего пассажира деревянный самодельный сундучок, весь разукрашенный по крышке узорами и вензелями.

Анна-Мария на некоторое время теряет дар слова. Она только смотрит то на матроса, то на хозяйку подводы. Та, соскочив, уже угодливо прилаживает на заднем сиденье «колыску».

— Ишь какая сейчас матросу честь! — говорит Анна-Мария с удовлетворением.— А то раньше, куда ни пойдешь, в парк или на лотерею в городском саду,— «матросам и солдатам вход запрещен!». Ну, сейчас, как в кресле, доедешь, Меркурий!

Матрос высокий, красивый, словоохотливый.

— Что, это мне такое место? — Поставив наземь сундучок, он обеими руками шлепает себя по бокам.— Елки-палки! Да что вы! Красивенькой барышне нужно колыску уступить.— И он галантно, «калачиком» подает руку Анне-Марии.

— Товарищ, учительнице лучше уступил бы,— шепчет девушка укоризненно.

— А вы вдвоем давайте... Неужто не поместитесь? — Он ловко перебрасывает через грядки повозки свой сундучок и почти без усилий — все свое складное, сильное тело.

Значит, мама будет ехать на двойных рессорах, да еще в такой компании... Очень хорошо!

Пора прощаться. Сережа прячет руки в карманы и до боли сжимает кулаки. Стиснув зубы, чтобы унять дрожь, он вот так — спокойный и безучастный — подставляет маме щеку. Не полезет же он целоваться при военном моряке! Даже Анне-Марии, со стороны глядя, жалко

Нину Леонидовну: «Такой ласковый был маленьким, а смотри, какой вырос!»

— Ну что вы хочете,— говорит она участливо.— Он хоть и гимназист, но дитё еще, у них другое на уме...

Сережа весь ощетинивается, но мама понимающе и нежно проводит рукой по его лицу.

Теперь домой. Хотя бы Франя не ушла без него!

С Привокзальной площади наплывает темнота. В чистом воздухе раздается бой часов соборной колокольни...

— Пять, шесть, семь... Неужели уже восьмой час? — пугается Сережа.

Он прибавляет шагу. Где-то со стороны Привоза постреливают, но это дело привычное. Непривычна и поэтому пугает тишина в центре города.

На углу Новосельской Сережа сталкивается с высоким человеком в шубе и отскакивает в сторону. Что за чудеса! Это ведь сам господин Дитман — бывший владелец бывшей кондитерской. И чего он вырядился? Два месяца ходил в стеганой куртке, а сейчас гораздо теплее, а он напялил шубу...

Ой, хотя бы не опоздать!

Сережа не опоздал. Столкнувшись с ним в парадном, Женя Гребенюк немедленно передал ему узел.

Процессия получилась внушительная.

— Кто идет? — спросили в подъезде.

— Из квартиры Веде с вещами,— четко и, как ему казалось, по-военному ответил Вадя.

Товарищи из домовой охраны пропустили Франю, косясь на ее узелки.

Вышли на черную улицу. У ворот сырой, пахнущий морем ветер ударил в лицо. Далеко впереди туманно темнела немецкая церковь — кирха. Шли молча, гуськом, ожидая чего-то страшного. И дождались: у здания консерватории Франя испуганно попятилась назад. Прямо на них неслось двуглавое, выше человеческого роста чудовище. Замерли у стенки, не решаясь двинуться.

— Человек несет раненого,— приглядевшись, сказал Женя Гребенюк.— Ой, недаром я что-то чувствовал. Я дальше не иду!

Чудовище остановилось. Чиркнула спичка. Оказалось, человек, несет контрабас. Но это был еще не конец:

встречный, придерживая контрабас левой рукой, правую быстро сунул в карман.

— Осторожно! — испуганно крикнул Вадя.— Здесь женщина и дети.

Тут даже Женька Гребенюк ехидно свистнул, а Вадя отдал бы десять лет жизни, чтобы вернуть это сорвавшееся с губ слово «дети».

Человек, вытащив из кармана платок, вытер лоб.

— А я уж тоже было испугался,— сказал он. (Мальчиков это «тоже» больно резануло по сердцу.) — Советую вам, молодые люди, возвращаться назад! За Гулевой стреляют. Я сегодня иду спать в консерваторию. Что-то в городе творится. Сам не пойму что.

— Ну как же быть? — заволновался Женя Гребенюк.— Франечка, вам далеко еще? Может, уже пойдете одна?

— Ой, лышеньки! — ответила Франя.— Ну, давайтэ клумачки[1].

— Глупости! — твердо отрезал Вадя, казня себя за минутную растерянность.— Иди, Женька, если ты сдрейфил, а мы с Сережкой доведем Франю до самого дома... Или ты как, Сергей?

— Я же иду, кажется! — сказал Сережа сердито.

— Ну и я тогда пойду,— пробормотал Женя.— Только кто будет отвечать, если меня убьют?

Никто, однако, не засмеялся. Все снова взялись за узелки.

Споткнувшись обо что-то мягкое, Сережа кувыркнулся через голову. Нагнувшись, нащупали на водопроводном люке не убранный с зимы мешок с соломой. Постояли несколько минут, отдышались и двинулись дальше.

— Кто идет? — испуганно спросили на углу.

— Провожаем женщину с вещами,— уже уверенно ответил Вадя.

— Сейчас не время шататься по улицам,— сказал другой сердитый голос,— ступайте по домам!

— А может, мы домой и идем,— ответил Женя, показывая неопределенно вперед.

Над Сережиной головой что-то чиркнуло по стене, осыпая штукатурку. Сережа задрал голову кверху, и

[1] Клумачки (укр.) — узелки.

сейчас же далеко, в конце улицы, точно кто-то щелкнул кнутом.

— Ой, стреляют! — ахнула Франя, бросая сундучок.— Бежим до подъезду!

— Глупости! — сказал Вадя неуверенно.— Идти так идти, Франя, подберите вещи!

Дошли до угла.

— Ну, вот вже и Градоначальницька,— вздохнула Франя с облегчением.

Черный низкий автомобиль без огней вынырнул из-за угла.

— Halt! [1] — негромко сказал нерусский голос, когда Сережа сунулся было к самой морде машины.

Франя и ее спутники заметались по узкому переулку.

— Halt! Wer geht? [2]

Немецкая фраза, хорошо знакомая по гимназии, здесь, на черной улице, утратила свое значение. Мальчики молчали.

— Кто идет? — спросили уже по-русски, но опять нерусским голосом.

— Прислуга с вещами на новое место,— ответила за всех Франя, стараясь получше выговаривать каждое слово.

В автомобиле произнесли что-то длинно и громко, а прежний голос перевел:

— На улицах дольжно быть пусто. Расходитесь, иначе буду стре́лять!

Франя, крестясь, торопливо отбирала у мальчиков узелки. Связав, она перебросила их через плечо и в руки взяла сундучок.

— Идыть, диточки, вси до дому! — сказала она, крестя воздух над их головами. И вдруг в темноте задержала Сережу за плечо: — Почекай-но... [3] Сереженька! — Девушка тяжело дышала.— Може, той черт все ж таки напишет мени, так ты заховай письмо.— Она всхлипнула.

— Ладно,— сказал Сережа.

— А ты, Женечка, ничего не таскай у Ольги Ивановны с кладовки. Хай подавится! Як будэ що, я вам гостинчику принесу... Вадечка, а ты пиши папе, не ленися!..

[1] Стой! (нем.)
[2] Стой! Кто идет? (нем.)
[3] Подожди-ка (укр.).

Машина проехала мимо Франи, разлучая ее с мальчиками.

— Ще приду до вас! — донеслось из темноты.

— Ну вот тебе на! А говорили — Красная Армия в Конотопе! — Гребенюк длинно и прерывисто вздохнул.

— Выбьют! — пробормотал Шалыгин.— Не оставят же так город. А может, это немцам какую-нибудь ловушку устраивают?

До дому дошли молча. У ворот суетилась небольшая кучка людей. При неярком свете «летучей мыши» Сережа разглядел человека с ведерком в руках и длинной, как у штукатура, щеткой за спиной. Он что-то объяснял тесно окружившим его слушателям.

— ...Позвали меня: «Вот тебе, товарищ Змиенко, пятьдесят объявлений,— говорят.— А вот тебе фунт муки. Нехай старуха твоя наварит клейстеру, и сегодня же расклей все. Нужно, чтобы народ правду узнал...»

— Это верно,— сказал кто-то из темноты.

— А моя ста́ра — ни за что! «Фунт муки! — кричит.— Да это же месяц борщ забелять можно!» Просто из рук рвет. «Немцы, кричит, не жди, не накормят».

— Это верно,— сказал тот же голос.

— А я ей говорю: «Раз товарищи мне доверили...»

Сережа подошел поближе. Из окна квартиры статского советника Леонтовича кто-то, свесясь, смотрел вниз

— Мальчики, вы далеко ходили? — с надеждой спросил женский голос.— Что, в городе ничего не слышно?

— В городе без перемен! — за всех ответил Вадя Шалыгин.

Старик с ведерком смазал кистью стену, прихлопнул ладонью объявление, посветил на него фонарем и снял шапку.

— Ну что ж, прощайте, дорогие!

— До скорого свиданьица,— поправили его из толпы.

Сережа подошел вплотную к стене и начал читать: «...Временно оставляя город, Советская власть обращается с призывом к населению...»

У него сильно засосало под ложечкой, точно он высоко-высоко взлетел на гигантских шагах. Кто бы что ни говорил за последнее время, но Сережа не верил, он не мог поверить, что Одессу займут немцы.

Потом черная улица с белыми пятнами домов качнулась вправо, влево, снова вправо...

— Ну что ты, Сережка, как барышня! — с ласковым укором сказал Гребенюк, подхватывая его под мышки.

— Женя, а мама! Что будет с мамой?

— Ну, Нина Леонидовна пока что едет... Да пойми ты, балда: «Временно»! И не такая уже столица ваше Валегоцулово, чтобы там специальный переворот устраивать... Сейчас же на Одесщине — как в слоеном пироге: большевики — гайдамаки, большевики — гайдамаки. Может, в Валегоцулове и без немцев обойдется...

Г Л А В А Ш Е С Т А Я

Десять тетрадей

Первый день пути Нины Леонидовны прошел без происшествий. На вторые сутки даже словоохотливая Анна-Мария устала задавать вопросы.

Поговорив с девушкой и матросом о том о сем, Нина Леонидовна поглубже зарыла ноги в сено, поплотнее закуталась в шаль, положила на колени пакетик с тетрадками и, поставив на него локти, подперла кулаками подбородок.

Высокие, сытые лошади бежали ровной рысцой. На двойных рессорах действительно почти что не трясло.

Вначале до Кульчицкой отчетливо доходили голоса девушки и моряка, но вот они стали долетать как будто из тумана и между вопросом и ответом проходило что-то уж слишком много времени.

— А скажи, товарищ, в случáе чего, с моря, с ваших пароходов, можно Одессу отстоять? — Это спросила Анна-Мария.

А в глаза Нине Леонидовне уже блеснуло море... Ага, вот и ступеньки купальни — четыре серые и пятая под водой, бархатно-зеленая. Волна сильно и мягко толкнула

Кульчицкую в бок, под ней крякнули пружины «колыски», и, открывая глаза, она расслышала ответ матроса:

— К вашему сведению, барышня, у нас не пароходы, а военные корабли...

После этого Нина Леонидовна окончательно уснула.

Снова открыла глаза она от толчка: подвода остановилась.

Анна-Мария крепко спала, положив голову на плечо Кульчицкой. Впереди, поперек дороги, что-то темнело. От края темной полосы отделился вдруг кружок света и побежал по шоссе. Подошел человек с фонарем:

— Проезда нет. Чья подвода? Предъявите документы, граждане!

— Документы? Это пожалуйста! — бодро, точно он и не спал, отозвался матрос, первым соскакивая с повозки.— А в чем дело, братишечка?

— Подвода утранотовская.— Фрау Гетекемер, зевая, протянула бумажку.

Кульчицкая растолкала Анну-Марию, и та из-за пазухи достала завязанное в платок удостоверение. Человек с фонарем внимательно рассмотрел четыре бумажки.

— Получай,— начал он вызывать по одному: — «Отпускное свидетельство Рожкова Евдокима Архипова — с крейсера «Память Меркурия»...

— Есть! — весело отозвался матрос.— А в чем дело, товарищок?

— «Гетекемер Мальвина Густавовна, удостоверение УТРАНОТА»...

Гетекемерша протянула руку за бумажкой.

— «Кульчицкая Нина Леонидовна, учительница валегоцуловской четырехклассной школы». «Вурст Анна-Мария Генриховна, волостной уполномоченный статбюро». Освобождай подводу, товарищи!

— Да в чем же дело? — в один голос спросили Кульчицкая и Анна-Мария.

— Вы гляньте-ка, что там! — Человек с фонарем показал рукой вперед.

Женщины вгляделись в темноту. Нине Леонидовне почудилось впереди точно далекое сияние.

— Горит,— сказала Анна-Мария испуганно.

— Слазь, товарищи. В Александровку проехать нельзя. Немцы-кулаки подняли восстание против Совет-

ской власти. Арестовали комнезамовцев, сильрадовцев. Бедняков согнали в одну хату...

— А там бедняков, можно сказать, и нету,— отозвался матрос беззаботно.— Самое кулацкое село! Вот беда, а я как раз туда до своей барышни собрался!

— К кулачихе примазываешься? — спросила Анна-Мария зло.

— Чего это вы! Моя барышня служит у каких-то там Райнгардов... Все это время они ее своей племянницей записывали... Сейчас надо идти ее выручать...

— Не лез бы ты в кашу,— сказал человек с фонарем хмуро.— Кулачье матросов не любит... Ну, освобождай подводу, товарищи.

— А у меня для кулачья кое-что есть... — Матрос тронул сзади маузер.— Ну, счастливо оставаться!

— Счастливо!.. — сказала Анна-Мария и покачала головой.— Нина Леонидовна,— вдруг жарко зашептала она на ухо Кульчицкой,— жалко ведь такого парня... Там в Александровке хата Виртов, как раз за крупорушкой. Они вроде середняки, их, может, и не тронут. Сын ихний хоть и обозник[1], но и то в пятнадцатом году пришел с войны сильно покалеченный... Так вот Вирты эти... — дыша в самое ухо Кульчицкой, Анна-Мария закончила совсем тихо: — Вирты эти вроде за Советскую власть. А сын их не сегодня-завтра в коммунисты запишется...

— Товарищ матрос! — не дослушав, крикнула Нина Леонидовна.— Как вас... товарищ Рожков!

— Есть Рожков! — отозвалось уже откуда-то издалека.

— В Александровке, рядом с крупорушкой, есть хата Виртов... В случае чего...

— Там переночевать можно,— перебила Кульчицкую девушка,— попробуй к ним зайти...

— Коммунисты, что ли? — бодро спросил матрос.

«Коммунисты»,— хотела было крикнуть Нина Леонидовна, но Анна-Мария зажала ей рот рукой.

— Вон Гетекемерша уже уши наставила!.. — шепну-

---

[1] В первую мировую войну немцев-колонистов, узбеков, туркменов и других, как тогда говорили, «инородцев» поначалу в армию не брали и даже в конце войны, при тотальной мобилизации, брали только в обоз, не допуская на передовые позиции.

ла она сердито.— Слышь, матрос, народу у них мало, а хата большая!

— Значит, Вирты, за крупорушкой? — донеслось из темноты.— Спасибо, запомним!

Анна-Мария и Нина Леонидовна со своими узелками стояли уже на дороге.

— Освобождай подводу,— тронув за плечо фрау Гетекемер, сказал человек с фонарем.

— Куда я пойду? — взвизгнула Гетекемерша.— У меня товар!

— Куда все — туда и ты! — Он сбросил с подводы ящик, мешок.— Весь транспорт мобилизован. Все кони. Даже двухлеток запрягали. Бери с собой что донесешь. Советская власть объявила эвакуацию... — Еще два мешка полетели в грязь.

— Ну, рас люти, так и я... — вдруг пробормотала Гетекемерша, тяжело соскакивая с подводы.

— Что, за ради такого праздничка и коней и хургона не жалко? — Анна-Мария, сжав кулаки, поднесла их к самому лицу Гетекемерши.— Вот ее забирайте, товарищи! — закричала вдруг девушка.— Богачи проклятые! Давно их расстрелять надо было!

— Не мешай, гражданочка,— сказал человек с фонарем устало.— Знаем, что делаем...

Анне-Марии по столбовой нужно было свернуть вправо, а Кульчицкой — влево. Женщины распрощались.

Осторожно ступая в темноте по грязной дороге, Нина Леонидовна старалась держаться поближе к телеграфным столбам. Не прошло и нескольких минут, как она остановилась и прислушалась: кто-то шлепал за ней по лужам.

— Нина Леонидовна! — запыхавшись, окликнула ее Анна-Мария. Подбежав, девушка крепко обхватила руками свою бывшую учительницу.— Кто его знает, что еще с нами будет! Надо нам получше попрощаться!.. Что будет, то будет,— бормотала Анна-Мария, целуя Кульчицкую то в щеку, то в плечо,— а правда все-таки возьмет верх! Так вы всегда нас учили, спасибо вам! — И, еле сдерживая слезы, девушка повернула назад, в кромешную тьму.

Начал сеять мелкий, совсем не весенний дождь. Была уже глубокая ночь, когда промокшая до нитки Куль-

чицкая добралась до Валегоцулова. В селе не светилось ни одного огонька.

Прижимая под шалью к груди свои драгоценные десять тетрадок, Нина Леонидовна шагала по единственной растянувшейся на четыре километра улице. Вот наконец перед ней белая громада — церковь. Пять черных окон — квартира священника. А там, за поповским домом, уже и школа.

За церковной оградой слышалось легкое похрустывание. Нина Леонидовна остановилась. Что-то звякнуло. Фыркнула лошадь. Еле различимые за оградой, темнели подводы, а внизу под ними тлели огоньки цигарок.

«Завтра суббота,— вспомнила Кульчицкая,— в Валегоцулове базар. Наверно, люди начали съезжаться с вечера. На базарной площади — одна сплошная лужа, они и пристроились на церковном дворе. Ну, значит, завтра отец Виталий разразится в церкви гневной проповедью: не печетесь, мол, о доме господнем. Весь двор навозом осквернили!»

Валегоцуловского священника, отца Виталия Введенского, Нина Леонидовна недолюбливала. Он платил ей тем же. «Совратительница» — иначе отец Виталий Кульчицкую и не называл. Дело в том, что два года назад единственный сын Введенского, Михаил, гимназист седьмого класса, рассорившись с родными, ушел из дому. Вся вина Нины Леонидовны была в том, что Миша любил к ней заглядывать по вечерам, почему отец Виталий и пришел к убеждению, что именно учительница восстановила мальчика против родителей.

За последние месяцы поп, правда, немного присмирел, но в шестнадцатом году он дважды писал в земскую управу доносы на учительницу, и, если бы не приход Советской власти, Кульчицкая, конечно, осталась бы без службы.

«Ну, теперь-то уж отец Виталий все наверстает»,— думала Нина Леонидовна, проходя мимо высоких черных окон поповского дома.

Поднимаясь по ступенькам школьного крыльца, она вдруг испуганно шарахнулась в сторону:

— Кто тут?

— Не бойтесь, это я, Рубан.— С полу поднялась невысокая фигурка.

— Феденька,— пробормотала Кульчицкая обрадованно,— как хорошо! — И тут же опомнилась.— Почему ты здесь, ночью? Ну ладно, пойдем ко мне, ты все расскажешь... — Повернув ключ в замке, она с силой дернула дверь.

— Дверь на засовах. Я лазил через горище[1] — закрыл,— предупредил Федя.— А потом лег вас дожидаться и заснул... Я сейчас.— И мальчик поставил ногу на перила лесенки.— Вы поехали в четверг утром, а в двенадцать часов к нам уже нагнали немцев и австрияков... С пушками, с обозом... Они церковный двор заняли, каланчу, хату-читальню, сельсовет. Табором в поле стоят. Вот от них я школу и закрыл на засовы...

Нина Леонидовна грустно улыбнулась в темноте. Если бы немцы захотели сюда вломиться — не помогли бы и засовы! Она ласково погладила Федю по голове. Как ни странно, но ей стало спокойнее от его присутствия.

— А почему ты здесь? Мама знает?

— Мама с Мотькой — самой маленькой нашей — до Ананьева пишлы.— Рубан, лучший ученик по русскому языку, когда волнуется, всегда переходит на украинский.— Трех большеньких тетя Сима заховали... Вы и не знаете — нас же с хаты выгнали...— пояснил он.— Дядя Петро прихóдыв и Марфа Сидорчук. Це ж их хата — Сидорчучкина, дэ мы жили... А меня мама до вас послали,— может куда наняться посоветуете...

Слишком много событий выпало на один день. Нина Леонидовна сжала пальцами виски.

— Подожди-ка,— сказала она беспомощно.— Пойдем ко мне, подумаем, что делать.

Федя полез на крышу, и через минуту загрохотали засовы...

Учительница и ее любимый ученик стоят перед маленькой холодной печкой, и Федя Рубан рассказывает обо всем, что произошло в отсутствие Нины Леонидовны.

— Стойте-ка, я же каганец наладил! — вспоминает мальчик.— И кремень и кресало есть. А это мама вам гостинчику передали... — Федя вынимает из-за пазухи что-то завернутое в платок.

[1] Горище (укр.) — чердак.

Отказаться — это значит кровно обидеть ученика. Нина Леонидовна жует хлеб с салом. Федя у окна возится с коптилкой, и вот наконец в темноте вспыхивает желтое зернышко света.

— У нас пока что никого не арестовали,— рассказывает Федя, вытягивая булавкой тряпичный фитилек.— А в Гандрабурах человек шесть советских работников в погребе сидят. Ждут, пока их в Ананьев в тюрьму отправят... У нас только кулаки ходили с немцами и выгоняли — кто ихние хаты позанимал.

— Одну минуточку, Федя!.. — Нина Леонидовна кладет ему руку на плечо.

Как только в ее комнате загорелся каганец, в доме священника напротив, точно по сигналу, вспыхнул такой же крошечный огонек.

Нина Леонидовна и Федя, прижавшись друг к другу, следят, как в поповском доме кто-то широкий проносит огонек вдоль окон. Потом на заднем церковном крыльце хлопает дверь. Слышен стук палки и шарканье калош по вымощенной булыжником дорожке.

— Федя, ступай-ка сюда! — Кульчицкая за руку тащит Рубана через коридор в темный класс.— Вот держи-ка, я тетрадки вам привезла.— Она сует ему в руки перевязанный бечевкой пакетик.— Если со мной что плохое случится... — Но Кульчицкая и сама не знает, что плохого может с ней произойти и, главное, что Феде в таком случае нужно делать.

Кто-то легонько барабанит пальцами в стекло.

— Открывайте — не бойтесь, это я, отец Виталий,— гудит приглушенный бас.— Жду вас, просто дождаться не могу!

Голос миролюбивый, даже заискивающий, но, открывая попу, Нина Леонидовна сжимает руки, словно в ожидании несчастья. И, поздоровавшись, застывает в коридоре перед дверью, как бы оберегая свою келейку от вторжения.

— Даже в комнату не пускаете? — грустно усмехается священник.— Ну что ж, чужих нет — можно и здесь поговорить.

Кульчицкая вводит все-таки гостя в свою узенькую комнатушку.

— Я только что приехала, беспорядок... — говорит она смущенно.

Отец Виталий грузно опускается на стул и несколько минут сидит молча.

— Приступаю прямо к делу,— наконец говорит он,— сейчас не до церемоний... Словом, оба мы с вами, так сказать, попали в беду.

Сердце Нины Леонидовны начинает больно и неровно биться.

— Михаила нашего немцы не то в Балте, не то в Виннице арестовали,— говорит поп тихо.— Он же сейчас красным комиссаром заделался. Да к чему я это объясняю, вам небось лучше меня все известно...

Для Кульчицкой это неожиданная новость. После того как Миша Введенский уехал из Валегоцулова, она ничего о нем не слыхала.

— И фамилия его новая вам небось тоже известна: Богатырев... Кто посмотрит — сразу скажет: «По себе фамилию выбрал»,— не то с горечью, не то с иронией произносит священник.— Мишка в материнскую породу пошел.

Нина Леонидовна вспоминает гимназистика Введенского — маленького, бледного, щуплого.

— Да, у вас большое горе, отец Виталий,— говорит она тихо.

— Горе — это оно, конечно,— гудит священник.— Попадья моя все глаза выплакала... Но вот в чем еще беда... — Он вздыхает и молчит, перебирая пальцами бороду.— Оккупанты ведь не посмотрят — поп или дьяк; для них одно важно: отец большевика... Так вы уж — очень, очень вас прошу, Нина Леонидовна,— не выдавайте, что Богатырев этот именно Мишка Введенский и есть! Сам он, думаю, не признается. В него из пушки стреляй, а он на своем стоит...

Чувство гадливости охватывает Кульчицкую.

— Доносами я, отец Виталий, не занималась никогда.

Она резко приподнимается с места, но священник, ничего не замечая, сидит, то расчесывая пальцами бороду, то снова собирая ее в горсть.

— Ну, стало быть, квиты,— говорит он наконец и поясняет: — Рука руку моет... Немцы ведь у меня сведения брали — кто чем у нас в Валегоцулове дышит...

Так я, вперед понадеявшись на вашу благодарность, так и прописал против вашей фамилии: «Кульчицкая — вполне благонадежна». Вот ради этого разговорчика я вас двое суток и караулю... Ну, будьте здоровы и благополучны...

— Бедный, бедный Миша! — шепчет Нина Леонидовна, раскачиваясь точно от сильной зубной боли.— Бедный, бедный мальчик!..

Словно догадываясь, что руки ему не подадут, отец Виталий, кивнув бородой, направляется к выходу.

— Только убедительно попрошу вас,— останавливается он на пороге,— если есть у вас какие-нибудь бумаги или газеты... или фотографии... Может, стихи или песни какие-нибудь — все это, попрошу вас, сегодня же уничтожьте!

И опять от одной только мысли, что за стеной ждет Федя Рубан, у Нины Леонидовны становится немного легче на душе.

Трудно даже представить, что это тот самый Федька Рубан, который год назад, хмуро стоя у карты, медленно водил указкой по жирной линии Волги, стараясь по лицу учительницы угадать, там ли он показывает город Саратов.

А первая встреча Нины Леонидовны с Рубаном!

Кульчицкие сидели за обедом. Сережа — с чинно подвязанной салфеткой, чистенький, светленький, наглаженный... И вдруг — без стука, без предупреждения распахнулась дверь, и в комнату, поддерживая спадающие штаны, ворвался черный курчавый, голый по пояс мальчишка, загоревший до синих струпчиков на скулах и плечах.

«Сережка, чужак!..» — выдавил он.

И чинный Сережа тотчас же вылетел из-за стола, потянув за собой скатерть, хлебницу, тарелку с супом. Не слушая окриков матери, он, точно одержимый, ринулся на крышу к голубям вслед за черномазым мальчишкой. Это и был Федька Рубан — «цыганча», знаменитый на все Валегоцулово голубятник; другими словами — «отпетая душа».

А вот в нынешнем, 1917/18 учебном году у Федора Рубана нет ни одной тройки, он считается первым активистом в хате-читальне, а рисует Рубан так, что рисунки его хоть сейчас посылай в губернию.

— Ты не спишь, Федя? — спрашивает Нина Леонидовна, входя в класс.— Слыхал, зачем отец Виталий являлся?

Сонный Рубан кивает головой.

— Пойдем-ка, дружок, я постелю тебе на Сережиной кушетке.

— Ну и хорошо, что являлся,— медленно и спокойно говорит Федя, щурясь на свет.— Теперь вам нема кого бояться.

— Нет, ты подумай! Как он решился? «Не выдавайте»!.. — У Нины Леонидовны перехватывает горло от бешенства.

— А чего мне думать? — так же медленно и спокойно отзывается мальчик.— Поп — поп и есть... А Мишку этого они кожну субботу драли... Хуже, чем меня тато... Это хорошо: «пришла ко́за до во́за»... — Федя держит в руках перевязанный бечевкой пакетик.— Так, значит, Нина Леонидовна, тетрадки у нас есть! — говорит он важно.

— Да, Феденька, но я, ей-богу, пока не пойму, что нам теперь с ними делать. Сейчас отец Виталий безусловно возьмет руководство школой на себя...

— Кохановские вернутся! — бормочет Федя зло.

— Ну, так вот, раздобытые с таким трудом тетрадки я совсем не намерена...

— А вот что с ними делать,— не слушая, перебивает ее Федя.— Я уже придумал... — Лицо Рубана снова становится озорным и мальчишеским.— Ганаветовы-татарчата в школу теперь не пойдут? Не пойдут — вот вам раз.— И, не обращая внимания на недоумевающий жест учительницы, Федя продолжает: — Из Фесенок не пойдет ни Сашко, ни Фроська — вот вам два. Так само и я — вот вам три. Так само и Дарка Скрипникова — вот вам четыре. Нина Леонидовна, я уже подсчитал: на всю школу останется двенадцать, от силы пятнадцать человек. А остальные... хм,— Федя невесело хмыкает,— «геть, свиньи, до своего корыта», как дядя Петро сказали. «Поучились при Советской власти, а теперь — назад в пастухи!» А меня так даже и в пастухи не возьмут. Федорчучка лаялась[1] с мамой: «Твой бешеный еще всех наших коров потравит»... И потравлю, ей-богу!..— добавляет Федя

[1] Ла́ялась (укр.) — ругалась.

зло.— Так это я в одном Валегоцулове посчитал, кто учиться не сможет,— продолжает Федя.— А Кохановка? А Гандрабуры? А Майново? До тридцати человек наберется! Вот и раздадим эти тетрадки, как раньше: по одной на пять душ. Где есть старшие хлопцы або девчата — иехай занимаются с маленькими. А самй тоже нехай учатся — не навечно же Советская власть от нас ушла! А мы для маленьких так само мячик або котяток понарисуемо. Або хатку, або сапоги... А напишем внизу: «домик», «са-по-ги».

— Да, можно будет,— соглашается Нина Леонидовна, помолчав.

— Не навечно же немцы. Ну, пускай они еще до осени додержатся... — бормочет Федя.— А для больших из диктанта примеры выпишем. На придаточные предложения...

Оба говорят каждый о своем, не слушая и ие слыша один другого.

— Напишем! — говорит Нина Леонидовна медленно.— Такое иапишем, что и маленьким, и большим пригодится... И родителям...

Взяв из Фединых рук стопку тетрадей, она садится за стол. Коптилка уже не нужна. В окне пышно горит малиновый холодный рассвет.

Склонив голову набок, Кульчицкая на первой странице выводит печатными буквами: «Когда вернется Советская власть, мы снова пойдем в школу».

— Вот тебе и придаточное!.. Итак, значит, шесть тетрадок раздадим здесь,— добавляет Кульчицкая уже своим обычным деловым тоном.— Завтра я поеду в Майново, отвезу туда три. А в воскресенье мы с тобой отправимся в Кохановку. Я решила тебя к доктору Борису Макаровичу пристроить. Он один, в лесу, в большом доме... По дороге отдадим еще тетрадку Докице Вердиш, на хуторе...

— К доктору? — Федя испуганно смотрит на нее.— Ой, я боюсь Бориса Макаровича, он злой!

— Я тоже его немножко побаиваюсь,— признается Нина Леонидовна смущенно.— Только он иисколько не злой, вот тут-то ты уже, Федя, ошибаешься...

Дело доходит до последней тетрадки.

— Может, опять из Пушкина напишем? — спраши-

вает Рубан, краснея до того, что на глазах у него выступают слезы.— А то... я сейчас сам маленький виршик[1] сложил... Прочитать? — И, закрыв глаза, читает нараспев: — «Грамота — это наше счастье. Спасибо большое Советской власте». Можно написать?

— Пиши,— разрешает Нина Леонидовна, подумав.— Э-э-э! Рубан, как тебе не совестно! — повышает она голос.—«Власти», а не «власте» — третье склонение, вспомни-ка! — И, не обращая внимания на его умоляющее и расстроенное лицо, добавляет: — Вырви листок и немедленно перепиши начисто. Учти, что по этим тетрадям ребята учиться будут!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Таинственный портрет

Дом доктора Бориса Макаровича стоял в лесу, далеко от проезжей дороги. Выстроил его когда-то пан Конопницкий, здешний помещик. Собирался он возвести охотничий замок в два этажа, построить конюшни, сараи, погреба, которые можно набивать льдом, коптильни, оранжереи, собачий питомник, сторожку для егерей, но всего этого сделать не успел: пошли слухи о национализации земли, и, сбыв «замок» за бесценок, пан убрался за границу.

Охотничий «замок» пана Конопницкого приобрел доктор Борис Макарович. Для этого он продал отцовский одноэтажный домишко в Ананьеве и поселился в Кохановском лесу — поближе к валегоцуловской больнице, где работал до войны и куда вернулся после демобилизации.

О «замке» среди ребят в Валегоцулове ходило много толков, и Федя Рубан, ради того чтобы поглядеть на диковинные шары в докторском саду или на ветряк, который сам накачивает воду для поливки, охотно отправил-

[1] Виршик (укр.) — стишок.

ся бы в лес не только за шесть, но и за шестьдесят шесть верст, если бы не сам сердитый Борис Макарович.

В том, что даже учительница Нина Леонидовна побаивается доктора, Федя убедился самолично: когда они дошли до тополевой аллеи, ведущей к подъезду «замка», Нина Леонидовна остановилась.

— Знаешь, Федечка, ты лучше ступай, походи немного по саду,— сказала она смущенно.— А то кто его знает, может быть, Борис Макарович рассердится... Сегодня воскресенье, отдохнуть человек хочет, а мы вламываемся ни свет ни заря.

— Так нам же сегодня еще обратно нужно,— резонно возразил Федя, но замолчал: уж очень растерянный вид был у его учительницы.

— Пойди-ка, дружок,— повторила она настойчиво.

Федя нырнул в калитку между двумя высокими сизыми туями. Сад большой — яблони, груши, сливы; под забором — кусты. Как видно, смородина. А вот и шары. Ничего особенно интересного в них нет — понаделали какие-то круглые грядки, а над грядками торчат палки с насаженными на них разноцветными стеклянными шарами. Федя завернул за угол дома.

Прошло довольно много времени, пока наконец он услышал робкое постукивание у крыльца и голос Нины Леонидовны:

— Извините, Борис Макарович, это я, Кульчицкая... Мы к вам по очень серьезному делу... Мы вас не разбудили?

Нина Леонидовна доктора не разбудила. За это уж Федя мог поручиться: обойдя угол дома, он очутился перед чудным широким окном. В комнате, спиной к окну, в кресле сидел доктор и подкладывал полешки в маленькую чугунную печь. Полешки, как видно, были сырые — из печки выбивало ядовитый желтый дымок. Поэтому, вероятно, был открыт весь верх окна.

Доктор безусловно услышал стук и узнал голос Нины Леонидовны: он тотчас же, оставив полешки, стал беспокойно прислушиваться.

— Борис Макарович, извините, это я — Кульчицкая,— снова донеслось с крыльца.

Не отзываясь на голос, Борис Макарович вдруг с грохотом придвинул кресло к стене, влез на него и

быстро-быстро начал снимать застекленную картину в широкой золотой раме, что висела над книжной полкой.

Борис Макарович был тощенький, низенький, картина висела высоко, и он весь вытянулся, поднявшись на цыпочки.

Кульчицкая постучала еще раз, уже погромче:

— Вы не спите, Борис Макарович? Это я — Кульчицкая.

— Спал, но вы же и мертвого поднимете своим стуком! — наконец отозвался доктор ворчливо.— Подождите минуточку, дайте одеться человеку!

— Жду, жду,— отозвалась учительница покорно.

Борис Макарович подскочил к окну. Федя немедленно присел за кусты. Доктор схватил на подоконнике садовый нож и принялся перерезывать веревку, на которой висела картина. Федя видел, как массивная золотая рама качнулась в одну сторону, в другую, раздался грохот и звон стекла.

Когда испуганный мальчик снова заглянул в окно, доктор, прислонив снятую картину лицом к стене, уже направлялся к двери.

О чем говорила с ним Нина Леонидовна, Феде не было слышно, но разговор длился довольно долго. Мальчик за это время успел заглянуть в конюшню, в сарай, в погреб: ему нужно было выяснить, какую работу придется выполнять в доме доктора. Про себя он уже решил, что с садом и с огородом справится вполне.

В сарае, в конюшне и в погребе было пусто.

Наконец по асфальтовой дорожке простучали быстрые, решительные шаги. Навстречу Феде почти бежала Нина Леонидовна.

— Уговорила! Погоди, дай отдышаться...— Учительница, смеясь, вытирала рукавом горящее лицо.— Берет тебя Борис Макарович. Обещает даже латыни учить...

Потом все втроем завтракали, уже не в той комнате — с картиной, а в специальной столовой.

— Это я сам составил рецепт,— объяснял доктор.— Тыква, кормовая свекла, березовые почки. Когда привыкаешь, вкус этой смеси даже начинает нравиться.

А Федя глотал странную зеленую кашу, от волнения даже не разбирая ее вкуса.

— Да, вы удачно собрались ко мне именно сегодня

и именно с утра,— заметил доктор.— Значит, договорились: Федя переходит ко мне через неделю. А я сегодня часа в три выезжаю в Ананьев. Новые хозяева мне даже подводу предоставляют... В Ананьеве оккупационные власти созывают врачей двух уездов... Посмотрим, чем это пахнет. Я, кстати, смогу захватить с собой письмо вашему Сереже. Господа немцы оповестили, что в трехдневный срок наладили телеграфное, телефонное и почтовое сообщение между Киевом и Одессой, Киевом и Знаменкой и Знаменкой и Одессой...

После завтрака Нина Леонидовна пристроилась за письменным столом.

«Солнышко мое, мальчик мой ненаглядный...» — начала было она, но тотчас же, загнув, оторвала полосочку бумаги: так не годится. Сережа не привык, или, вернее, не приучил ее к таким нежностям. Это его обеспокоит.

«Дорогой Сереженька,— начала она письмо наново,— пишу тебе, сидя у доктора Бориса Макаровича в его новом доме, куда мы с тобой давно мечтали попасть. Дом действительно чудесный, это может подтвердить и Федя Рубан, мы с ним у Бориса Макаровича в гостях. Только что мы позавтракали какой-то занятной кашей собственного докторского приготовления. Федины дела устраиваются великолепно: Борис Макарович берет его к себе — помогать по дому и во время приема больных. Он пообещал мне подготовить Федю за четыре класса гимназии и даже научить латинскому языку. У нас в Валегоцулове все спокойно, все остались на своих местах. Рубаны, правда, переехали в Ананьев, но это потому, что Федина мама решила перебраться к своим родителям. Я ведь и забыла тебе рассказать: после того как с Фединым отцом произошел несчастный случай в лесу, он долго хворал и умер. Но эта беда стряслась месяца полтора тому назад, а сейчас у нас все спокойно. Ты даже мог бы приехать ко мне на летние каникулы, но очень трудно с билетами — железнодорожное сообщение еще не налажено. Может быть, я и сама соберусь в Одессу. А ты, сыночек, занимайся хорошо, помни о предстоящих экзаменах. Я посылаю Ольге Ивановне немного денег — только не знаю, какие сейчас ходят в Одессе. Здесь принимают всякие, даже старые «романовские». Если

ни тебя, ни Женю, ни Вадю не возьмут на лето домой, вы, вероятно, переедете с Ольгой Ивановной на дачу Вальтуха. Я уже говорила с ней по этому поводу. Может быть, и я соберусь к вам. Как только будет возможность, немедленно же пришлю вам продуктов или, кто знает, может быть, привезу их сама. Целую крепко-крепко тебя, Женю и Вадю. Привет Ольге Ивановне и Фране, если вы ее видите. Мама».

— Крови не боишься? — спрашивал тем временем Борис Макарович, водя Федю по дому.— Тебе ведь придется мне при операциях помогать... Вот здесь нужно будет хорошенько вымыть пол и убрать все лишнее. Картошку — в первую очередь. Это мой кабинет.— Доктор открыл дверь в комнату с широким окном.

Федя украдкой глянул в угол. Та картина еще стояла, прислоненная лицом к стене. Может, это царский портрет, оставшийся от старого владельца, и доктор не хочет, чтобы гости его увидели?

— Эту картину тоже вынести? — спросил мальчик, берясь за широкую золотую раму.

— Не тронь! — сказал доктор сердито.— И вообще ничего здесь не трогай без моего разрешения! А картину эту я уберу сам.

«Ясно, это Николай Романов», — успокоился Федя.

— Ого! Ко мне еще гости,— сказал вдруг доктор, глянув в окно.— Тэ-тэ-тэ, военная тачанка. Это значит — господа оккупанты пожаловали. И притом — пьяные оккупанты,— добавил Борис Макарович, приглядевшись внимательнее.— Бери-ка, дружок, свою учительницу и ступайте с ней наверх, на чердак! Стой-ка, а может, это за мной прислали лошадей? Почему же эти дураки не нашли кого-нибудь потрезвее?

Нина Леонидовна только что успела заклеить конверт, когда мимо окна столовой пролетела золотисторыжая лошадь, волоча за собой не тачанку, как показалось доктору, а полевую немецкую кухню.

Не зная, что делать, Кульчицкая бросилась сначала к окну — разглядеть, кто приехал, потом к двери — позвать доктора, но дверь перед ней распахнулась настежь, и на руки Нине Леонидовне упала Анна-Мария.

— Целый котел каши доставила...— пробормотала девушка.

Белая кофточка и бутылочного цвета жакет Анны-Марии были изодраны в клочья, платка на ней не было, а ее светлые, почти белые волосы сейчас потемнели, намокли от крови.

— Не тронь, товарищ, больно! — не узнавая Кульчицкой, прошептала девушка, закидывая голову.

Нина Леонидовна ахнула: красивый, ровненький носик Анны-Марии превратился в какой-то синий волдырь, на глаз натекала огромная багровая опухоль.

— Это кулачье все! — Девушка скрипнула зубами.— Но я им тоже дала!.. — И тяжело обвисла на руках Кульчицкой.

Итак, Феде уже сегодня пришлось помогать доктору в «операционной» — небольшой застекленной террасе. Крепко сжав губы, мальчик внимательно выслушивал ворчливые распоряжения Бориса Макаровича и подавал ему пинцет («вон те щипчики»,— говорил доктор), ланцет («вон то — лопаточкой») или бинты («вон тот моточек белый»).

— Ни о чем ее сейчас не расспрашивайте,— сказал доктор строго, когда Кульчицкая подошла к Анне-Марии после перевязки.— Пусть полежит спокойно до завтра. Серьезного у нее ничего нет, не знаю только, как мы ее замуж с таким носом будем выдавать...

Девушка сердито замычала.

— Ну что, что тебе, голубушка? — спросил Борис Макарович, низко наклоняясь к ее забинтованной голове.

— Виртов пожгли,— сказала девушка невнятно.— Сперва постреляли всех, а потом пожгли...

— Первые жертвы,— произнес доктор тихо.— Мы обязаны запомнить, записать их имена... Христина Вирт, Рохус Вирт и.. как ее дочку звали? Да, Аделаида Вирт.

— Меня убить... — Анна-Мария, застонав, не докончила фразы.— Руки, ноги ломали... Но я тоже одного саданула. Попомнит папу римского!

Бинты ее уже совсем сбились в сторону и белым намордником свисали с подбородка.

— Это же ваши немцы долгожданные... — начал было доктор язвительно, но Кульчицкая укоризненно потянула его за рукав.

— Зачем — немцы? Кулаки гандрабурские... А у нем-

цев, чи то у австрияков, я кухню увезла. Меня тащат по дороге, к лесу, вешать хотят. Все пьяные, как стельки... Я вырвалась, бегу, смотрю: австрияк к себе в часть везет обед, носом клюет... Я сбросила его с повозки и — давай сюда. Хорошо еще, что лошадка вроде не обозная, бежит, знаешь... — Анна-Мария говорила быстро-быстро, задыхаясь и не договаривая слов.

— Нет, хорошо еще, что ты пушку не привезла. Вот арестуют меня сейчас — тогда будешь знать! — сердито сказал Борис Макарович, но глаза его смеялись.— И ты разговорилась что-то, голубушка, нужно бинт тебе перетянуть... — Наклонясь над Анной-Марией, он бормотал: — Ну, ну, ничего, потерпи, милая... А ты, Федор, лошадь распряги, поставь в конюшню. На чердаке, кажется, немного овса есть. Только не напувай ее сейчас — она потная... Кухню эту закати в сарай... Все, все уже, барышня, больше тебя мучить не буду... Кашу из бака выгреби и занеси в погреб.

Если бы Нина Леонидовна не тронула Федю за плечо, он не понял бы, что́ доктор говорит Анне-Марии, а что́ — ему.

— Анну-Марию мы сейчас с тобой перетащим наверх... И придется тебе, Федор Рубан, остаться у меня сегодня же — поухаживать за этой барышней, я ведь сейчас уеду. Этой же кашей будешь питаться и ее кормить: сейчас холодно — не прокиснет... Что вы так испугались, товарищ учительница? А что прикажете делать — пустить лошадку в лес? Там ее гайдамаки перехватят. Или немцы по ее следам до Анны-Марии доберутся.— Доктор глянул на часы.— Ну. с минуты на минуту за мной могут приехать... Вы меня простите, но...

— Я знаю,— сказала Нина Леонидовна робко.— Так, значит, до свиданья, дорогой Борис Макарович... Спасибо вам за Федю.

— Да, а ты, Федор, снеси-ка мне в кабинет хотя бы эту скатерть, мне нужно упаковать одну вещь,— распорядился доктор.

Притащив в кабинет доктора затканную шелками, но грязноватую скатерть, Федя, опасливо оглянувшись на дверь, осторожно отодвинул от стены картину в золотой раме и тут же чуть не присел на пол от удивления: это действительно был портрет, но не последнего

царя, Николая Романова, а Фединой любимой учительницы — Нины Леонидовны Кульчицкой. Снималась она, как видно, давно: тогда она волосы еще заплетала в две косы, а на шее носила черную бархотку.

В коридоре послышались шаги, и мальчик испуганно прислонил портрет к стене. В комнату вошел Борис Макарович.

— Принес скатерть? Ну вот и отлично! Теперь ступай наверх, там Анна-Мария чего-то мычит, не пойму... А я пока тут упакую эту картину. Ты мне потом снесешь ее на чердак и, кстати, там же наберешь овса. Мешок только надо разыскать.

Федя мигом взлетел наверх. Он долго старался понять, что говорит ему Анна-Мария, пока наконец девушка сердито не сдвинула в сторону бинт.

— Доктор жертвы первые записывает,— сказала она раздельно,— так скажи ему: нехай еще Евдокима Рожкова... матроса... запишет. Видно, его убили вместе с Виртами. Там, у хаты, его шапка валяется... «Память Меркурия»...

Нина Леонидовна уже спускалась по ступенькам крыльца, когда ее догнал сердитый окрик доктора:

— Куда же вы? Небось перетру́сите в лесу! Я вас провожу немного до хуторов.

Глава восьмая

Али-Бен-Гассан из Бенареса

Несмотря на заверения немецких оккупационных властей, что нормальная работа почты и телеграфа будет восстановлена по всей Украине в трехдневный срок, письмо из Валегоцулова в Одессу шло полторы недели, а езды туда узкоколейкой всего двадцать шесть часов.

И первым письмо это прочитал не Сережа, хотя он стоял тут же со сжатыми кулаками. Распечатала и прочла письмо Ольга Ивановна.

— Начиная с сегодняшнего дня,— объявила она,— я буду просматривать все письма: и те, что вы пишете, и те, что вы получаете... Это в ваших же интересах... Ну что ж, прекрасно! — сказала она, закончив читать письмо Кульчицкой.— Не знаю, почему это идут толки о каких-то волнениях среди мужиков. В деревне, оказывается, так же спокойно, как и в городе.

Сережа трижды перечитал мамино письмо. Что за несчастье случилось с отцом Федьки Рубана? Заглянув еще раз в начало и конец письма, он спрятал его в карман.

— Ну, как Нина Леонидовна? — спросил Вадя Шалыгин участливо.

— Ничего, спасибо,— ответил Сережа хмуро.

Больше к разговору о письме мальчики не возвращались.

До вчерашнего дня Ольга Ивановна не разрешала своим, как она их называла, «воспитанникам» отлучаться в город.

— Когда будет объявлено о возобновлении занятий в гимназиях — пожалуйста! — сказала она твердо.— А пока порядок не восстановлен — сидите дома.

Значит, в городе не так-то уж и спокойно.

Сама Ольга Ивановна в первые дни прихода оккупантов тоже выходила из дому редко. Только в тех случаях, когда ей присылали какие-то повестки из комендатуры.

— Они, наверно, ее за немку принимают,— сказал как-то Гребенюк злорадно,— а Олька ни бе ни ме понемецки.

Теперь ежедневно, важно разворачивая газету за утренним чаем, Ольга Ивановна говорила с благоговением:

— Бумага, посмотрите, какая!

А вчера, заглянув в «Официальный отдел», объявила торжественно:

— Итак, завтра будьте любезны подняться к семи!

В обращении к населению немецкий комендант оповещал, что в городе «ликвидированы все последствия красного террора».

Владельцам предприятий, магазинов, контор, слу-

жащим учреждений, рабочим на заводах, а также учащимся высших учебных заведений, гимназий и школ предлагалось спокойно заниматься своим делом.

— «За нарушение установленного распорядка жизни города,— прочла Ольга Ивановна с ударением,— виновные будут подвергнуты наказаниям по всей строгости действующих в оккупированных местностях военных законов».

Однако, посовещавшись, мальчики решили, что в гимназию они завтра не пойдут. Возьмут с собой ранцы и завтраки, но поедут не в гимназию, а на Пересыпь или двадцать первым номером трамвая до конца Дальницкой.

В квартире Веде вчера появилась давно не виданная гостья — тетя Даша, молочница со станции Дачной. Пока Женя стучался в спальню Ольги Ивановны, тетя Даша успела рассказать Ваде и Сереже, что у водопровода за Чумкой[1] какие-то люди напали на отряд оккупантов, отняли оружие и скрылись. А на углу Прохоровской и Дальницкой оккупанты застрелили человека. Труп так и лежит неубранный второй день.

— Ну что, Даша, спокойнее теперь стало жить, а? — весело спросила Веде, вынося молочнице в переднюю деньги.

Та молча отсчитала сдачу.

— Вам опять через день носить? — спросила она вместо ответа.

И вот, как назло, сегодня утром, еще до умывания, Сережа почувствовал, что ему больно глотать. Когда он плотно зажмуривал глаза, веки его чуть покалывало и выступали слезы.

Поэтому за столом он предусмотрительно поместился за самоваром, однако от проницательного взгляда Ольги Ивановны трудно уберечься.

— Сергей, ты что это такой красный? А ну, поди-ка сюда!.. — сказала она строго.— У тебя жар! — пощупав его лоб, объявила Ольга Ивановна.— В гимназию ты не

---

[1] Во время эпидемии чумы в Одессе трупы были свезены в одно место и залиты известью. Холм этот получил впоследствии название «Чумка».

пойдешь. Это кстати: меня почему-то вызывают в участок, а сейчас опасно оставлять пустую квартиру. Открой-ка рот! Скажи «а». Ну конечно, опять распухли гланды.

Сережа так застучал о стол кулаками, что Ольга Ивановна поторопилась вынуть у него изо рта ложечку.

— Ольга Ивановна, мне нужно непременно. Я должен исправить тройку по арифметике!

Но Ольга Ивановна уже нашла в ранце его дневник, чтобы вписать «уважительные причины отсутствия ученика».

— Останешься дома! — сказала она неумолимо.— Отметки, выставленные при большевиках, не будут приниматься в расчет. Ложись. Только обязательно вымой ноги. Я переменю тебе постельное белье и сейчас же пришлю доктора Беседовского. Только, пожалуйста, не зазывай в квартиру никого из дворовых мальчишек!

Итак, получилось, что уже больше трех недель в Одессе немцы, а Сережа все еще сидит дома.

Володя Приходько сказал, что хотя Беляевка, где водопровод, сейчас уже в руках оккупантов, но рабочие на Чумке что-то сделали и теперь в городе не будет воды... Господи! И всего этого Сережа не увидит.

Ольга Ивановна ушла позже всех.

— Обязательно помоешь ноги! — повторила она на прощание.

Сережа налил в таз кипятку из самовара и пошел было на кухню разбавить его холодной водой, но воды в кране не оказалось. Ух ты, неужели на Чумке действительно что-то происходит?

Таз с водой Сережа поставил на подоконник — остудить, а сам отправился пошарить в буфете. Было очень скучно и почему-то хотелось есть. Он разыскал засохший кусок сыра — съел. Половину каменного бублика — съел. Какую-то странную красную котлетку — съел и только тогда сообразил, что она была сырая. Потом съел варенье в вазочке. Потом устроился мыть ноги в гостиной у окна, откуда можно было видеть все, что происходит на дворе.

Сереже все время казалось, что сегодня должно случиться что-то страшное, неожиданное, но день проходил, как всегда.

Пришел старьевщик, а потом грек с высоким, напоминающнм серебряиое церковиое паникаднло кувшнном за спиной. Сережа бросил в окно царский гривенник, и, звеня подвесками и цепочками, грек иацедил ему стакан ледяного, щнплющего язык лимонаду.

За окном во дворе поднялся шум, и первый, кого Сережа увндел, выглянув, был двориик Осип. С совком и метлой в руках, он стоял, с интересом наблюдая, как напротив квартиры номер восемь кто-то устанавливал все время валнвшнеся набок жндеиькие ширмы.

Вместо иосатого Ваньки Ру-тю-тю[1] иад ширмами взлетали чьи-то мяснстые смуглые кулаки. Похоже было, что за ширмамн кто-то раздевается нли одевается.

На шнрмах косо внсел портрет черного усатого человека, обложенный под стеклом девятью золотыми бумажными медалями. «Али-бен-Гассан из Бенареса» было напнсано на рамке портрета.

Наконец из-за ширм показался сам Алн-бен-Гассан — черный усатый человек в чалме н цветном бухарском халате. Дворннк Оснп немедленно шагнул ему иавстречу.

— Разрешенне нмеешь?! — крикиул он на весь двор.

Эх, совсем не так, как нужно, разговаривал Али-бен-Гассан с Осипом!

В ответ на все его объяснения дворник только застучал метлой о каменные плиты двора:

— Как это ие простой фокусннк? Знаем мы таких артистов! А коврик ты что — молиться постелнл?

И вдруг замолчал и закрыл лицо обеими руками.

Сережа вынул ноги из уже давио остывшей воды и по пояс высунулся в окно. Тотчас же он со стоном откнпулся назад. По глазам его больно ударило пламя, которое, казалось, вылетало из поднятой руки Али-беи-Гассаиа.

Однако на Оснпа и это не подействовало.

— А ну, брось зеркало! А нет — так идем в участок. Теперь у иас немецкая власть и полный порядок! Разрешение давай! Туркн тут всякие понаехали!

«Разрешенне давай! Давай разрешение! Разрешение давай!..» — вдруг загалдело на разные голоса.

Осип озадаченно слушал, закатив, как гусак, к иебу

---

[1] Ванька Ру-тю-тю (укр.) — «Петрушка».

голубой старческий глаз. Ребятишки, притихшие и испуганные, жались к Али-бен-Гассану.

Сережа тоже, пожалуй, испугался бы, если бы позапрошлым летом он в городском саду не видел знаменитого чревовещателя Сиккети. Чревовещатель — это такой человек, который может говорить сам, а звук как будто исходит из угла комнаты или из горлышка кувшина.

Осип оглянулся. Сзади тоже никого не было. Он с сомнением кашлянул и оглядел окна. Похоже было на то, что он начинает сдаваться, но тут сапожников Володька вдруг не выдержал и громко расхохотался, приседая до самой земли.

Вот этого Осип уже перенести не мог. Схватив Володьку за шиворот, он швырнул его прямо в открытое окно подвала, где среди сапожных колодок, свернувшись, как рыжая гусеница, спал котенок.

Володька, ударившись спиной о перила, закричал и заплакал, дети загалдели еще громче, испуганный котенок взвизгнул человеческим голосом, и, перекрывая все эти звуки, басом закричала жена сапожника Приходько:

— Что, тебя наняли детей калечить? Ах ты, жандармская морда!

— Давай разрешение, а не то сейчас приведу кого следует,— забормотал Осип, отступая, однако, несколько назад. И вдруг быстро-быстро засеменил к воротам.

Упустив дворника, сапожница немедленно накинулась на фокусника:

— Люди на фронте головы ложили, с бандитами сражались, кровь проливали... Мой какой был дохлый, а не побоялся — против буржуев пошел! — нисколько не снижая голоса, наступала она на Али-бен-Гассана.— А он тут фокусы показывает! Здоровый: об мостовую бей — не разобьешь, а такими глупостями занимается! Тьфу! Ни стыда ни совести у людей нету!

Сережа никогда и не думал, что лицо человека может так мгновенно побледнеть, точно слинять... Фокусник с яростью расстегнул на груди халат, а теперь рвал на себе рубаху...

— З-здоровый,— заикаясь, бормотал он побелевшими губами.— А эт-то т-ты вид-дэла? А эт-то нэ на фронтэ?

К Сережкиному удивлению, Али-бен-Гассан очень хорошо говорил по-русски, только тверже, чем надо, выговаривал букву «е».

Неизвестно, что увидела сапожница, но она тотчас же переменила тон:

— Да я ничего... Так с виду, конечно, человек как человек...— И вдруг, не желая сразу сдаваться, добавила: — Чтобы меня так покалечило, я, ей-богу, лучше под церковь просить пошла бы, а такого Ваньку Ру-тю-тю с себя не стронула бы...

Али-бен-Гассан, зло щурясь, приготовился ей что-то возразить, но она, уже совсем по-домашнему похлопав его по спине, добавила:

— А ты иди, иди лучше. А то гад этот и вправду немцев приведет...

Поймав Сережкин сочувственный взгляд, фокусник подошел к окну.

— Мальчик, слушай,— спросил он просто и печально,— что, тут у вас нэту другого выхода со двора?

— Нет! — крикнул Сережа.— Но вы не бойтесь, никого Осип не приведет... Это он так — нарочно пугает.

Однако Али-бен-Гассан, даже не заходя за ширмы, уже принялся разматывать чалму, потом потянул за узкие рукава халат.

— Тут, понимаешь ты... — начал он, с беспокойством поглядывая на окна.

Дети еще стояли полукругом подле фокусника, с надеждой и сомнением следя за тем, как он разматывает пышную чалму. Но, когда он принялся за халат, все поняли, что представления больше не будет.

— Дяденька, а какие же у вас фокусы? — умоляюще закричала Стася из второго номера.

— Фокусы у нас очень хорошие,— сказал Али-бен-Гассан, рассеянно поглядывая по сторонам.— Только смотри, чтобы он вправду немцев не привел... А ну, хозяечки-дамочки, дайте воды кто-нибудь напиться. По всей Новосельской воды нэту.

Сережа, как был босиком, в закатанных по колена брюках, вихрем пролетел в столовую, налил в стакан остывшей воды из самовара и выскочил во двор.

С ужасом он услышал, как входная дверь захлопнулась за его спиной...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Еще одно письмо

Али-бен-Гассан жадно поднес стакан ко рту. Под халатом у него, оказывается, был обыкновенный костюм из синей китайки. Под расстегнутой курточкой Сережа увидел блестящую бронзовую грудь, чуть подернутую голубым, малозаметным узором татуировки. Мальчик тотчас же смущенно отвел глаза: разглядывать человека так бесцеремонно, как это сделала сапожница Приходько, ему было стыдно. Но, даже не приглядываясь, он заметил, что лицо фокусника было в крупных редких оспинах. Оно побледнело от усталости или волнения, глаза его тоже были усталые, а рука, в которой он держал стакан, чуть дрожала.

— Слушай, мальчик,— зашептал он, низко наклоняясь к Сереже и обдавая его деревенским запахом хлеба, лука и махорки,— а где тут у вас будет пятая квартира, не скажешь?

— Наша — пятая квартира,— ответил Сережа и вдруг почему-то испугался.

— А барышня Франя, такая у вас не живет случаем, а?

— Франя? — переспросил Сережа.

«Она уже у нас не живет»,— хотел было он сказать, но передумал, так как сейчас некогда было все это объяснять.

— Только сейчас ее нет дома,— добавил он.

— Придется еще раз зайти,— сказал фокусник огорченно.— У меня письмо к ней... Важное очень письмо...

Он кивнул головой, взвалил ширмы на плечо и, прихрамывая, двинулся к воротам.

Осип все-таки перехватил его в подъезде.

— Не уйдешь, шутишь! — закричал он визгливо.— Я тут сходил куда надо. Велели тебя задержать!

Однако мальчики дома номер тридцать пять были сегодня героями.

— Дяденька фокусник! — закричали они хором.— Осип никуда не ходил — он только посидел тут немножко на тумбочке!

— На тумбочке? — переспросил Али-бен-Гассан и вдруг озорно, по-мальчишески улыбнулся.— Ну, тогда смотрите фокус-покус,— сказал он, делая легкое движение рукой.

И Осип сейчас же, точно на пружинах, подпрыгнул, чуть не касаясь поднятыми руками сводов подъезда. Потом он с такой же непостижимой быстротой опустился на четвереньки, и, только приглядевшись, Сережа понял, в чем дело: Осип ловил свою собственную дворничью шапку с блестящим медным номером. А она, описав дугу в воздухе, как живая, уползала от его шарящих рук.

Нагнав наконец, он прихлопнул ее, как птицу или ящерицу, она рванулась было, но потом ниточка с крючком, которой управлял Али-бен-Гассан, очевидно, лопнула, и фокусник шагнул в подъезд под одобрительный хохот детворы. Но Сереже с лесенки видно было, как, потоптавшись на месте, Али-бен-Гассан вдруг снова свернул во двор.

Как в страшном сне, Сережа разглядел в голубом пролете ворот знакомую шляпу с качающимися на ней розовыми розами.

Брезгливо обойдя распластавшегося дворника, в подъезд вошла Ольга Ивановна, за ней стройный офицер в непонятной серой форме, а за ним еще двое с ружьями — очевидно, солдаты. Оккупанты!

Осип, поднявшись, уже пытался объяснить что-то второму солдату, больше действуя руками, чем языком.

Кто-то осторожно тронул Сережу за плечо.

— Возьми письмо, мальчик,— тихо сказал фокусник,— а то... кто его знает... Передашь Фране. Только припрячь — письмо важное!

Сережа быстро сунул за пазуху толстенький, захватанный пальцами конверт.

— Ой! — вспомнил он вдруг, удерживая Али-бен-Гассана за полу.— Второго выхода на улицу в доме действительно нет. Но видите — сараи? Так вот: в одном сарае можно вынуть в задней стенке две доски и выбраться на Княжескую улицу... Мы всегда так дела-

ем... Вот этот крайний сарай, цифра шесть на двери. Он пустой. Замок вынимается вместе с кольцом. Но вы, может быть, не проползете...

— Фокусник — да не проползет! — сказал Али-бен-Гассан невесело и попятился к сараям.

Ольга Ивановна приближалась, и с каждым ее шагом Сереже становилось все страшнее и страшнее. Вот она уже поравнялась с олеандрами в зеленой кадке.

— Ольга Ивановна... — начал Сережа, крепко сжимая кулаки в карманах.

Но Ольга Ивановна точно прошла сквозь него и, как птица, толкнулась в закрытую дверь. Ее гость поднялся по шести ступенькам вслед за нею. Солдаты остались внизу.

— Ключа нету, Ольга Ивановна! — пробормотал Сережа, переступая от холода босыми ногами.— Я нечаянно выскочил во двор... А дверь нечаянно сама захлопнулась...

«Вот сейчас поднимет крик!» — подумал он, втягивая голову в плечи.

И вот — так бывает только в снах — обломок скалы летит прямо на нас, вы готовитесь к неминуемой гибели, и вдруг он, порхнув в сторону, беззвучно рассыпается на куски. Или — страшный рыжий жеребец, оскалив длинные зубы, тянется вас укусить, а вместо этого нежно берет вашу руку бархатными, добрыми губами.

Ольга Ивановна не закричала. Она только для чего-то открыла и закрыла зонтик.

— Дверь захлопнулась? — переспросила она, не понимая, и вдруг поняла.— Ах, захлопнулась дверь. Господи, а ты совсем голый!.. Извините меня, герр оберст,— добавила она, оглянувшись.

Так как Ольга Ивановна, беспомощно стиснув руки, стояла перед закрытой дверью, немец распорядился за нее.

— Молодой человек проникнет в квартиру через окно и откроет нам дверь изнутри. Мы и так уже запоздали,— сказал он на отличном русском языке, мельком взглянув на руку.

В этот день испытаний Сережа допустил еще одну оплошность. Проникнув в квартиру через окно, он тот-

час же кинулся открывать входную дверь, забыв о том, что посреди гостиной остались его носки, ботинки и таз с грязной водой.

А когда вспомнил, было поздно — Ольга Ивановна уже ввела в комнату гостя.

Однако чудесный сон продолжался.

— Ага, ты все-таки помыл ноги? — сказала Ольга Ивановна, заметив беспорядок.— Но я к доктору зайти не успела. Возьми свои ботинки, а это я уберу сама. И выйди, пожалуйста. Нам необходимо поговорить.

Однако немец, не стесняясь Сережи, уже вытащил из кармана записную книжку.

— Значит, в квартире Авиновицких — две комнаты? — сказал он, ставя птичку.— Так... А где живут Бернадские?

В три часа позвонили Женя и Вадя.

Только дурак мог бы поверить, что они были в гимназии,— у Женьки нос совсем облупился и даже пробор на голове стал красный, а у Вади из карманов сыпался песок.

Да, они были на Ланжероне[1]. Полезли в воду, но купаться еще нельзя, вода страшно холодная... С немцами плохо, никто и не собирается их выгонять. По улицам уже разъезжают ихние патрули, и кругом развешаны приказы немецкого коменданта.

— Ушли и «Синоп», и «Кагул», и «Ростислав», и «Алмаз»,— сказал Вадя дрожащим голосом.

— Совсем ушли? — спросил Сережа испуганно.

Это был дурной знак. В прошлом году войска Рады, наступая с вокзала, вытеснили красногвардейцев в порт. А те так и продержались там с 1 декабря 1917 года до 12 января 1918 года под защитой военных кораблей, пока не завязался тот знаменитый десятичасовой бой, после которого в Одессе установилась Советская власть.

И вот теперь эти корабли, оказывается, ушли.

— Ну, а у тебя что? — спросил Вадя.

Сереже тоже было о чем рассказать, но он молчал. Как быть с письмом? Ведь, с одной стороны, он дал слово держать все в тайне, но, с другой, Али-бен-Гассан

[1] Ланжерóн — приморский дачный район в Одессе.

так же точно отдал бы письмо Жене или Ваде, любому, кто вынес бы ему воды. И потом, у Сережи от товарищей не было тайн. И с Франей они еще бо́льшие друзья, чем он. Он знает ее пять лет, а они — шесть. После некоторого раздумья он пошарил за пазухой и выложил на стол письмо.

— Вот передали для Франи,— сказал он, опуская подробности.

— От Павы, наверно! — сказал Вадя быстро.— Покажи! Нет, почерк незнакомый.

— Кто передал? — спросил Гребенюк.

— Человек один... Фокусник...

— Ну чего ты ерунду городишь! — рассердился Женька. Он потянул было письмо к себе.

В эту минуту вошла Ольга Ивановна. Она уже выпроводила своего гостя.

Сережа тотчас же схватил со стола градусник и сунул его себе под мышку.

— Ты что это с ногами лег на кровать? — спросила Ольга Ивановна своим, слава богу, уже обычным тоном. («С ногами» — это должно было обозначать «в ботинках».)

— Мне нехорошо,— сказал Сережа томно.

— О чем это вы здесь шептались? Почему закрыта форточка? — продолжала Ольга Ивановна, шаря глазами по сторонам.— А это что за письмо?

— О-о, это старое... — сказал Гребенюк спокойно, засовывая письмо в какой-то учебник.— Мы уборку в ящиках делали. Вытащили всякий хлам.

— Ну, значит, вам в гимназии всё сказали? — начала Ольга Ивановна торжественно.— Экзамены в этом году отменяются. Всех переведут по отметкам. Учебный год закончится раньше на месяц. Мне придется переехать на дачу — в городе уже и сейчас духота. Если мы договоримся с вашими родителями, как только установится погода, я вас всех возьму с собой, к морю... Тише! Какая у тебя температура, Сергей?

— Тридцать шесть и шесть,— ответил Сережа сердито,— а вы меня в гимназию не пустили!

— Гимназия от тебя не убежит,— зловеще сказала Ольга Ивановна, выходя.

— Ну, где теперь искать Франю? — закричал Гре-

бенюк, как только захлопнулась дверь.— Балда ты, Сергей! Не надо было брать письмо... Что нам сейчас с ним делать?

— Прежде всего, конечно, разыскать Франю,— подумал Сережа вслух.— Обыщем всю Градоначальническую, а найдем. Она ведь в какой-то детдом поступила.

— Оккупанты все детдома позакрывали,— сказал Вадя тихо.

— Узнаем Франин адрес через адресный стол. Должна же она где-нибудь жить...

— Ну, навряд ли адресный стол уже работает. А если и работает, то навряд ли дает сведения о прислугах,— возразил Женя.— Да мы и фамилии ее не знаем! На конверте написано: «Фране — в собственные руки».

— Олька должна знать... — И Сережа выскочил в коридор.

Через минуту он вернулся, красный и сердитый.

— Она сказала, что даже якобы и не смотрела у Франи в паспорте и что фамилии Франиной якобы не знает. И что, может быть, Франя не Франя, а Хивря какая-нибудь. Она сказала: «Вы же провожали ее на новое место, вот и справьтесь там».

— Правильно, пройдем всю Градоначальническую и найдем, где этот детский дом был... Кто-нибудь же должен знать, куда служащие девались,— предложил Вадя.— Человек ведь не иголка!

— А то еще можно поехать на Дальницкую, двадцать — там Франина тетя Поля живет,— вспомнил Женя Гребенюк.

На 24 марта в гимназии был назначен торжественный молебен. 23 марта мальчики были свободны. Весь этот день они употребили на поиски Франи. Разыскали даже бывшего сторожа из бывшего детского дома на Градоначальнической, двадцать шесть. О Фране, однако, никто ничего не мог сказать — она как в воду канула.

«Домой, верно, к себе, в деревню подалась»,— высказал предположение сторож.

Потом мальчики поехали на Дальницкую, двадцать, но оказалось, что Франина тетя Поля перебралась оттуда неизвестно куда.

Поздно вечером, побывав напрасно и в адресном столе, мальчики, расстроенные и усталые, вернулись домой.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Актовый зал

От долгого ожидания у Сережи болит шея и деревенеют ноги. Разговаривать нельзя: четвертый класс выстроен подле самых окон, и здесь, вдоль зала, все время прохаживается инспектор Модест Кириллович Богоявленский.

Единственное утешение, что сегодня позади Сережи стоит Женя Гребенюк. Мальчики опоздали в гимназию, влетели в актовый зал уже после звонка на молитву и пристроились как попало.

Когда инспектор, мягко ступая плоскими ботинками без каблуков, отходит подальше, Сережа лягает Гребенюка ногой, и ему приятно слышать за спиной сердитое Женькино сопение. Модест Кириллович часто и внезапно оглядывается, но видит только неподвижные физиономии да глаза, безмятежно уставившиеся в выцветшие тисненые обои.

Инспектор испытующе щурится, но ничего подозрительного не обнаруживает. Разговор ведется посредством рук и ног.

— Видел? — спрашивает Женя, больно наступая Сереже на пятку.

— Идиоты! — отвечает Сережа презрительным подергиванием плеча.

Только что из красного угла под иконой вернулись на свои места певчие. На гимназистах Евтушенко, Снибровском, Значко-Яворском, Демченко — обыкновенные форменные гимназические брюки, только в наружные швы их встрочены голубые с желтым лампасы и грудь гимназистов украшают желто-голубые банты. Это жовто-блакитники — «щиры украинцы»; они не пожалели брюк, чтобы доказать свою приверженность Украинской Национальной Раде. Да, собственно, испорченные брюки для них — пустяки. До прихода Советской власти

Значко-Яворский приезжал в гимназию на собственном выезде. Янковского привозил гувернер, а Евтушенко и Демченко сопровождали горничные. Отец Ромки Снибровского полицмейстер. Ромка каждый день за завтраком проедал столько же, сколько Сережина мама зарабатывала за неделю.

А Федька Грицуля, чтобы не отстать от них, наспех пришил к своим замызганным брючкам узенькие желтые и голубые ленточки — вот еще осел!

Почему-то очень болит шея. Со скуки Сережа уже пересчитал все лампочки на люстре и принялся за линии, вытисненные на обоях. Как бы в доказательство того, что обои когда-то были синие, на них явственно выделяются три ярких четырехугольника. Здесь раньше висели портреты царя, царицы и наследника-цесаревича. В прошлом году в актовом зале долго простоял лицом к стене портрет Керенского, но его так и не успели прибить. 14 января, когда в Одессе установилась власть Советов, его вынесли вон.

Модест Кириллович весело похаживает между рядами, потирая руки так энергично, что трещат его целлулоидные манжеты.

«И чего радуется!» — думает Сережа сердито.

Но вот в коридоре раздаются твердые быстрые шаги. Трр-рах! — с шумом распахивается дверь, и входит директор. Гимназисты между собой называют Владимира Владимировича Бессмертного «красавец Вольдемар», «Володенька» или «Володька» — в зависимости от того, в каком директор настроении. Сейчас это безусловно «красавец Вольдемар».

Осторожно проверив рукой зачесанные на лысинку волосы и несколько раз дернув подбородком, точно определяя, хорошо ли держится его голова на шее, директор выходит перед выстроившимся каре гимназистов.

— Рад приветствовать вас сегодня, господа,— говорит он, чуть грассируя.— Вот мы с вами снова... — «красавец Вольдемар» делает широкий жест рукой,— снова без помехи можем собираться в этом величественном зале.— Минуя взглядом яркие четырехугольники на стене, директор обводит глазами вытянувшиеся в ниточку ряды. Улыбка трогает его свежие полные

губы.— С ученическими комитетами и вообще со всей этой анархией покончено, я надеюсь, навсегда... К моему удивлению, господа гимназисты меня не повесили, не расстреляли и даже не вывезли на тачке в Александровский парк[1]. Это дает мне право думать, что я, хоть немного, им по душе... — Здесь «Володенька» делает паузу, чуть склонив к плечу румяную щеку.

Классный наставник «Дудочка» бормочет что-то на ухо первому от края шестикласснику — и тотчас же по залу проходит восторженный ропот.

«Володенька» вынимает из кармана платок и растроганно сморкается. До Сережи доносится нежное и сладкое благоухание.

— Поэтому я и решил сегодня заехать к вам, господа, пораньше,— так же растроганно продолжает «Володенька».

Инспектор вытаскивает из жилетного кармана часы и близоруко подносит их к глазам.

«Красавец Вольдемар» не замечает или не желает замечать этого жеста.

— Мне хотелось бы... э-э-э... несколько подготовить вас... Для некоторых из гимназистов события последних недель явились... э-э-э... так сказать, неожиданностью. За эти почти четыре года — с четырнадцатого по восемнадцатый — мы с вами привыкли относиться к немцам, как... э-э-э... к каким-то варварам, вандалам... Но сейчас мы поставлены перед необходимостью... — Под пристальным взглядом инспектора Владимир Владимирович снова вынимает платок и чуть помахивает им в воздухе. Затем решительно сморкается и заканчивает: — Если выбирать между большевиками и немцами, то, безусловно, каждый здравомыслящий человек выберет немцев! Так и поступило Украинское правительство... Я, господа, не украинец по национальности, но понимаю, что выбор сделан правильно. Украина, находящаяся под угрозой захвата власти большевиками, воззвала к Германии, и та прислала сюда оккупационную армию — восстановить в этой несчастной стране мир и порядок.

---

[1] В первые годы революции рабочие ие раз вывозили иа тачках за пределы завода замеченных в саботаже инженеров.

— Да здравствует Украинская Национальная Рада! — выкатив глаза, кричит Ромка Снибровский.— Ур-р-ра!

— Ура, ура,— говорит директор небрежно и так же небрежно похлопывает пухлой ладошкой о ладошку.— Сейчас, как мне известно, немецкое командование ведет переговоры с Украинским правительством о том, чтобы распустить эту самую Раду и призвать к власти... — «красавец Вольдемар» закидывает голову и приосанивается,— призвать на... Нет, это, понятно, не престол... Как это у них, Модест Кириллович? Словом — избрать украинским гетманом его превосходительство генерала Павла Григорьевича Скоропадского. В жилах Скоропадского течет кровь древнего и знатного украинского рода, и он вполне достоин этого... э-э-э... высокого поста.

Директор поднимается на цыпочки и звонким тенорком кричит:

— Урра!

Зал подхватывает это «ура», и оно долго еще перекатывается по рядам.

Сережа сердито оглядывается. Не может быть, чтобы все гимназисты были такие свиньи. Нет, слава богу, не все гимназисты — свиньи! И Украинской Раде и гетману хлопали в основном одни и те же жовто-блакитники! Ну и черт с ними!

Инспектор, подойдя к Владимиру Владимировичу, что-то шепчет ему на ухо.

— Ничего, ничего... не беспокойтесь! Не преждевременно... — возражает директор.— Но я отвлекся немного... Так вот, господа, дело в том, что завтра на Соборной площади состоится парад, после которого немецкому командованию будет поднесен адрес от населения, учащихся и так далее.— Последнюю фразу «Володенька» произносит с легким смущением.— За отсутствием места каждая гимназия будет представлена четырьмяпятью лучшими воспитанниками... Ну, займитесь этим, Модест Кириллович,— вы любите и умеете это делать. И подготовьте господ гимназистов к тому, как себя держать... э-э-э... и так далее.

— Сейчас начнется выставка красавцев! — бормочет Гребенюк сердито.

А инспектор, еще легче и мягче ступая, уже обходит шеренги, выстроившиеся в зале.

Сережа спокоен. Уж его-то никогда никуда не выбирают.

— Иду на пари,— шепчет Гребенюк,— что опять вызовут Ромку Сиибровского, Федьку Значко-Яворского и Кису Крушевана... Ой, смотри, как бы нашего Вадима Анатольевича не потянули! — добавляет он встревоженно.

А инспектор уже объявляет скрипучим голосом:

— От восьмого класса, я думаю, мы уполномочим господина Крушевана Кирилла. От седьмого класса господина Значко-Яворского Федора. От шестого — господина Сиибровского Романа. От пятого — господина Шалыгина Вадима. От четвертого...

Директор капризно машет белой рукой:

— Полагаю, что четырех человек будет достаточно.

— Названных лиц прошу сюда, ко мне,— объявляет Модест Кириллович недовольно.

— На этакую... э-э-э... маленькую репетицию,— добавляет директор несерьезно.

Скаля сплошные крупные зубы, из рядов первым выходит плечистый Ромка Сиибровский, а за ним — Значко-Яворский Федор. По нежному лицу Яворского перебегают девичьи ямочки, туманно-голубые глаза его опущены. Ему никак не дать его девятнадцати лет.

Пока Яворский проходит по ряду, его сопровождает слабый, но явственный свист. Подняв голову, Модест Кириллович тотчас же настораживается. Свист утихает, чтобы с новой силой вспыхнуть в другом конце зала.

— Сор-рок пять! — с раскатом на звуке «р», точно попугай, выкрикивает кто-то из угла.

11 января 1918 года Федор Значко-Яворский из окна гостиницы «Пассаж» застрелил часового мастера Сидикмана, которому оставался должен сорок пять рублей. Потом, когда после трехдневного боя город заняли части Красной гвардии, Яворский скрывался где-то на одном из своих хуторов. Значко-Яворские — самые богатые помещики в Херсонской губернии.

«Красавец Вольдемар» поджидает господ уполномоченных с брезгливым и недовольным лицом. Директору,

вероятно, известно все о Значко-Яворском, хотя, впрочем, «Володенька» во время Советской власти тоже, говорят, скрывался у богатых немцев-колонистов на Тилигульском лимане. Когда стало известно, что в Одессе будут большевики, многие из «бывших» скрывались по деревням.

«Скажет он или не скажет ему что-нибудь?» — думает Сережа, сжимая в карманах кулаки.

Скромно улыбаясь, Значко-Яворский безмятежно поднимает на директора глаза. Но лицо «Володеньки» все пошло уже крупными бурыми пятнами. Теперь понятно, что директор «скажет».

— Потрудитесь стать как следует! — визжит «Володенька» пронзительным голосом.— Руки держите как полагается!.. Как вы одеты?.. Модест Кириллович, какая форма присвоена учащимся нашей гимназии?

Модест Кириллович даже икает от удивления: Значко-Яворский Федор — примерный ученик, костюм на нем пригнан без морщинки, пуговицы блестят, пояс сзади держится на двух крохотных крючках.

— Вы имеете в виду лампасы, Владимир Владимирович? — спрашивает инспектор укоризненно.— Но это ведь согласовано...

— Я имею в виду ботинки! — перебивает его «Володенька» пронзительно.— Желтые ботинки! Господин Значко-Яворский, очевидно, воображает, что ему все разрешено... Учащимся вменяется в обязанность одеваться по форме...

Значко-Яворскому действительно почти все разрешено. Но сегодня многие гимназисты одеты не по форме. На Сереже вот, например, какие-то зеленые парусиновые туфли. Ромка Снибровский — в сапогах с лакированными голенищами. Брюки, правда, он надел навыпуск. А еще на каком-то старшеклассникe вместо форменной курточки — черная байковая толстовка.

Однако «Володенька» уже не может остановиться.

— Потрудитесь до окончания нашего учебного заведения руководствоваться правилами, установленными для его воспитанников! Потрудитесь одеваться по форме! Анархии ни снизу, ни сверху я не потерплю! — визжит «Володенька». От волнения он наконец теряет голос, но никому не смешно. Не может ведь директор за-

явить во всеуслышание: «Вы убили старика еврея только потому, что задолжали ему сорок пять рублей!»

— Ступайте домой переодеться,— говорит «Володенька» уже спокойнее.— Модест Кириллович, пожалуй, можно ограничиться тремя представителями от учащихся, а?

— Однако я не вижу ни господина Крушевана Кирилла, ни господина Шалыгина Вадима,— произносит скрипучий голос.— Я полагал бы, что вы, господа, как сыновья русских офицеров, первыми должны были бы приветствовать приход твердой, разумной власти.

Кису Крушевана трудно увидеть — он, на радостях, приехал в гимназию пьяный, и сейчас его — ради предосторожности — заперли в уборной. Но что будет с Вадей?

В зале начинается какое-то движение. Сережа с испугом видит, как Вадим, с белыми пятнышками на скулах, пробирается к двери.

— Господин Шалыгин! — окликает его инспектор.

— Модест Кириллович,— останавливаясь, говорит Вадим, еще больше бледнея,— разрешите мне не присутствовать на параде. Мой отец был отравлен газами на германском фронте и до сих пор кашляет кровью...

Инспектор и директор переглядываются.

— Не будем формалистами... — произносит «Володенька» великодушно.— А что, Модест Кириллович, может быть, ограничимся одним воспитанником, а? Если дело дойдет до приветствий и так далее... э-э-э... я полагаю, вы возьмете это на себя... — Своей белой полной рукой он как бы отстраняет возражения инспектора.— Вы свободны, Шалыгин Вадим.

— Достанется мне, как думаете? — спросил Вадя, когда мальчики возвращались домой.

— Почему — достанется? — успокоил его Сережа.— Директор важнее инспектора, а он тебя отпустил.

Женя Гребенюк свистнул.

— А ты замечаешь, как наш Модест старается? Я думаю, и Володька и Модест получат от немцев какую-нибудь награду. Ни в одной гимназии такой трепотни нет...

Однако не прошло и недели, как Владимир Владимирович Бессмертный был отрешен от занимаемой им должности и заменен надворным советником Модестом Кирилловичем Богоявленским, проявившим себя деятельным сторонником оккупационных властей.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Муций Сцевола и рыба паламида

11 мая Ольга Ивановна получила два письма, а 14-го — еще одно; все три — почти с одинаковым содержанием.

В ответ на запрос квартирной хозяйки Нина Леонидовна Кульчицкая, штабс-капитан Шалыгин и Евдокия Тарасовна Гребенюк обратились к Веде с одной и той же просьбой, касающейся их сыновей: так как сейчас нет возможности взять Сережу (Женю, Вадю) на каникулы домой, то не будет ли Ольга Ивановна столь любезна и не оставит ли Сережу (Женю, Вадю) у себя до осени?

Гребенюк и Кульчицкая, поскольку пребывание на даче сопряжено с дополнительными расходами, предложили квартирной хозяйке дополнительное вознаграждение.

Штабс-капитан Шалыгин до этого не додумался.

И вот, с тех пор как мальчики переехали на дачу Вальтуха, они уже в который раз чуть не со слезами вспоминают Франю.

Между прочим, несмотря на свое обещание, Франя у Веде так и не появилась.

А как хорошо было бы, если бы она служила у Ольги Ивановны! Франя безусловно оставляла бы откры-

той дверь на террасу, когда мальчики, потихоньку от «Ольки», поздно возвращались домой. Она выводила бы фруктовые пятна на их курточках, латала бы мальчикам брюки — словом, покрывала бы все их мелкие и крупные грехи.

Теперь Франино место было занято шестнадцатилетней Милькой — ябедой и подлизой.

Вадя Шалыгин особенно горько и обидно почувствовал эту перемену.

На даче «Отрада», в «Летнем театре», переделанном ловким предпринимателем из павильона для прохладительных напитков, два раза в месяц по инициативе генеральши Зайченко устраивались детские спектакли...

Вся детвора от Ланжерона до Аркадии собиралась на эти спектакли. И не только детвора! Зал бывал битком набит гимназистами и гимназистками старших классов. Не пойти на такой вечер было невозможно. И Вадя, и Женя, и Сережа с нетерпением дожидались очередного воскресенья...

В пятницу Женя Гребенюк был специально командирован к Мильке для переговоров.

— Милечка, мы пораньше ляжем, а вы постирайте нам костюмы на послезавтра, хорошо? (По субботам у Мильки и без того было много работы.)

Милька мотнула косичкой и шмыгнула носом. Очевидно, постирает.

Проснувшись утром в субботу, мальчики не поверили своим глазам: на стуле у Жениной кровати сидел (иначе о нем нельзя было сказать), сидел туго накрахмаленный, отлично выглаженный парусиновый костюм. Из кармана торчал уголок чистейшего носового платка. Вадин и Сережин костюмы грязной кучкой валялись на полу.

— Что это такое? — с негодованием спросил Сережа.

— А такое, что оны мне заплатили,— отозвалась из коридора Милька,— дали́ деньги, и я им постирала. А вы, если не хочете платить, ждите большой стирки.

— Женя, ты... заплатил ей потихоньку?

— Пришлось — вы уже спали, а она требовала.

Вадя покраснел, потом побледнел, потом опять покраснел. У него сейчас не было денег. У него никогда не было денег.

Сережа, страдая за друга, старательно рылся в карманах. Не покупай он ирисок и не проиграй четырнадцати копеек в лото, не о чем было бы говорить. Наконец он вытащил заветный мамин серебряный пятачок.

— Миля, возьмите это,— сказал он героически,— и постирайте хотя бы только Ваде. Мне — не надо.

— Поди напейся воды с суропом за свой пятачок! — нахально ответила Милька.— Оны мне сорок копеек дали.

Положение было безвыходное. Женька, насвистывая и делая равнодушное лицо, прикреплял к костюму форменные пуговицы, вправляя их в колечки.

— У тебя нет больше денег, Женька? — пересиливая себя, спросил Сережа. (Хотя все равно Милька к завтрему не успеет.)

— Есть немножко, но не могу же я отдать последние. А вдруг Ляле Зайченко захочется воды или мороженого.

— Ах, так?! — Это было бесповоротное, ужасающее предательство.

— Совсем не обязательно посещать все эти вечера,— сказал Вадя как можно спокойнее.— Пошли, Сергей, вниз, на берег!

За рыбачьей хаткой, сложенной из «дикаря», был устроен «военный совет».

— Постирать костюм самому? — спросил Вадя.— А вдруг ничего не выйдет? Вот когда Женька будет злорадствовать! Да и неудобно сейчас — уже масса народу на берегу.

— Вадька,— с сияющим лицом предложил Сережа,— давай завтра встанем пораньше и сами постираем! Килом! Теоретически я умею: нужно намылить килом, а пятна на коленях и локтях оттереть песком. Я видел, как рыбаки стирают.

Кил — зеленовато-серая глина; ее много у берегов Малого Фонтана и Аркадии. Килом, говорят, вправду хорошо стирать шелк и шерсть. Только вот как будет с парусиной — неизвестно.

Вадя что-то прикидывал в уме.

— Стой, Сережка, рыбаки уходят в море рано: часа в три-четыре... Дачники начинают появляться часам к семи утра. Вот если бы нам в пять спуститься к морю, а? Как думаешь, справимся до семи?

Сережа поежился. В пять утра еще здо́рово холодно. А ведь пока костюмы не высохнут, придется сидеть в воде или гонять по берегу голышом: другой одежки у мальчиков не было. Да и солнце с утра не жаркое — когда еще эти костюмы высохнут!

— А гладить? — спросил Сережа безнадежно.— Милька утюга не даст. А если и даст, где угля возьмем?

Вадя рассердился:

— Сам лезешь со своими предложениями, а потом — назад! Пусть только Милька уедет на базар — мы всё раздобудем!.. Нам только бы не проспать. Ляля Зайченко вчера спросила: «Придете в воскресенье?» Я сказал, что придем.

Ляля Зайченко спросила? Ну, ради этого стоит преодолеть любые препятствия!

— А посидеть два часа в воде вообще ерунда,— добавил Вадя.— Даже не надо два часа... Переждем, пока Милька уедет, наденем на себя мокрые костюмы, поднимемся наверх и погладим их.

Сережа ясно представил себе: синие, как утопленники, они натягивают непросохшие костюмы. Брр!

— Муций Сцевола!..[1] — пробормотал он сердито.

— Что?

— Ничего!

В начале учебного года Вадя Шалыгин, для того чтобы доказать твердость своей воли, три с половиной минуты продержал в руке горячее ламповое стекло. Пятиклассники прозвали его «Муций Сцевола».

Рано утром мимо храпящей на террасе Мильки Вадя и Сережа, не умываясь, выскользнули за дверь.

Ходики над Милькиным изголовьем показывали четыре часа сорок шесть минут. Ходики, правда, собирались остановиться — одна стеклянная, бутылочного цвета гиря улеглась уже на подушке, но все равно боль-

---

[1] Му́ций Сцево́ла — римлянин, который сжег на огне руку, желая показать врагам силу духа римских солдат.

ше пяти часов сейчас быть не могло. Рыбаки, конечно, в море, а дачники спят.

Первым взбежав на гребень обрыва, Сережа глянул вниз — и обомлел: весь берег, от тропинки до Бухты Пиратов, кишел народом. В море не было видно ни одной лодки. В чем дело?

Мальчики вихрем слетели вниз на тугой мокрый песок и сразу же очутились в толпе малофонтанских рыбаков. Сережа разглядел тут же лодочников Спирку-грека и Леньку-красавца.

Народ стоял молча, точно на параде; только из кучки, подле которой, размахивая руками, разглагольствовал вартовый [1], взрывами доносился хохот.

— А чем же вы жить будете? — визгливо кричал вартовый.— Ну ты вот, например, чем жить будешь? Есть что будешь? — наугад обратился он к первому попавшемуся рыбаку.

Тот помолчал, спокойно досасывая самокрутку.

— Не помрем,— минуту спустя, выдув окурок чуть ли не в лицо вартовому, сказал он.— Жинка курей на базар снесет.

В толпе засмеялись. Рыбак этот жил в хибарке под самой дачей Вальтуха. Ни жены, ни кур у него не было.

— Сто смесново? Гаспадин зе вартовый за нас беспокоится,— преувеличенно подчеркивая свое греческое произношение, обратился к толпе Спирка-грек.— Мозет, гаспадин вартовый хоцет нас в ресторанцику повести?

Смеялись только среди молодежи. Пожилые рыбаки угрюмо молчали.

— Вот ты, дурак старый, чем жить будешь? Шаланда шаландой, а рыбу что — руками ловить? Смирись — и господа немцы отдадут тебе сети,— убеждал вартовый.

— От дурака слышу,— спокойно отозвался рыбак.— Сети что, сети старые... А забирать силком рыбу, мять скумбрию — нет такого права!

Ленька-красавец, стоя над самой водой, тер песком черные от смолы руки.

---

[1] Вартóвый (укр.) — полицейский, служащий «Державной Варты», как называлось полицейское управление во времена гетмана.

— Что случилось, Ленечка? — спросил Сережа.

Лодочник глянул на него смеющимися синими глазами.

— Нехай господа немцы сегодня мидии[1] жареные кушают або рыбу паламиду. Малофонтанские сегодня чисто всю скумбрию обратно в море выпустили. Я вот приберег одну рыбу паламиду,— добавил Ленька, приподнимая мешок над своей корзиной,— а господа немцы гнушаются, не хочут есть...

Есть паламиду, конечно, можно, но мясо у нее жесткое.

Сережа паламиды никогда не видел, но знал, что она хищница и много бед приносит рыбакам, так как с ее появлением скумбрия исчезает из залива.

Поэтому паламиду Сережа всегда представлял себе узкой, разящей и злой, как меч-рыба. Даже в само́м названии ее было что-то грозное. Мальчик с любопытством заглянул в Ленькину корзину.

Там, тускло глядя слюдяными глазами, лежала крупная, круглая, как цеппелин, рыба. Совсем не такая, как ожидал Сережа, она все-таки смутно напоминала снаряд или «Наутилус». Да, именно такой вид должен был иметь подводный корабль капитана Немо.

Сережа даже щелкнул паламиду пальцем по ее металлической обшивке, но звона не получилось, а ноготь противно увяз в липкой коже.

Постепенно удалось выудить из Леньки кое-какие подробности о сегодняшних событиях на берегу. Оккупанты, оказывается, уже около месяца ежедневно получают у рыбаков скумбрию, бычки и камбалу для офицерской кухни. Бесплатно... Это вроде дани... А сегодня немцам вдруг мало показалось того, что́ им отвешивают на берегу, и они на лодках выехали в море — встречать невод.

— Орут по-своему! — рассказывал Ленька.— Шарпают, мнут скумбрию. В невод руки запускают. А скумбрия — рыба нежная: десять отберут, а сотню испортят. Попробуй потом — продай мятую на базаре! Дядя Максим Дударь сказал им что-то, а унтер ихний бац дядю Максима по морде, да еще кулаком. Ну, наши рыбалоч-

---

[1] Ми́дии (миди) — съедобные ракушки.

ки, как увидели кровь, не стерпели. Кто-то с берега запустил камнем в немца. А те, что в море, взяли да со зла немецкий садочек с отобранной рыбой и опрокинули. Солдаты — на них, а они тогда из невода тоже выпустили всю скумбрию в море. Хай гуляет! Еще там того-сего натворили. Четырех человек немцы арестовали, а еще, может, у десяти сети отобрали... Вартовый, як той вужак[1], между всимà крутится — он же с рыбаков большой доход имеет... А немцы — делать нечего — за рыбкой в Аркадию и дальше, на Фонтаны, подались... — Ленька прищурился и сплюнул.— Только мы уже и туда телеграмму стукнули. Завтра, может, про Максима Дударя уже в Трапезунде будут знать. А Трапезунд знаешь где?.. — Ленька весело подмигнул.

Сережа захохотал.

— Чего тебе смешно, балда?! — сердито сказал Вадим.— При чем здесь Трапезунд? До Трапезунда сейчас не доедешь: это уже заграница...

— Не доедешь?.. — Ленька хотел что-то добавить, но, усмехнувшись, промолчал.

— Не понимаю, что здесь смешного! — повторил Вадя.— Одного человека до крови избили, четырех арестовали, у десяти сети отняли, рыбу в воду выпустили...— Вадя пожал плечами.— Я все-таки не понимаю,— добавил он шепотом,— полный берег народу... Неужели ничего нельзя было сделать? Ведь даже мужики в деревнях... Говорят, в Дальнике немецкого офицера убили...

— Говорят, что кур доят! — наконец обозлился Ленька.— Ты мне про мужиков не говори! Мужик только свою полосочку знает,— уже спокойнее продолжал лодочник.— Заберут у него поросенка, так он за поросенка оккупанта подстрелит. Тишком — в кукурузе... Да еще надо иметь с чего стрелять... Карательная придет, а он заховается или на соседа моргнет. Моя, мол, хата с краю — я ничего не знаю... А рыбаки — они народ артельный. Невод — это тебе не соха-борона. Без артели невода не завернешь... Тут по порядку надо делать!

Народ на берегу все еще не расходился. Над скала-

[1] В у ж á к (укр.) — ýж.

ми, испуганно крича, летали узенькие морские ласточки. Стирка сегодня, конечно, не состоится...

— Пошли, Вадим, окунемся разок,— предложил Сережа в слабой надежде, что Вадя еще вспомнит о стирке и что завтра они повидаются с Лялей Зайченко.

Но Вадя молча сидел на песке.

— Неохота,— сказал он наконец.— Давай доспим еще, Сережка!

Честно говоря — и купанье сейчас не в купанье! Оккупанты не разрешают заплывать дальше шести саженей от берега — это и есть ихняя «зона».

Про Трапезунд Ленька, конечно, болтнул сгоряча: выходить в море на парусах без специального разрешения сейчас тоже нельзя. Даже на плоскодонке отца Вовочки Стахова оккупанты срубили мачту — не посмотрели, что у «Братьев Стаховых» собственный дровяной склад! Это немцы всё с перепугу: говорят, на парусниках по ночам из Крыма приплывают большевики-подпольщики. А все побережье Аркадии и Малого Фонтана оцеплено колючей проволокой, и почти через каждые пятьсот — семьсот шагов стоят часовые. Проходить можно только там, где указано надписью.

Вот на одного из таких часовых мальчики и напоролись по дороге домой.

Поднимались Сережа и Вадя к даче Вальтуха напрямик по обрыву, а из-за обрыва уже целиком вылезло слепящее солнце, и мальчишки не разглядели колючей проволоки.

— Halt! — вдруг заорал часовой над самыми их головами.

Сережа щитком приложил руку к глазам, но все равно смотреть было трудно: солнце живым серебром скатывалось по штыку солдата и вдруг на острие больно стреляло длинной искрой.

— Эх ты, рыба паламида! — глядя на его австрийский рыбьего цвета шлем, прошипел Вадя с таким бешенством, что молоденький голубоглазый часовой, оторопев, опустил ружье.— Пошли, Сергей!

И «Муций Сцевола», презрительно притоптав к земле, перешагнул колючую проволоку, предварительно пропустив вперед товарища.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Морской спорт

Детский воскресный спектакль, из-за которого, собственно, и рассорились товарищи с Женей, так и не состоялся. Однако у Сережи нашлось в этот день другое развлечение.

За Таинственным Островом, далеко за пределами Бухты Пиратов, выступает из воды небольшая скала с плоской, как будто ножом срезанной, верхушкой — Остров Сокровищ. Вокруг нее — глубоко, и добираться туда отваживаются только хорошие пловцы.

Так вот что придумали наши друзья: по воскресным утрам, то есть именно тогда, когда у берегов болтается много неопытного пришлого народу, мальчики, раздевшись, вплавь добирались до скалы. Платье свое они умудрялись доставлять на Остров Сокровищ сухим, обматывая им голову.

Там они снова одевались и с самым невинным видом принимались поджидать жертву.

А жертва ловилась таким образом: представьте себе, что вы, типичный неопытный горожанин, в воскресный день нанимаете лодочника по двадцать копеек за час и отправляетесь покататься.

Представьте себе, что далеко в море вам по пути попадается небольшой островок, а на нем — трое совершенно одетых, приличных мальчиков, примерно четырнадцати-пятнадцати лет.

Вы невольно заинтересовываетесь островом и его обитателями. Проезжая мимо, поглядываете на детей, а на обратном пути наконец не выдерживаете. (Возможно, что мальчиков высадили сюда из лодки, что они сейчас в безвыходном положении, и т. д. и т. д.)

— Не нужно ли вас куда-нибудь подвезти, дети? — любезно осведомляетесь вы.

— Нет, благодарим вас,— скромно отвечает самый

толстый и розовый веснушчатый мальчуган,— нам здесь лодки даже и не понадобится.

(Ого, это уже начинает вас интриговать.)

— Как же вы сюда попали — вплавь? — спрашиваете вы.

— Зачем — вплавь, мы малокровные, нам мама не позволяет плавать,— говорит мальчик.

А другой поясняет:

— Сюда от берега можно дойти по отмели, песочком.

(Это уже совсем интересно!)

— А глубоко здесь?

— Сережа, покажи молодому человеку, до сколько тебе вода,— говорит толстый самому маленькому.

Тот охотно закатывает штанину и показывает чуть выше колена.

— А вот Вадя может вас довести до берега.

Вы смотрите на Вадю. Ничего, кроме желания услужить, не написано на его милом и, пожалуй, даже красивом лице.

— А вот и дорожка,— говорит он.

Вы действительно видите под водой салатного цвета гофрированную, красивую песчаную полоску.

Вы решаетесь... Правда, лодочнику уплачено за час вперед, но что может значить лишний гривенник по сравнению с таким замечательным приключением!

— Пристанем здесь! — говорите вы, словно бросаясь в холодную воду, и отпускаете лодочника.

Мальчики начинают быстро раздеваться.

— Дядя,— просят они,— посмотрите, чтобы вещи наши ветром не снесло в воду, мы только окунемся и вылезем. Мама не позволяет нам долго сидеть в воде.

Вы человек рассеянный и не замечаете, как за вашей спиной ловкие руки стаскивают со скалы штаны и курточки. Только через несколько минут вы обнаруживаете, что на островке нет ни мальчиков, ни их платья. Далеко в море виднеются три головы в огромных, наподобие индусских, тюрбанах.

И если вы не умеете плавать, вам не позавидуешь!

Надо сказать, однако, что жертвы нашим друзьям попадались не часто. Иной горожанин, покачав головой и поудивлявшись, говорил лодочнику:

— Ну, голубчик, плывем дальше.

Случалось и другое.

— А ну-ка, пристанем тут, я набью морды этим мерзавцам! — кричал горожанин.

Это следует понимать в том смысле, что мальчики с ним уже встречались когда-то, в далеком прошлом.

Среди своих жертв они насчитывали одного в форме, кажется, казначейства, двух гимназистов из пятой гимназии и одного чудака с большим зонтом и красками. Словом, рыбка была мелкая.

И вот надо же было случиться, чтобы именно тогда, когда Сережа об этом совсем и не думал, клюнула крупная, можно даже сказать, огромная рыбина.

После случая со стиркой между товарищами пробежала черная кошка. Хоть и жалко было Гребенюка, который просто из кожи лез, чтобы загладить свою вину, но Вадя был прав, и Сережа тоже старался сторониться Женьки.

Отправился Сережа в этот день на Остров Сокровищ со специальной целью перечитать на свободе мамино последнее письмо и закончить «Снежную деву» Лондона, которую сегодня же нужно было вернуть мальчику с дачи Спиро.

Утро было холодное, и, добравшись до скалы, Сережа волей-неволей должен был одеться.

Усевшись в удобную выбоину, он углубился в чтение. Мерный плеск воды даже и не привлек его внимания — сейчас, в такую рань, это могли быть только рыбаки.

Не поднял он головы даже и тогда, когда лодка, завизжав, проехалась по подводному камню.

— Мальчик! — услышал Сережа звонкий женский голос.— С этого причала можно пройти к даче Вальтуха?

— Можно,— ответил Сережа,— я сам с дачи Вальтуха.— И поднял глаза. «Эге, шаланду вел Ленька-красавец! Что он не знает, где дача Вальтуха, что ли?»

На средней банке [1] Ленькиной «Зинаиды», тесно прижавшись друг к другу, сидели барышня и немецкий офицер.

Малофонтанские ребята давно уже порешили между

[1] Банка — скамья.

собой не давать проходу девицам, которые гуляют с оккупантами.

Вчера Гога с дачи Спиро бросил полную охапку репешков в пышную прическу одной такой барышни. Можно себе представить, как она наплакалась, пока вычесала репешки.

Но эту вот, бледную и красивую, Сережа видел в первый раз.

«У, гадюка!» — подумал он, рассматривая хорошенькую кудрявую головку.

— Что это ты так рано, мальчик? — осведомилась барышня и словоохотливо добавила: — А мы с герр обер-лейтенантом ездили смотреть восход солнца!

«Хоть заход смотри!» — подумал Сережа, опуская глаза в книгу.

— А ты как сюда попал? — вдруг спросила барышня.

Сережа вздрогнул. После такого вопроса «рыбка» обычно шла на «приманку». Но сегодня это было почти невозможно. Во-первых, мешал Ленька; во-вторых, немец, наверно, не захочет высаживаться. И потом, как от них удрать? А вдруг этот гад начнет стрелять из револьвера?

— Тут до Вальтуха можно пройти бродом,— неохотно сказал Сережа на всякий случай.

— Да ну?.. — радостно изумилась барышня.— Герр обер-лейтенант, вы слышите? — И повторила по немецки: — Hören Sie, Herr Oberleutnant?

Немец что-то сказал и звякнул под скамейкой шпорами.

— Нет, вправду здесь можно пройти, а, мальчик? — ласково и заискивающе спросила барышня.

— Прошел же я и каждый день хожу. А плавать я не умею! — буркнул Сережа.

— Нет, правда? — взволновалась барышня.— Лодочник, он правду говорит?

Сережа посмотрел на Леньку, и вдруг тот, ей-богу, подморгнул ему тонкой, длинной бровью.

— А что вы думаете, очень свободно, что правду,— сказал он.— Тут скрозь есть отмели. Аж до Аркадии.

— Господи! Вот чу́дно! Вот чу́дно!.. — заболтала барышня.— Herr Oberleutnant!..— и опять ему что-то понемецки.— А ты нам брод покажешь, мальчик?

— Вот брод,— ткнул Сережа пальцем в предательскую подводную песчаную дорожку.

Барышня и офицер долго всматривались в воду.

— А почему она теряется? — спросила вдруг барышня подозрительно.

Ну, тут уже было задето профессиональное Сережино самолюбие. «Рыбка» рвалась с «крючка».

— Травы морской много — вот и теряется! — сказал он сердито.— А вы посмотрите дальше... беленькая.

Барышня увидела или ей показалось, что она видит под водой что-то белое.

— Да, да! — закричала она в восторге.— Верно, идет до самого берега!

«Рыбка» клюнула по-настоящему.

— Даус, маус, гаус, каус...— заболтала барышня что-то по-немецки.— Причаливай! — небрежно бросила она лодочнику.

Тот притянулся на весле.

— Подержи шаланду, хлопчик,— сказал он Сереже.

Офицер ловко выпрыгнул, помог сойти своей даме и расплатился с Ленькой. Сердце Сережи билось где-то в горле. Отступать было уже поздно. Но, господи, что будет дальше?

— Сядай, хлопчик! — сказал вдруг Ленька, и его ловкая бровь опять лукаво полезла наверх.

Сережа в одно мгновение очутился в шаланде. Под ногами его, под досками, громко хлюпала вода.

— Воду нужно бы отливать понемножку,— обеспокоенно заметил лодочник.

Сейчас дорога́ была буквально каждая секунда, но Сережа безропотно взялся за ковшик.

Барышня тем временем сняла туфли и чулки и опустила белые ножки в воду. Офицер расстегнул высокий воротник и заулыбался с облегчением: солнце уже начинало здо́рово припекать. Барышня милостиво тронула пальчиком его портупею, что-то ласково промурлыкала, и оккупант отстегнул пояс с огромной кобурой и положил его рядом с собой на камень.

Сережа, стараясь не встречаться с немцем взглядом, повернувшись к нему спиной, старательно работал ковшиком. «Господи, к чему еще эта задержка!»

— Ну хватит, доедем и так,— сказал вдруг Ленька, словно угадав его мысли.

Только напрасно они так отчаянно гребли — те двое на скале еще ни о чем не догадались. Барышня болтала ножками в воде, весело переговариваясь с обер-лейтенантом по-немецки.

— Кумедия! — сказал Ленька, оглядываясь на них.— Чисто Бонапарт на острове Святой Елены...

Пораженный его образованностью, Сережа с почтением посмотрел на лодочника, а тот ловко подморгнул ему в третий раз.

— Ну, всего,— сказал он, расставаясь с Сережей у восемнадцатого причала, и, как взрослому, крепко пожал ему руку.

Спустя часа полтора, пробираясь домой, Сережа испуганно застыл на месте.

Против него на берегу стояла давешняя пара, но боже мой, в каком растерзанном виде они были!

Герр обер-лейтенант — в почерневших, некрасиво закатанных брюках, весь измазанный глиной, а барышня — мокрая почти по пояс. Развившиеся кудельки безобразно свисали на ее заплаканное личико. Опираясь на плечо офицера, она стояла на одной ноге. К другой, разбитой в кровь и распухшей, она, морщась, прикладывала носовой платок.

Значит, с Острова Сокровищ все-таки можно добраться до берега бродом!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

„Новая" девочка

Вадя и Сережа давно успели помириться с Гребенюком, костюмы их уже дважды побывали в «большой стирке», а о детском спектакле все еще ничего не было слышно.

Наконец как-то после обеда Милька прибежала с целым ворохом новостей:

— Ой, на даче Поповой барышни так навиваются, что аж на улице палёным слышно! Сегодня на станции будет музыка, и танцы, и еще там что-то... Целая вывеска на столбе висит!

Мальчики побежали прочитать афишу. Кроме обычных номеров детских спектаклей — декламации, игры на пианино и на скрипке, мелодекламации, сегодня была обещана новинка. На афише появилось имя «новой» девочки — Наташи Панченко! То есть она уже давно живет на даче «Отрада», но в детских концертах никогда еще не участвовала. Сегодня она будет исполнять танцы собственного сочинения.

Вадя, Женя и Сережа явились на спектакль позже всех. Это был своего рода мужской хороший тон. Прийти с опозданием, постоять в проходе и сказать небрежно:

«Ах, оказывается, как раз сегодня спектакль? Как удачно, что мы сюда заглянули!»

При входе, однако, на наших друзей так зашикали, что, немедленно потеряв свой самоуверенный вид, они растерянно стали пробираться вперед.

Сережа сначала и не узнал сцены детского театрика. Она вся была увешана какими-то коврами, а с потолка спускались бумажные разноцветные фонари.

Только что, точно оборвавшись, замерла музыка. Две длинные смутные полосы света скрестились на сцене, оставляя в тени пианино и сидящую за ним мадемуазель Гюно — гувернантку Ляли Зайченко.

На сцене, притопнув каблуком, очевидно только что закончив танец, раскинув руки, остановился мальчишка в шароварах, украинской сорочке с вышитой грудью и серой смушковой шапке.

Смех и грохот аплодисментов грянул со всех сторон.

— Ай да казачок! — кричали с мест.— Бис! Бис!..

— Гопака! — заказывали другие.

— Ай да девочка!

Это, оказывается, и была «новая» девочка!

Сорвав с себя папаху, она наклонилась к скамьям и ловко сдернула с сидящего в первом ряду Вовочки Стахова матросскую шапку. Чуть набекрень она напялила ее себе на голову.

— Матросский танец матло,— объявила она громко и ничуть не волнуясь.— Музыка!

Мадемуазель Гюно низко наклонилась над пианино и вдруг так резко ударила по клавишам, что Сережа вздрогнул.

«Новая» девочка ему не понравилась. Она показалась ему чересчур смелой и некрасивой.

— И чего задается! — сказал он, повернувшись к Ваде.

Но тот, подперев кулаком голубое красивое лицо, молча смотрел на сцену. От бумажных фонарей лица зрителей были розовыми, зелеными, фиолетовыми... Женя Гребенюк сидел где-то позади, и Сережа не нашел его в толпе.

Вытащив какую-то блестящую штуку из кармана шаровар, «новая» девочка подняла кверху обе руки.

По залу пронесся нежный звук, очень похожий на тот, что в ночные тихие часы долетает в открытые окна: точно где-то за туманом, в порту, на пароходе били склянки.

«Новая» девочка наклонилась, как будто поправляя что-то на ногах, и вдруг, громко шаркая подошвами, понеслась по сцене, чуть присвистывая на поворотах, а иногда прищелкивая пальцами.

Сережа мог бы поклясться, что на ногах у нее щетки-швабры, а когда она, развернувшись, окатывала палубу водой из несуществующего ведра, зрители, сидящие в передних рядах, невольно отшатывались в сторону.

Несколько минут Сережа, сердито прищурясь, смотрел на сцену, изредка оглядываясь на публику. Потом он оглядываться перестал.

Вот она лезет вверх по вантам, зажмуриваясь от сильного встречного ветра; вот на каблуках, дробно стуча, отступает от захлестывающего ее сорвавшегося паруса; вот, сложив руки на груди, беспечно сплевывая, уже, кажется, ничего не изображает, а просто танцует на чисто вымытой палубе.

«Новая» девочка вертелась волчком, и тогда казалось, что у нее десять пар рук, десять пар кос и одна длинная нога, на которой она точно вырастала, поднимаясь почти до потолка. Сережа иногда закрывал глаза, так как боялся, что она свалится со сцены вниз. Поэтому он чуть не вскрикнул от огорчения, когда «новая» девоч-

ка, неожиданно оборвав на, запыхавшись, но опять-таки нисколько не волнуясь, сказала:

— Это всё. Больше танцевать я не буду!

Треск аплодисментов был ответом на ее слова.

Но публике этого было мало. Взрослые и дети до изнеможения били в ладоши, стучали, кричали, становились ногами на стулья и опять кричали:

— Матло! Матло! Бис!..

— Казачок!..

— Матло! Бис!..

Это длилось до тех пор, пока генеральша Зайченко не объявила, выйдя на сцену:

— «Сакия-Муни» — мелодекламация Ольги Зайченко.

Сходя по узкой лесенке, Лялина мама сказала, наклоняясь к какой-то старушке:

— Я, может быть, и неправа, но мне хочется, чтобы дети были детьми, а эта какая-то почти актриса! И потом — где же тут танцы собственного сочинения? Мы видели обыкновенный матло и обыкновенный казачок!

Сережа густо покраснел и сжал в карманах кулаки. Слово «актриса» он воспринял как бранное. И, если судить по поджатым губам и презрительному тону генеральши, Сережа был не очень далек от истины.

А танцы «новой» девочки все-таки были особенные!

— «Сакия-Муни»,— чистым фарфоровым голоском произнесла Ляля Зайченко, делая реверанс.

Господи, что это такое? Раньше достаточно было Сереже услышать или увидеть Лялю, как он уже готов был сделать все, чтобы как-нибудь обратить на себя ее внимание. А сейчас ему почему-то стало безразлично, посмотрит на него Ляля или нет. «Сакия-Муни — бронзовый гигант» — он уже слышал четырнадцать раз. После Февральской революции ни один гимназический спектакль, ни один утренник не обходился без «Сакия-Муни». Повернувшись назад, Сережа искал в рядах «новую» девочку.

— Чулки, посмотрите на ее чулки! — давясь от смеха, пробормотала Сереже в ухо его соседка Кися Сырова.

А вот и «новая» девочка. Она уже успела переодеть-

ся в синее, немного выгоревшее на плечах платье и сейчас, выставив в проход ногу, покраснев от натуги, старательно заправляла перочинным ножиком под задник туфли заплату другого цвета. Сережа мельком глянул на свои ноги — все было в порядке.

— Ну и что здесь такого? — сказал он сердито и круто повернул стул, стараясь наступить Кисе Сыровой на ногу.

О «новой» девочке Сережа промечтал весь следующий день до вечера. А вечером у него были переживания, заставившие на время забыть обо всем на свете.

В жизни Ольги Ивановны преферанс занимает большое место. Для нее это такая же статья дохода, как и каждый из ее «воспитанников» — Вадя, Женя или Сережа. Играет Веде «по маленькой», не горячась и не азартничая, и почти всегда выигрывает.

Пулька обычно устраивается по субботам у Шеттле, у Гаевских или Любимченко, но один раз в месяц Веде считает своим долгом дать ответный ужин.

Так было и в этот день.

Загнанная Милька в третий раз прибегала «с базарчику».

Сегодня почти нет привоза. Говорят, оккупанты забирают на базаре продукты. На деревни под Одессой, мол, наложили контрибуцию — сдать столько-то масла, столько-то сала, муки и яиц. Мужики возили, возили, но контрибуции целиком не выполнили. Теперь оккупанты всё отнимают у них силком.

— Целую роту баб и мужиков поперевязывали шпагатом,— докладывала Милька,— ведут их, дети плачут, аж крик стоит, а поросята спопидмышек у немцев орут!

Ольга Ивановна злится. Милька второпях роняет посуду и забывает закрыть кран ледничка.

Мальчикам до часу не дают есть. Они сидят злые и голодные и, перешептываясь, следят за тем, как от ледничка неслышный ручеек докатывается до порога, а потом — через порог в комнату Ольки, а там, по выемке в полу, весело и уверенно журча, добирается до лакированных туфель под кроватью.

Вместо обеда детям выдают по бутерброду с позеле-

невшей колбасой и отправляют из дому, чтобы не мешали. Делая страшные глаза, мальчики по дороге вырывают из рук испуганной Мильки сырое вкусное тесто и скатываются с террасы. Грозные окрики Ольги Ивановны только заставляют их прибавить шагу.

Рыбаки на берегу угощают их печеной рыбой. Потом мальчики долго валяются на песке, рассказывая друг другу страшные истории.

Возвращаются домой уже при луне, умиротворенные и готовые извиняться. На террасе сидят гости. Ольга Ивановна в белом платье, добела напудренная, похожа на ангела. Под черными круглыми сетками от мух заманчиво темнеет что-то на блюдах, но на ужин мальчикам снова выдают по бутерброду с колбасой. Еще только десять часов, но детям предложено укладываться спать.

— Завтра они собираются на рыбную ловлю,—бессовестным голосом объявляет «Олька» удивленным гостям.

— Врё-навёт канавак соново-банава-канава [1],— громко и раздельно говорит Сережа. Понять этот язык — раз плюнуть, но никого из гостей это не интересует.

Схватив с блюда в передней что-то жирное и теплое, мальчики, давясь от хохота, укладываются в постели.

Некоторое время лежат молча, прислушиваясь к разговору на террасе. Потом раздается храп Жени Гребенюка.

— Вы слышали? Опять начинается! — громко и возмущенно заявляет Ольга Ивановна.— Железнодорожники отказываются вести составы с украинским зерном в Германию! Как будто бы это их дело! Выдумывают что-то, а потом всем нам будут неприятности!

Господин Шеттле крякает, но его перебивает звонкий и уверенный голос мадам Шеттле:

— Ольга Ивановна, а вы слышали?.. Адольф, дай мне сказать!..

На террасе начинают говорить шепотом.

— А про садоводство Орлика слыхали? — вырывается приглушенный басок господина Шеттле.— А кирпичный завод Бланка?..

Вадя больно толкает Сережу в бок:

«Значит, это правда! Мальчик с Большого Фонтана

[1] Врет как собака.

рассказывал, что на заводе Бланка, в подвале, оккупанты нашли целый склад оружия».

— Я на месте немцев арестовала бы всех рабочих Бланка! — громко произносит Ольга Ивановна.— Небось, если посидят в одиночке, сейчас же признаются, кто их мутит...

— Пошла писать,— бормочет Вадя, отворачиваясь к стенке и укутываясь одеялом с головой.

И Сережа вот-вот заснул бы, но на террасе мгновенно потухают все свечи.

И тотчас же из-за кустов железняка за далеким обрывом слабо проступает узенькая лунная полоска на невидимом море. Сережа поднимается и садится на кровати. На террасе все молчат, и поэтому ясно и страшно слышна тяжелая поступь где-то рядом, за проволочной оградой, отрывистые нерусские слова команды, короткая ругань.

— Зажечь? — шепчет господин Шеттле, чиркая спичкой, но его жена тотчас же тушит ее рукой.— Кого это они, как вы думаете? — спрашивает он шепотом.

— Это нас не должно интересовать! — говорит мадам Шеттле раздраженно.— Раз люди делают это ночью, мы из тактичности ничего не должны видеть...

— Спустились к морю,— с облегчением шепчет Ольга Ивановна и зажигает свечи.

Несмотря на испуг, хозяйка предлагает продолжать игру: она в небольшом, правда, но все-таки проигрыше.

— Вы видели? — спрашивает она у господина Шеттле.— Арестованных было человек десять. Не знаю, как вы, но я их нисколько не жалею... Ведь вы подумайте...

Не окончив фразы, Ольга Ивановна, бросив карты, зажимает руками уши. Снизу, с обрыва, один за другим раздаются короткие залпы, и им в ответ тоненько откликаются стаканы на подносе.

Утром Милька «с базарчику» приносит самые свежие новости:

— Ночью германы вели по берегу арестантов, а двое с арестантов прыгнули в воду. Солдаты стреляли, аж на Французском бульваре слышно было! А арестанты всё одно утекли... А утром, еще холодно было, германы пришли та позабирали много рыбалок... Максима Дударя,

что рыбу по дачам носит, забрали. Потом тую женщину — рыбалчиху, що у нее ребеночек слепой... А один лодочник с мальчиком чуть немецкого офицера не потопили,— весело докладывает девочка.— И ливорверт у него украли... Немец отстегнул его и положил на скалу, а они сзаду заехали, утащили и удрали в лодке. А немцу неприятности из-за этого! Ей-бо! Барышня немца сама рассказывала. У них Верка с нашей деревни служит...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

„Заяц"

Сережу Кульчицкого никак нельзя было назвать лгуном в прямом и грубом значении этого слова. Правда, рассказывая о чем-нибудь, он иногда, в интересах отчетливости повествования, разрешал себе перемещать и по-своему группировать события или даже подменять имена действующих лиц, но делалось это исключительно ради самих слушателей. Никаких корыстных целей Сережа при этом не преследовал.

Каждому понятно, что, рассказывая гимназисту Третьей гимназии о какой-нибудь, скажем, трамвайной катастрофе, необходимо упомянуть об откатившейся к самому тротуару фуражке с гербом именно Третьей гимназии. Вы-то, конечно, издали и сами не разобрали, была ли на гербе цифра «3» или «5», но зато слушатель дважды или трижды переспросит о подробностях и рассказ ваш произведет необычайное впечатление.

Но лгуном все-таки, а тем более хвастуном Сережа никогда не был.

И, однако, благодаря Верке из Милькиной деревни история с герр обер-лейтенантом и барышней облетела все побережье, обрастая, как снежный ком или как народное предание, каждый день все новыми и новыми подробностями.

О том, как русский мальчик расправился с оккупан-

том да еще отнял у него шпайер[1], знали уже на Большом Фонтане, на даче Ковалевского и даже в Люстдорфе.

— Смотри, как бы до Трапезунда не дошло! — сердито щурясь, пошутил Вадя.

Услышав однажды такую версию от мальчиков с дачи Шапошниковой, Сережа попытался было их разуверить: ему, наоборот, говорили, что ни мальчик, ни лодочник о револьвере даже и не думали. И вдруг весь похолодел: он-то, Сережа, конечно, не думал, но как можно ручаться за Леньку-красавца?! Мучительно напрягая память, Сережа пытался восстановить в уме все это «приключение с немцем».

«Сядай, хлопчик!» — сказал лодочник, и Сережа прыгнул в шаланду. В эту минуту оккупант и отстегнул кобуру. Потом Ленька велел ему вычерпывать воду. Что делалось за его спиной, Сережа видеть не мог. Потом, когда он оглянулся на немца и барышню, кобуры действительно на скале как будто уже не было... И гребли они действительно как сумасшедшие. Но Сереже тогда было не до этого...

Случись такое с Женькой Гребенюком, он непременно стал бы задирать нос, и, пожалуй, даже Вадя Шалыгин не устоял бы перед сладкой отравой славы, но Сереже всегда казалось, что героизм ему как-то не к лицу. Да героизма, собственно, никакого и не было!

Единственное, чего Сереже хотелось бы, — это, чтобы «новая» девочка остановила его где-нибудь на улице и спросила: «Скажите, это вы — тот мальчик с Вальтуха, который топил немца?» А он с достоинством объяснил бы, как все это на самом деле произошло.

Сережа так часто представлял себе эту сцену, что однажды рано утром, вылетев на террасу и увидев у самой лесенки «новую» девочку, он почти не удивился. Он только дрогнул и почувствовал слабость в ногах.

«Новая» девочка стояла в своем синем, выгоревшем на плечах платье и счищала глину с подошвы о железку подле террасы. Растрепанные косы, как живые, вертелись за ее спиной.

Дальше все было как во сне.

— Слушай, мальчик, это ты хотел утопить немца? —

[1] Шпайер (жаргон) — револьвер.

спросила «новая» девочка.— То есть сначала здравствуй! Меня зовут Наташа Панченко. А тебя?

Уже года полтора, как ни одна девчонка не осмеливалась говорить Сереже «ты», но сейчас ему это даже понравилось.

Не дожидаясь ответа, Наташа продолжала:

— Слушай, ты знаешь, он живет у Федуловых на квартире, этот немец... Дача «Отрада», Ясная, двадцать. Он говорит... (Сережа еще ничего не понял, но сердце больно и громко ударило в его груди.) Он говорит, что просеет всю дачу Вальтуха, а отыщет этого мальчика. Тебя, значит. Он откуда-то знает, что ты с Вальтуха... Но ты не бойся, он через четыре дня должен уехать. В Николаев... Анна Ивановна Федулова прочла у него на столе приказ по-немецки... И сказала моей маме. Так что ты должен спрятаться только на эти четыре дня... Меня мама послала. Ты не бойся — мы железнодорожники, то есть мама работает в железнодорожной больнице... Знаешь, револьвер — это очень опасная штука. Леньку-лодочника арестовали.

— Откуда ты взяла, что с Ленькой-лодочником был именно я? — криво улыбнувшись, спросил Сережа.

Но Наташа Панченко только прищурившись поглядела на него.

«Неужели Гребенюк проболтался кому-нибудь?» — подумал Сережа тут же. Как это ни удивительно, Наташи Панченко ему ничуть не было страшно.

Она сказала «мы железнодорожники», как говорят «мы свои» или «мы, мол, не выдадим».

— А ты молодец! — глядя на него желтоватыми, как у кошки, глазами, добавила она.

И ни в каком сне, ни в каких мечтах не бывает того, что случилось с Сережей наяву: Наташа подошла, крепко обняла его за шею и поцеловала в щеку.

Ни лгуном, ни хвастуном Сережа не был, но сейчас он даже и не пытался восстановить истину. Ему только захотелось под каким-нибудь приличным предлогом самому поцеловать Наташу.

— А ты тоже молодец, все-таки прибежала предупредить...— развязно начал он.

Но девочка, словно отгадав его хитрость, заговорила быстро и сердито:

— Ну вот, ты, значит, уже знаешь... А я побегу... Дома никого нет, а маме пора в больницу. Так ты обязательно спрячься, слышишь? Хорошо бы тебе уехать на это время...

На повороте Наташа подняла вверх четыре коричневых от орехового сока пальца.

— На четыре дня только... Ты все понял? — крикнула она.

Тут только Сережа действительно все понял и испугался по-настоящему.

— Получай пропуск свой и удостоверение... Кланяйся там на Мардаровке...— сказал кассир и ловко швырнул в окошечко синюю книжечку.

Кудрявый парень в кепке повернулся было уходить.

— И мне, пожалуйста, один детский билет... Тоже — до Мардаровки,— сказал за его спиной ломающийся мальчишеский голос.

Кассир поднял стекло.

— Пропуск есть? — спросил он привычно.

У окошка молчали.

— Ну, ты, мальчик, берешь билет или не берешь? Нет пропуска? Тогда отойди! — сердито сказала женщина с ребенком на руках.

Кудрявый парень в кепке еще раз оглянулся на мальчика и медленно пошел к выходу.

Сережа в оцепенении стоял в стороне от коротенькой очереди. Все рухнуло. Напрасно благородный Вадя Шалыгин отдал ему свои двадцать пять карбованцев — первые, а может быть, последние деньги, вдруг полученные по почте от отца. Все провалилось!

Для того чтобы купить билет, оказывается, нужен пропуск из немецкой комендатуры. А ведь как хорошо все было задумано: Сережа пошел якобы купатьсч; Женя, дождавшись «Олькиного» ухода, сложил и потихоньку вынес ему вещи. Франино письмо Сережа спрятал за пазуху: мальчики порешили, что из Валегоцулова он должен отправиться в Майново — родную деревню Франи. По всей видимости, она уехала из Одессы домой. И теперь пускай немцы хоть трижды обыскивают дачу Вальтуха!

И вдруг все это провалилось!

Сережа огляделся по сторонам. Рядом ударил первый звонок. Дядька с двумя мешками отчаянно проталкивался из двери третьего класса на перрон. На руке у него болталось ведро, у пояса бренчал котелок. Все это в дверь одновременно не пролезало.

— Давайте, дядько, подсоблю! — крикнул вдруг Сережа, бросаясь к нему. Он с таким усердием поддал мешок и взмахнул ведром у самого носа контролера, что тот невольно отступил на шаг, не потребовав даже билета.

Дали второй звонок.

— Мальчик с вами? — почтительно спросил кондуктор у дамы в розовой шляпке.

Дама растерянно оглянулась, а Сережа, не дожидаясь ее ответа, прошмыгнул в вагон.

Сереже не раз приходилось видеть в поезде «зайцев». Это бывало так: как только начиналась посадка (а они с мамой всегда занимали места заблаговременно), в вагон боком входил человек. Почти всегда он бывал босой, иногда — в очень изодранных сапогах. Оглянувшись по сторонам, он быстро становился на колени и заползал под скамью. Вокруг все внимательно следили за ним и, когда его ноги окончательно скрывались под скамьей, начинали аккуратно заставлять его корзинами, бидонами и мешками.

«Ты только, парень, не потяни там чего»,— больше для проформы предупреждала какая-нибудь женщина.

«Будьте спокойные, мамаша! Христом-богом...» — отвечал «заяц».

Войдя в вагон, Сережа, выбрав женщину с лицом подобрее, стал подле нее на колени и попытался юркнуть под скамью.

Но там все было заставлено корзинами, кошелками и человеческими ногами.

— Мамаша,— отчаянно краснея, сказал Сережа,— пододвиньтесь немножко... Христом-богом... Мне только до Мардаровки.

— Чего? — сердито спросила женщина, отставляя корзинку.

И Сережа, воспользовавшись моментом, немедленно проскользнул под скамью. Но его тотчас же потянули за ногу.

— Ты куда это? — ахнула женщина испуганно.— А где же твои папа и мама?.. Люди добрые! — кричала она на весь вагон.— Да поможите же мне! Смотры, какой образованный — без билетов ездить!

Тотчас же ее поддержало несколько голосов. Под скамью заглянуло красное широкое лицо.

— Что, у тебя денег нету? Чего билета не купил? — спросил краснолицый, хватая Сережу за шиворот.

— Деньги есть,— стоя на четвереньках и напряженно улыбаясь, ответил Сережа,— пропуска нету.

— Про-о-опуска?! А вот оккупант тебе покажет, как без пропуска ездить.

— Мне надо к маме,— прошептал Сережа, холодея от страха и стыда,— а мама моя в деревне.— И от смущения хихикнул.

— Ему смех, а людям горе,— пробормотал старик с перевязанной щекой.— За его фантазию еще люди пострадают. Это, брат, тебе не семнадцатый год — на крышах кататься...

На верхней полке напротив Сережи пошевелились. Оттуда свесились сначала ноги в начищенных сапогах, а потом кудрявая голова. Добрые карие глаза весело глянули из-под лохматых бровей.

Новая идея моментально осенила Сережу. Этот человек стоял перед ним в очереди в кассу. Он тоже ехал до станции Мардаровка.

— Вот он знает: я хотел взять билет,— сказал мальчик.— Ему тоже до Мардаровки... Мне вот не дали без пропуска, а поехать нужно туда обязательно.

— Смотри какой обязательный! — пробормотал, наступая на него, краснолицый парень.

— Чего привязались к ребенку! — закричал вдруг верхний пассажир так громко, что женщина, охнув, села на место.— Что вам, немецкой казны жалко, что хлопец даром проедет! А я вот провезу его по своему служебному... Это мой братишка, и никаких разговоров! — И, тыча желающим в лицо служебный билет и синюю книжку удостоверения, водя пальцем, читал: — «Слесарь седьмого разряда Змиенко Федор Иванович». Что, я не имею права братишку провезти?! Продуктов не достал, так хоть мальчика привезу... А ну, вылазь, Володя!

— Смотри на него — круты-гаврило![1] — не сдавался краснолицый парень.— А с откуда ты брата в гимназии держишь?

— Свечей накрал и брата в гимназию отдал,— в лад ответил слесарь.

Все засмеялись. Это был человек свой — нечего с ним ссориться.

Сережа почувствовал, что в настроении пассажиров что-то изменилось, и вылез из-под скамьи.

— И верно, чего прицепились к дитю! — сказал старик с перевязанной щекой.

— Делать нечего людя́м!..— сердито отозвалась женщина, затеявшая всю историю.— На, мальчик, съешь бублика.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Станция Мардаровка

Скоро Мардаровка.

Сережа считает телеграфные провода, а они, как назло, путая счет, то сливаются, то вдруг разбегаются на все окно, то снова сливаются. На невысоком столбе сидит кобчик. Желтые и зеленые квадраты полей растягиваются в ромбы и, медленно-медленно поворачиваясь вокруг поезда, раскрываются как веер.

Вдруг вагон с силой бросает вперед.

Сонный слесарь со стуком опускает стекло. Это еще не Мардаровка. В вагон входит молодой усатый кондуктор.

— Накатались, хватит! — объявляет он.— Станция Березайка, кому надо —вылезай-ка...— Но, оглянувшись на открывшуюся дверь, меняет тон: — А ну, попрошу от окон! Барышня, чего высунулись? Кавалеров нету!..

[1] Круты́-гаври́ло (укр.) — ироническое прозвище железнодорожников.

Девушка с узелком, сконфуженная, отскакивает от окна. Через вагон проходит старший кондуктор, двое немецких солдат, немец в резиновом плаще и еще какие-то в штатском.

Пассажиры снова бросаются к окнам.

Поезд резко дергает назад, потом вперед. Он медленно ползет, сильно стуча на стыках. Мимо по шпалам рысцой пробегает человек с зеленым фонарем.

— На запасную путь! — кричат за окном.— Василь Фомич, давай, я тебя прошу! Куренков! Куренко-ов! Гони на запасную путь!

Поезд останавливается.

Молодой кондуктор снова входит и бочком присаживается на скамью. Сейчас он чувствует себя не у дел.

— Скоро тронемся,— говорит он виновато.

Сверху свешивается рука с незаклеенной самокруткой. Кондуктор берет и, проводя языком по бумажке, мыча, вскидывает бровями.

По главному пути, колебля землю, проносится поезд, с виду — товарный, по быстроте — пассажирский.

Сережа считает вагоны.

— До сотни считать умеешь? — спрашивает кондуктор насмешливо.— Их тут, к черту, до полсотни наберется! От Одессы два раза буксы горели... Гонят сильно, дьяволы!

На каждом свежевыкрашенном вагоне — четкая белая надпись: «Ukraïne».

— Зерно... — говорит слесарь с верхней полки.

Все молчат. На узеньких площадках каждого товарного вагона стоят с винтовками наготове немецкие солдаты. На некоторых вагонах солдаты стоят и на крышах.

Кондуктор вздыхает и ловко сплевывает в угол.

— «Щира Украина от Киева до Берлина», — бормочет он сквозь зубы.

В хвосте состава, чудовищно загроможденные вагонными колесами, какими-то металлическими частями, тормозами, железными печками и вздыбленными рельсами, проносятся одна за другой пять или шесть огромных платформ.

— Видал? — спрашивает кондуктор.— На Сортировочной одиннадцать прогонов узкоколейки сняли... Им надо, а нам не надо!..

— Ничего,— зло усмехнувшись, говорит слесарь,— всего не увезут. На́йдется и для нас что-нибудь!

— Пока на́йдется, нас всех позабирают. Ты считай,— обращается кондуктор уже к одному слесарю,— с Одессы-Главной семь человек угнали? Угнали! С Бирзулы — двух, со Слободки — пять... А Знаменка, а Помощная!

— Голубева с депа, не знаешь, не взяли? — быстро спрашивает слесарь.

— С депа никого не взяли,— отвечает кондуктор охотно.— Если они с депа начнут брать, мы им такую пульку отольем... Попомнят германы Юзежеде[1].

Поезд неожиданно трогается.

— Ну, счастливо,— бросает кондуктор, выходя.

— Ты только там, браток, поменьше... Не трепись зря,— говорит слесарь ему вдогонку.

Сережа, стоя у окна, с передышкой, как ледяную воду, глотает свежий утренний воздух. Он выходил на минутку, и его место заняла женщина с тремя детьми.

Напротив сидит старик с перевязанной щекой. Вокруг сопят, храпят и сонно дышат люди. Пассажиров набилось уже столько, что даже с багажных полок свешиваются ноги.

— Нет спокоя народу! — говорит старичок сонно.— То туда с мешками едут, то сюда. Кто за солью, кто за хлебом. Мечется народ.

«Пить хо-чу, пить хо-чу!» — устало шепчет паровоз.

— Вы, как приедете домой, молодой человек,— советует старичок,— больше никуда не рыпайтесь, сидите коло маменьки — очень-очень жизнь сейчас неспокойная.

Сережа слушает разговор паровоза с вагонами.

«Пить хо-чу, пить хо-чу, пить хо-чу!»

«По-до-ждешь, не да-дим, по-до-ждешь, не дадим!» — быстро и зло перебивают его колеса.

Ждать уже недолго. Медленно проползает длинное, похожее на сарай здание, куб с водой, человек с флажком, и вдруг откуда-то сверху с грохотом валятся бидоны.

— Держись, спекулянты, ваша станция! — объявляет молодой кондуктор, проходя через вагон.— Мар-да-ров-ка!

Слесарь соскакивает с верхней полки и с узелком

[1] Юзежеде — юго-западные железные дороги.

проталкивается к выходу. Сережа бросается вслед за ним. Он ведь даже не успел его поблагодарить как следует. Однако у поезда толпится столько народу, что мальчик немедленно теряет своего спасителя из виду.

Сегодня воскресенье — на Мардаровке базарный день.

Легче всего найти подводу на Валегоцулово возле волости. Там в холодке всегда дремлет несколько человек, поджидающих почту. А то можно еще пойти на постоялку к Шмилику Певзнеру. Но, конечно, интереснее всего поискать знакомых на базаре.

Надо сказать все-таки, что для базарного дня на Мардаровке народу сегодня что-то очень мало.

Подле шарманщика со «счастьем» собралась небольшая толпа, да и то больше дети. А ведь сегодня «счастье» вынимает не общипанный попугай, а ученая розовая мышка.

Обычно за ней валом валит толпа, а сейчас пройдет человек мимо «счастья», остановится на минуту, а затем озабоченно сворачивает за церковь.

— Дядю, гопака, дядичку! — заказывают маленькие девчата.

В другое время шарманщик отогнал бы их подальше, но сейчас он покорно ставит гопака.

Царапающие ухо звуки понемногу становятся чище, а шарманщик, хитро оглядевшись по сторонам, подпевает на мотив гопака:

Гоп чуки-чуки-чуки,
Оккупанты — суки, суки...

В шапку его летят деньги, яблоки и пряники. Толпа вокруг густеет, но Сережа уже издали слышит густой звон бандуры и прибавляет шагу.

Бандурист поет песню, от которой останавливается сердце.

— «Ой Моро-го-гозэ, Морозе-г-э-энько, слав-ный ты ко-го-заче»,— выводит дед высоким плачущим голосом, и слезы быстро катятся по его темному лицу.

Рядом стоит хлопчик с шапкой.

— Плачуть? — строго поворачивая на него сивые бельма, спрашивает дед.

— Та ни,— говорит хлопчик с досадой.

— А слухають?

— Та, можно сказаты, що й нэ слухають...

— Чего ж воны нэ слухають? — в раздумье говорит старик, складывая на бандуре тяжелые руки.

Бандура вздыхает, как человек.

— Спытайтэ в ных! — еще злее говорит хлопчик.— Загралы б вы им за оккупантов, або що... Вон люди соби вжэ на пивкварты позаробляли!

Сережа останавливается. Когда-то это была самая любимая его песня — про казака Морозенко, которого родная мать послала на верную гибель. Но сейчас, хоть и жаль покинутого бандуриста, однако интересно узнать, куда это спешит народ.

— А что там, за Шмиликом, нет сегодня базара? — спрашивает он у спешащего туда же подростка с кнутом.

— Ни, тамочки щось друге... Скамьи понаставлялы... — кричит хлопчик, сворачивая за угол.

У Сережи ёкает сердце. Раз так — значит, сегодня будет джок[1].

На Мардаровке молдаван, конечно, меньше, чем в Валегоцулове или в Гандрабурах, но, судя по приготовлениям, это может быть только джок.

Как во сне, вспоминается один из бесчисленных маминых разъездов по волости, остановка за углом зеленой от луны хаты. Мама сходит напиться и вдруг возвращается с веселым взволнованным лицом.

— Сереженька, нам повезло: сейчас будет джок!

Девушки ногами отгребают с гармана[2] пыль к дороге. Ноги их по косточки бурые от виноградного сока. Все только что вернулись с работы от посессора[3], а там для продажного вина виноград давят просто ногами.

И парни и девушки — бледные и красивые от пьяного молодого вина.

— Пуфтым дульчеци[4],— с поклоном говорит темнобровая хозяйка и подносит маме на тарелке сушеные абрикосы.

Запивать нужно обязательно вином.

---

[1] Джок (молдав.) — танец.
[2] Гармáн (молдав.) — ток.
[3] Посéссор (польск.) — арендатор.
[4] Прошу сладостей (молдав.).

Несмотря на все мамины отговорки, хозяйка и Сереже наливает полную медную кружку.

— Пьется, как вода, а пьянеешь! — говорит мама и, беспомощно улыбаясь, делает несколько неверных шагов от подводы.

Все жужжит и кружится вокруг Сережи.

Девушки тут же за домом, слегка поплевав на косынки, вытирают пыль у рта и под глазами и мажут щеки красной бумажкой. Нарумяненные и набеленные, увешанные настоящими и поддельными дукатами, они становятся похожими на кукол. А главная их танцовщица убрана бумажными цветами, как плащаница в страстную пятницу.

Луна стоит низко за камышами ставка́[1], пахнет чернушкой и мятой. Старый скрипач, потрогав пальцем струны, кладет скрипку на плечо, склоняет голову и вдруг резко замахивается смычком. Девушки, покачиваясь, вылетают на середину круга.

Но тогда, вечером, было трудно все рассмотреть и к тому же сильно хотелось спать.

А сейчас, о, сейчас Сережа не пропустит ни одного танца и ни одной песни!

За весь июнь здесь совсем не было дождей. Серая земля вся пошла крупными трещинами, а колеи, высокие от пыли, выступали точно велосипедные шины. Если лечь ухом к земле, можно услышать, как где-то в глубине, потрескивая, рвутся пересохшие корешки.

Поэтому Сережа был очень удивлен, увидев, что Сарочка Певзнер настилает соломой огромную лужу у ворот постоялки. Откуда здесь было взяться воде? Колодец дальше — на площади. Сережа быстро пробежал пустой двор, и рыжая грязь разлеталась под его ногами.

— Сарочка, идем на джок! Господи, почему у вас такая грязь, а еще базарный день! — крикнул он.

Но Сарочка не вступила, как обычно, в пререкания. Она только схватилась руками за голову, а потом, как немая, показала что-то пальцами.

Что такое? Ничего не понимая, Сережа перемахнул через лужу.

---

[1] Ставо́к (укр.) — пруд.

Выскочив за ворота, он сразу очутился в огромной толпе.

Это, конечно, совсем не походило на джок. Не слышно было музыки, ладного топота ног, веселого присвистывания.

И это не была официальная сходка с чинно застывшими в передних рядах чисто одетыми мужиками и с весело напирающей сзади злой, неуважительной беднотой.

Кругом стояла тихая, внимательно прислушивающаяся, непонятная толпа. Пожалуй, больше всего это напоминало церковь.

Что-то самое главное происходило далеко впереди, а Сереже туда невозможно было пробраться.

Рядом с ним высокая, худая женщина, вытянувшись, следила за происходящим. Вдруг она тихонько ахнула и перекрестилась.

Почти тотчас же толпа чуть расступилась, и по узенькому проходу, шатаясь, прошла бледная, заплаканная молоденькая мардаровская учительница Галина Карповна.

Сережа, пропустив ее, продвинулся вперед к самому колодцу.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

„Auf die Tonne!"

Сначала Сереже показалось, что впереди идет какое-то представление. Вдоль соснового, прогибающегося под ногами нового помоста, на вынесенных из волостного правления скамьях и приставных стульях сидели люди, одетые по-городскому, а сзади толпился простой народ.

Сережа поискал знакомых и сначала не нашел; только потом он разглядел помещика Вильгельма Люца из соседней экономии, помещика Вильгельма Кунце и еще одного богатого немца-колониста, которого знал только в лицо. В первом ряду, обмахиваясь веером, сидела в

кресле полная барыня. Она здесь единственная была в шляпе. Перед ней лежала на боку небольшая винная бочка. Облокотившись о спинку кресла и поминутно склоняя заметный пробор, с барыней оживленно беседовал красивый немолодой немецкий офицер.

— Комендантша! — сказал кто-то за Сережиной спиной.

Похоже было на благотворительный базар.

Казалось, сейчас из рядов выйдет какой-нибудь франт, бросит пятирублевку — и барыня, улыбаясь, нацедит ему в кружку вина. Сережа видел такое на «Празднике молодого вина» в экономии Гвоздецких.

Перед комендантшей стоял, однако, не франт, а худой мужик с потным, усталым лицом. Тут же, подле немецкого офицера, вертелся сынок помещика Кунце, Артур,— мальчишка лет семнадцати. Артур что-то говорил мужику. Сережа прислушался.

— Ну что же, признаешь ты этот долг — четыреста два рубля шестьдесят копеек? — спросил Артур.

Мужик что-то сказал, и Артур немедленно развернул длинный лист.

— Вы разрешаете? — обратился он к комендантше, откашливаясь.

Срывая голос и, как плохой ученик, выделяя не те слова, что надо, Артур зачитал какой-то акт, из которого явствовало, что Федор Гаина недодал немецким оккупационным властям причитающиеся с него одиннадцать пудов ржи, шесть пудов кукурузы, шестьдесят аршин холста...

Мужик протестующе поднял руку, но Артур не обратил на это внимания.

Во втором акте значилось, что жена Федора Ганны, Домна, обругала и избила сборщика податей. Артур зачитал и заочно вынесенное постановление ананьевского суда о штрафе.

— Бороны боже! — вдруг закричал мужик.— Вона сла́ба, лежить уже пьятый месяц... Вона не би́ла...

— Пострадавший Козолуп! — повернулся Артур к толпе.

И оттуда вышел высокий, статный старик.

— Била,— сказал он с достоинством,— била и лаяла. Палкой била. И пинжак порвала, в одной сорочци бежал от нее по улице...

— Йии! В одной сорочци! Га? Ну, люды добрые! — отчаянно и возмущенно выкрикнул бабий голос из толпы.— Она лежить, як камень, аж пролежни...

Фразу не окончили. Что-то звякнуло, и тут только Сережа заметил, что в толпе вперемежку с мужиками и бабами стоят немецкие солдаты.

— «В возмещение долга у Федора Ганны,— читал дальше Артур Кунце по листу,— описано имущество: одна корова, одна телка, четыре овцы, свинья поросная — всего на двести одиннадцать рублей. Два сундука разных носильных вещей и ряден шерстяных на сорок один рубль...»

Среди баб громко ахнули. Опять что-то звякнуло — и опять толпа замолкла.

— «Всего с прежним долгом, со штрафом, с судебными издержками, со вторым штрафом и пеней с Федора Ганны причитается девятьсот двенадцать рублей. За вычетом сорока одного рубля за описанное имущество, сумма долга равняется семистам шестидесяти рублям шестидесяти копейкам».

— Можешь ты внести этот остаток суммы? — спросил Артур.

Мужик молчал.

— Auf die Tonne![1] — скомандовал немецкий офицер.

Эта коротенькая фраза облетела всю Украину. Ею вместе с безопасными бритвами и трикотажными купальными костюмами расплатились оккупационные власти за золотую тяжелую пшеницу, за донецкий антрацит, за криворожское железо.

Но Сережа еще не понимал ее значения. Вытянувшись на носках и глядя через плечи соседей, он ждал, что будет дальше.

А дальше взрослый, даже пожилой человек, путаясь дрожащими руками, спустил с себя штаны и наклонился над бочкой.

Немецкий солдат, тяжело занеся подбитый гвоздями ботинок, сел ему на шею. Второй оккупант вышел с шомполом в руках. Приготовления были вполне определенные, но Сережа все еще на что-то надеялся, не веря своим глазам.

---

[1] На бочку! (нем.)

— Ein, zwei, drei! [1] — начал офицер.

Взлетел шомпол. Опустился. Опять поднялся. Мужик вскрикнул, тоненько, как ребенок. Сережа, чувствуя тошноту, закрыл лицо руками. В толпе тихо заплакали.

— Elf, zwölf!.. [2] — считал офицер.— Wasser! [3] — сказал он негромко.

На потерявшего сознание мужика вылили ведро воды. Федор Гаина пришел в себя.

— Noch ein Mal! [4] — скомандовал офицер.

Мужик уже не кричал. Сережа видел, как подкидывало все его тело при каждом ударе и вместе с ним подпрыгивал сидящий у него на шее солдат.

— Fertig! [5] — сказал офицер.

Ужасаясь своей догадке, Сережа понял вдруг, откуда взялась грязь на дворе у Шмилика Певзнера. За бочкой была прорыта небольшая канавка. Огибая помост, она вела к самым воротам «постоялки». Сейчас по канавке катилась густая рыжая грязь.

— Следующий! — крикнул Артур Кунце.

Вначале, когда Сережа увидел подходящего к бочке мужика со спущенными штанами, ему стало стыдно. Сережа перевел глаза на толпу. Народ стоял безмолвно. Только что-то, чего Сережа не мог бы даже определить словом, как будто переходило с одного лица на другое. Он посмотрел на солдата у бочки. Оккупант, ощерив зубы, заносил шомпол, как топор. Сереже стало страшно.

Одежда давила его. Он расстегнул куртку, а под ней сорочку, но этого было мало. Шагнув к колодцу, он, чуть наклонив тяжелую бадью, окатил себе голову и грудь холодной водой. Задержавшись у пояса, вода вдруг горячо хлынула по ногам. Студеную воду и кипяток иной раз не различишь, и Сережа громко вскрикнул. После этого ему все вдруг стало безразлично. Вскарабкавшись на цементный обод колодца, он вытянулся во весь рост.

— Не смейте! — вдруг закричал он пронзительным голосом.— Перестаньте, не смейте их мучить! А-а-а-а!..

---

[1] Одни, два, три! (нем.)
[2] Одиннадцать, двенадцать!.. (нем.)
[3] Воды! (нем.)
[4] Еще раз! (нем.)
[5] Готов! (нем.)

Он кричал, потому что уже невмоготу было молчать. И вместе с тем он отдавал себе отчет в каждой фразе. Так как у Сережи сильно дрожала челюсть, он плохо выговаривал то или иное слово, и тогда он перекрикивал во второй и третий раз всю фразу:

— Негодяи, мерзавцы! Вы не имеете права!..

На помосте еще не расслышали его слов — в это время двое солдат за руки тащили сомлевшего мужика.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы кто-то не дернул мальчика за обе ноги. Сережина голова больно подпрыгнула на цементе, потом он задохнулся от тяжести навалившейся на него вонючей овчины.

— У ребенка падучая,— сказал над ним чей-то голос.— Дайте кто-нибудь, Христа ради, черную шаль або ковер!..

Сережа лежал еще у колодца, укрытый большим молдавским ковром, когда мимо, щеголевато цокая и выбивая искры из камней, проскакали немецкие кавалеристы. Расправившись с мардаровскими мужиками, карательный отряд направлялся дальше, в село Гандрабуры.

Раньше, когда у Сережи начиналось недомогание — озноб, ломота в руках и ногах, насморк, кашель, Нина Леонидовна укладывала его на один-два дня в постель, поила малиновым чаем или давала ему на кончике ножа аспирину. Недомогание называлось красивым итальянским словом «инфлюэнца».

Но теперь такими же признаками начиналась страшная новая болезнь — «испанка», испанский грипп, от которого, говорят, люди умирают сотнями.

Поэтому, когда Кульчицкой сообщили о Сережиной болезни, она почувствовала, будто сердце ее передернула холодная судорога.

С виду как будто бы ничего дурного не произошло. Нина Леонидовна помогла сойти с подводы низенькой толстушке — бабе Дарке Чухраихе, оббила ей со спины пыль, напоила чаем, объяснила, какой батюшка служит в церкви «у базарчика», а какой — «на участках», но сердце ее так и не оттаяло.

И, только уложив Чухраиху на своей постели, Нина Леонидовна села в уголок и долго тихо плакала.

Потом, чтобы свет не мешал гостье, она зажгла коп-

тилку-ночничок и собрала все необходимое — теплые вещи для Сережи, аспирин с хинином, термометр, клеенку для компрессов, свиное сало со скипидаром и, на всякий случай, бутылочку касторки.

Выехали рано, едва зеленое небо на востоке чуть пошло легкими розовыми пятнами.

«Не случилось ничего страшного,— уговаривала себя Нина Леонидовна,— просто небольшая простуда, желудок. В дороге и там, на Мардаровке, мальчик, вероятно, питался бог знает чем».

Но тотчас же перед ее глазами вставала покойницкая при валегоцуловской больнице и ряд маленьких ровных трупиков: по району к тому же гуляла дизентерия.

Кульчицкая стискивала зубы и стонала.

— Вы до мэнэ шось говóритэ? — спохватывалась со сна баба Чухраиха.

И Нина Леонидовна, отвечая первое, что придет в голову, продолжала думать свое, раскачиваясь все время, как от зубной боли. Иногда она нарочно заставляла себя сердиться на сына, точно с тем ничего дурного не произошло, а просто он сам натворил глупостей.

Но тут же, сцепив посиневшие руки, Кульчицкая ясно представляла себе все, что видел и перечувствовал Сережа. Она подробно знала уже о том, как он кричал; как какой-то чужой добрый человек сдернул его с колодца; как Сережу накрыли ковром и как он почему-то мокрый — может быть, его приводили в чувство — лежал на сырой земле. Пусть только он поправится, пусть все сойдет благополучно, она телом своим, жизнью своей постарается заслонить его от того, что творится в мире. Нельзя взваливать на детей всю правду!

Чем ближе к Мардаровке, тем труднее было сдерживать слезы. Кульчицкая то наклонялась, поправляя в ногах сено, то клала голову на колени, то вдруг, не останавливая уже слез, задыхаясь, представляла себе, как ее маленький мальчик лежит в темной, сырой Чухраихиной хате... Земляной пол, блохи, четыре дня в жару, в бреду, без врачебной помощи, без мамы.

— Ничего, пусть только все сойдет благополучно, ничего, все сойдет благополучно, не может не сойти благополучно!.. — твердила она, как заклинание, подставляя ветру мокрое от слез лицо.

На Мардаровке Сережу приютила баба Дарка Чухраиха, которая когда-то служила сторожихой в валегоцуловской школе. О том, чтобы немедленно отправить мальчика домой, нечего было и думать: в каждом дворе стоял плач и вой — оккупанты вот уже три дня силком забирали у хозяев лошадей.

Чухраиха напоила Сережу самогонкой с мятой и перцем, потом тяжело и тепло его укрыла, и, пропотев, мальчик проснулся слабый и весь какой-то светлый и легкий.

Это, пожалуй, было начало выздоровления, но баба Дарка на радостях накормила его пшенкой[1]. У Сережи тотчас же сильно поднялась температура, начался понос и рвота, а вечером — бред.

Баба Дарка и еще какие-то женщины попеременно дежурили у Сережиной кровати, меняя холодные повязки у него на лбу. Мальчик метался, стонал, а иногда начинал плакать.

— Не смейте! — кричал он, сбрасывая с себя кожух, и сидел, маленький, сильно похудевший, с заметно бьющимися двумя жилками на шее.

Баба Дарка, утирая украдкой слезы, снова укладывала Сережу на подушки.

— Пить! — бормотал мальчик.

Сережу донимали дурные сны.

Снилось ему, что к его голубям, то опускаясь, то поднимаясь, слетает чужак. Голубь сам белый как снег, клюв — алый, маленький, головка круглая, лётный — в крыле не меньше шестнадцати одних лётных перьев.

«Улю-лю-лю, гуленька, улю-лю-лю-лю»,— подсыпает ему Сережа кукурузы, а сам уже подпирает палкой корыто, а к палке привязывает веревку.

Чужак слетает и, крепко ставя коралловые ножки, ворча и покачиваясь, спешит к западне.

Вот он уже подле самого корыта. Сережа сильно дергает веревку, и вдруг оказывается (во сне было понятно почему), что эта же палка поддерживала все школьное здание. Дом дрожит. Сереже слышно, как в классе рядом валится что-то тяжелое, со звоном сверху донизу раскалывается стена, а его самого сзади хватают двое оккупантов, больно выворачивая руки.

---

[1] Пшёнка (укр.) — вареные молодые початки кукурузы.

Потом Сережа видит себя в гимназии на экзамене, но почему-то с ним рядом за одной партой сидит мама. Раздается звонок. Тр-ррах! Дверь распахивается. В класс входит бывший директор Владимир Владимирович, с орденом на шее, с ним еще несколько учителей, батюшка и классный наставник шестого класса «Дудочка».

Первой вызывают маму.

«Ну, расскажите по порядку... У вас как будто все благополучно в деревне?» — ласково спрашивает отец Алексей.

И Сережа ждет, что мама сейчас расскажет про «Auf die Tonne!», но она молчит и только вертит в руках носовой платок.

«Следующий!» — кричит батюшка.

И Сережу опять хватают двое солдат, больно выворачивая руки. Он просыпается, хочет подняться и, обессилевший, снова падает в подушки.

— Баба Дарка, пить! — шепчет он и, обливаясь, в два глотка опорожняет всю кружку.

...По серой дороге ветер катит курай[1], а пыль, как снег, больно сечет по щекам. Сережа чувствует приближение нового страшного сна...

— Пить! — шепчет он, облизывая пересохшие губы.

Ловко подведя руку под затылок, кто-то приподнимает с подушки его голову. К самым его губам подносят холодную кружку.

Легкая рука прохладно ложится ему на глаза, и он, всхлипывая, прижимается к шершавенькой ладони.

— Сереженька, что с тобой? — спрашивает встревоженный голос.

Почти тотчас же он отбрасывает мамину руку:

— «Auf die Tonne!» (Ни о чем другом он уже не сможет говорить.)

— Сереженька, это я, мама! — уговаривает нежный голос.— Открой глаза, посмотри на меня.

Слезы вдруг быстро-быстро начинают сбегать по его виску, затекая в ухо.

— А ты видела, как их бьют? Видела рыжую грязь?.. (Нет, ни о чем другом он говорить уже не сможет!)

---

[1] Кура́й (укр.) — перекати-поле.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Четвертый ящик комода

Сережа лежит лицом к стене и рассматривает обои: виноградная гроздь, два листа, пружинка усиков... Виноградная гроздь, два листа, усики... Гроздь и один лист — здесь рисунок обрывается, начинается другая полоса обоев. Но вот прищуришь глаза — и между контурами виноградных листьев явственно проступают коричневые руки с занесенными шашками. Это — фон обоев. Раньше Сережа и не замечал, что он складывается в такой рисунок. А сейчас можно даже не щуриться: светлый виноградный мир отступил куда-то далеко, и отовсюду лезут руки с занесенными шашками. Нужно уже какое-то особое усилие зрения, чтобы все видеть попрежнему.

Слабо взвизгивает дверь. Входит мама. Сережа закрывает глаза, но сквозь опущенные ресницы внимательно следит за нею.

Мама заботливо оправляет его одеяло, пододвигает поближе табурет, заменяющий ночной столик. Потом, постояв несколько минут над сыном, молча выходит. Она очень похудела и побледнела за последнюю неделю.

Сережа поворачивается к окну. Вот по двору шагает отец Виталий. Неужели к ним? Они с попадьей тоже присутствовали на «Auf die Tonne!», сидели с избранной публикой в первых рядах...

Нет — слава богу! — поп остановился у бочки с дождевой водой и завел разговор с дедом Дудником. Дед Дудник — школьный сторож, и он же, за приплату в три рубля, «исполняет обязанности» конюха у отца Виталия, а когда тому нужно разъезжать по району — то и кучера.

— Мама! — зовет Сережа и сам удивляется своему слабому голосу.

Нина Леонидовна обрадованно распахивает дверь.

— Что, дорогой? Дать тебе немного кисленького кваску? — и тут же меркнет, встретившись с сыном глазами.

— Мама,— говорит Сережа, глядя поверх ее плеча на руку с занесенной шашкой.— У меня в кармане... было одно письмо...

— Письмо... И двадцать пять рублей! — Мама старается говорить бодрым, веселым тоном.— Вот, милый, твое письмо! Я только переложила его в новый конверт... А чьи это деньги?

— Вади Шалыгина...

— Ой! — вскрикивает вдруг мама.— Молоко ушло! — и бросается к двери.

Из коридора тянет синим душным дымком подгоревшего молока. Там, на окне, снова, как когда-то, стоит примус: немцы завезли в Валегоцулово керосин.

Закончив разговор со сторожем, отец Виталий решительно сворачивает к черному школьному ходу.

Колокольчик у двери звякает еле слышно, но Сережа весь вздрагивает и поглубже засовывает Франино письмо под подушку.

— Одна капелька убежала, а угара сколько! — виновато говорит мама, снова появляясь в дверях.

— Ты тут без меня новые дружбы позаводила,— бормочет Сережа, глядя в окно.— Вон к тебе гость — отец Виталий!

Ему самому совестно за свою воркотню. Отец Виталий захаживал к учительнице и раньше по различным школьным делам. Однако Нина Леонидовна не протестует.

Сережа слышит, как мама открывает дверь, потом — как она шепчется с попом в коридоре. Потом голоса стихают. Мама, очевидно, завела отца Виталия в пустующий класс. Сережу одолевает дремота, но он то и дело с трудом приподнимает голову и прислушивается. Много времени спустя до него долетает густой бас: «Да что вы, что вы, Нина Леонидовна. Когда в доме больной, какие могут быть извинения». И опять — «бу-бу-бу-бу» — неразборчиво. И уже у самой двери: «Мой долг был вас предупредить!»

— Сереженька, как ты смотришь на то, что я растоплю нашу печурку? — спрашивает мама.— Тебе не будет жарко?

— Окно же открыто,— говорит Сережа сонно.

— Окно, к сожалению, мне тоже придется закрыть...

Комната учительницы — самая сырая и холодная во всем школьном здании. Жарко здесь не бывает никогда. Готовила же когда-то мама еду тут, в комнате, на печурке! И зимой, и летом... Только почему это вдруг ей понадобилось закрывать окно?

— Да не будет мне жарко... — говорит Сережа и отворачивается к стенке. Сейчас ему действительно хочется спать.

Затопив печку, Нина Леонидовна выдвигает нижний ящик комода. Обычно здесь хранятся всякие ненужные вещи: остатки кружева, лоскутки, старые, уже негодные елочные украшения, перчатка с отрезанным пальцем, продавленный четырехцветный мяч...

Но под всем этим хламом в четвертом ящике комода с марта месяца заперта и вся прошлая жизнь Кульчицкой. После первого предупреждения отца Введенского она постаралась упрятать здесь, в хламе, все, что не должно попадать оккупантам на глаза.

Вот в углу, аккуратно перевязанные ленточкой, письма. Господи, каких только марок здесь не было! Швейцарские, голландские, французские, бельгийские,— после первого ареста товарищи переправили Андрюшу за границу. И все эти марки Сережа поотклеивал для Вадиной коллекции.

А вот открытка — вид Боденского озера. А это глиняный якутский чайник, который справедливее было бы называть «спиртовником», потому что пьют из него исключительно спирт... Вот сетка от гнуса, фотографический снимок знаменитого пограничного столба на Урале с надписями с двух сторон: «Европа — Азия»... И опять — письма, письма, письма...

Сидя на полу перед комодом, Кульчицкая перебирает вещи, издающие легкий запах тления. А может быть, это просто пахнет плесенью — угол за комодом сырой.

Итак, отец Виталий сказал вполне определенно: «Немедленно же пересмотрите все бумаги и уничтожьте все, что может не понравиться оккупантам! Уже у ряда учителей были обыски. Арестован — неизвестно за что — помощник начальника александровского почтового отделения».

Отец Виталий рассказал историю, которая очень позабавила бы Кульчицкую, если бы не печальный ее конец. Третьего дня Аким Гаврилович, начальник валегоцуловской почты, верный раб и поклонник гетмана Скоропадского, попал в неприятное положение. Дежурный телеграфист заболел, Акиму Гавриловичу пришлось самому принимать телеграмму из Жеребкова.

Записывает механически и вдруг читает: «Товарищи рабочие и крестьяне!»

«Товарищи»! С Акимом Гавриловичем чуть удар не случился. Он тотчас принялся выстукивать: «У аппарата Покатило, кто на Жеребкове? Отвечайте, кто у аппарата!»

Какое там! Никто и не подумал отвечать! Аким Гаврилович немедленно доложил о происшедшем по начальству, и ночью в Жеребково полетел карательный отряд. Отец Виталий видел это собственными глазами...

Все, что нужно сжечь, Нина Леонидовна откладывает вправо; все, что остается,— влево. Разгрузив ящик, она добирается до старых, выцветших фотографий. Оглядываясь на спящего Сережу, она вытаскивает из-под хлама маленькую кедровую дощечку, которую ссыльным так и не разрешили прибить к кресту над Андрюшиной могилой.

«Спи, дорогой товарищ, мы будем бодрствовать за тебя!» — выжжено на золотистом дереве. Что могут понять немцы из этой надписи? И фотографии тоже, пожалуй, можно сохранить.

Нина Леонидовна веером, как карты, держит в руке выцветшие, желтые, малоотчетливые снимки: группа политкаторжан у огромной лиственницы, опять группа ссыльных поселенцев... А это — «Первое мая — по пояс в снегу». И опять те же лица над гробом харьковского товарища, Саши Попова.

Кульчицкая вдруг одним решительным движением соединяет обе кучки и поднимается на ноги. Все, все — и кедровую дощечку, и письма — все это необходимо сжечь; это честнее, чем прятать реликвии в тряпье и хламе четвертого ящика комода! «Правда, Андрюша?»

Собственно говоря, нужно было бы указать и отцу Виталию на дверь — это честнее, чем руководствоваться его советами... Но, с другой стороны...

На прошлой неделе попадья потихоньку шепнула Кульчицкой, что сына их перевели из ананьевской тюрьмы в балтскую, на днях будет суд. Отец Виталий весь осунулся, обвис как-то...

«Андрюша, милый Андрюша, если бы ты был со мной, ты подсказал бы, что мне нужно и чего не нужно делать!»

Нина Леонидовна открывает печь и быстро начинает швырять туда бумаги, карточки, книги, письма. Сюда же попадает безносая Фаша — Сережина первая кукла, и завернутая в шелковистую бумагу прядь белых детских волос. «Неважно!» Кульчицкая судорожно несколько раз чиркает сичкой.

Печь давно не топили, и пламя выбивается в комнату, Нина Леонидовна руками заталкивает его обратно. Потом она дует изо всех сил. К ногам ее из печки вываливается сложенная вчетверо бумага с тлеющей по краю черно-золотой бегущей каемкой. Кульчицкая давит огонь пальцами и, грустно улыбаясь, подносит бумагу к глазам. Это нужно сохранить — важный документ: «венчальная». А где же «похоронная»? А вот и «похоронная».

Перекрутил их сердитый, невыспавшийся тюремный поп. Иначе ей не разрешили бы «последовать на поселение за бессрочным каторжанином Андреем Петровым Кульчицким».

Сколько надежд было тогда, сколько планов строили они и как недолго удалось им побыть вместе!..

Нина Леонидовна кусает губы и кашляет.

В комнате душно, угарно. Кульчицкая долго и старательно разгребает кочергой золу и только после этого открывает окно, а затем распахивает дверь в коридор.

В двенадцать часов должен приехать доктор Борис Макарович. Сережа не любит доктора, как, впрочем, и многие в Валегоцулове. Борис Макарович может целыми часами ворчать себе что-то под нос. Сидишь и не знаешь: с тобой ли говорит или не с тобой, надо ему отвечать или не надо. А если он и обратится прямо к тебе, то как-то небрежно или сердито. Больше всего не переносит Сережа отвратительное прозвище «учителенок», которым Борис Макарович его наградил. А вот мама уверяет, что

доктор — чудесный человек. Правда, она знает Бориса Макаровича давно — он, кажется, лечил еще Сережиного папу.

Ровно в двенадцать во двор школы въезжает двуколка. Ого, доктор, оказывается, разбогател! Раньше он своих больных обходил пешком. К двуколке подбегает обрадованная мама.

— Ну что, выздоровел? — спрашивает доктор сердито.

— Нет, Борис Макарович,— виновато говорит мама.— Очень прошу вас, зайдите его выслушать,— и складывает руки, как на молитву.

Доктор сердито сбрасывает с двуколки сухонькие ножки в низких сапогах, сердито спрыгивает наземь и, схватив маленький чемодан, быстро идет к дому.

Сережа с интересом разглядывает в окно красивую золотистую докторову лошадку. Под самым подоконником проплывает папаха с красным верхом, сохранившаяся у доктора еще с военного времени. По пути Борис Макарович распахивает все двери, а если попадаются — то и окна. Мама робко следует за ним.

— Бестужевки![1] — слышит Сережа приближающееся ворчание.— Курсы кончали, а воздуху боятся!

Но доктор — в доме, от больного он уже не уйдет, и мама даже разрешает себе потихоньку фыркнуть.

— Испанка! Выдумали какую-то испанку! Обыкновенная инфлюэнца! — бормочет доктор, ворочая Сережу туда и сюда. — Вот вы бы на мою молдаванку посмотрели! У самой просто кишки вываливаются, а она рвется на работу: как же, оккупант рассердится, оккупант пошлет на «Auf die Топпе!».

Сережа, приподнявшись на локте, следит за Борисом Макаровичем заблестевшими глазами.

Выслушав сердце и легкие, осмотрев белки, язык, прощупав печень и ткнув Сережу в живот пальцем, Борис Макарович сердито складывает стетоскоп. Он бормочет что-то себе под нос о потерянном времени. Нина Леонидовна вздыхает с облегчением: ничего серьезного доктор не нашел, а его диагноз безупречен.

Вымыв руки, Борис Макарович зло сует ей полотенце.

---

[1] Бестýжевки — слушательницы Бестужевских курсов, первого высшего учебного заведения для женщин в царской России.

— Да, учителька, это вам не испанка: два смертных случая и четыре внутренних кровоизлияния — помрут не сегодня-завтра. А одиннадцать человек после порки подобрали штаны и пошли как ни в чем не бывало домой. Только Федька Праценко повесился в сарае... Да вы не моргайте мне, не моргайте, пусть учителенок слушает,— кроме пользы, как говорится, никакого вреда... А ты вставай, нечего залеживаться! — говорит доктор, а сам озабоченно следит за тем, как Сережа вылезает из постели и, сутулясь, шагает к столу.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

„Политика"

Борис Макарович остается у Кульчицких обедать. Наверно, мама действительно плохо выглядит, потому что даже доктор, внимательно поглядев на нее, вдруг говорит Сереже сердито:

— Возьму-ка я, кажется, тебя на денек-другой к нам в лес, а мать пускай отоспится хотя бы!

Помолчав, Борис Макарович кладет на локоть мальчика свою маленькую крепкую руку.

— Кричать, конечно, не имело никакого смысла,— бормочет он,— но я тебя понимаю: иной раз лучше закричать зря, чем промолчать зря...

По особому, недовольному и тревожному, выражению маминого лица Сережа понимает, что доктор говорит об «Auf die Топпе!». Только откуда он об этом узнал?

Сережа изо всех сил прижимает локтем руку доктора к столу.

— Не раздави, голубчик, я хирург как-никак, мне рука еще пригодится... — улыбается Борис Макарович. И весело поворачивается к Нине Леонидовне.— Ну как, отпу́стите на недельку со мной этого красавца?

В другое время Сережа запротестовал бы, но сейчас со стыдом ловит себя на мысли, что ему хочется уехать

с доктором... Даже еще страшнее: ему не хочется оставаться с мамой.

Все, что раньше ему так не нравилось в Борисе Макаровиче, сейчас внезапно обернулось к нему какой-то новой стороной. А глаза у доктора, оказывается, голубые и веселые.

«Учителенок»? Ну что ж, пускай он называет его учителенком.

Сочувственно улыбаясь, Сережа следит за тем, как доктор, все время ворча себе что-то под нос, крошит хлеб (а как Сереже досталось бы за это от мамы!), как в пылу разговора разбрызгивает ложкой суп по клеенке... Борис Макарович разговаривает с мамой, но нет-нет да прищурится на Сережу хитренько, но не сердито.

— Учителенок, а ты знаешь, почему это украинский народ так обожает своего гетмана, Павла Скоропадского? — спрашивает вдруг доктор. (Да, безусловно, сейчас даже это прозвище «учителенок» Сережу нисколько не сердит.) — Объяснить тебе?

— Объясните! — Сережа заранее улыбается. Не такой уж он дурак, чтобы поверить, будто народ обожает гетмана Скоропадского.

— Видишь ли, мало того, что Скоропадский — большой барин, свитский генерал... Ну, генерал, который был в свите бывшего царя — Николая Романова... Но он к тому же еще и богатый помещик и женат на дочери командующего оккупационной армией Эйхгорна. Как же народу его не обожать. Ведь он, гетман Скоропадский, не знает ни одного слова по-украински.

— Ну, слово «гетман» он все-таки знает,— скромно и лукаво вставляет Сережа.

— А тесть его, Эйхгорн, женат на мадам Дурново — самой богатой помещице на Украине... — Доктор даже привстает, чтобы подчеркнуть, какая важная особа мадам Дурново.

Нина Леонидовна шепчет что-то на ухо Борису Макаровичу, но тот сердито отмахивается.

— Ей-богу, Нина Леонидовна, вы как наш волостной писарь Гомонюк. Приезжает ко мне за нашатырем, а я говорю: «Нет нашатыря, весь вышел, когда пьяного оберста Зихеля приводили в чувство». А Гомонюк вдруг — руки по швам: «Попрошу при мне о политике не рассуж-

дать!» Какая же это политика? Надо же гимназисту пятого класса знать все родство и свойство своего обожаемого гетмана!

Но у мамы такое усталое и огорченное лицо, что Борис Макарович тут же переводит разговор на другое.

— А лошадку мою узнаёте? — спрашивает он весело.— На съезде в Ананьеве я пожаловался на трудности работы сельского врача. Не обратили внимания! А уже перед отъездом вдруг ночью я был вызван к его высокопревосходительству генералу Браухичу. Гнойный аппендицит. Операция прошла сносно — вот мне и подарок с барского плеча: разрешили использовать приблудившуюся лошадь для нужд больницы — раз! И два: разрешили увеличить штат больницы на одного сторожа и одну санитарку. Я оставил у себя Анну-Марию. Кстати, Анна-Мария была права: Динка — лошадка не обозная. Австрийцы, оказывается, реквизировали ее в экономии Гвоздецких... И еще одна хорошая новость: помните того матросика, который с вами из Одессы ехал? Анна-Мария его уже было в кулацкие жертвы записала. А ему, оказывается, удалось спастись — из горящей хаты Виртов в одном белье выскочил. Пересидел ночь в канаве. А потом Анна-Мария поселила его у каких-то своих друзей в Кохановке... До чего эти девушки влюбчивы — просто вообразить трудно!.. А в «замке» у меня, с разрешения начальства, уже настоящий госпиталь,— сообщает Борис Макарович.— «Инфекционное отделение валегоцуловской больницы!..» — Он сердито фыркает, предупреждая расспросы.— Еще одна немецкая жертва,— говорит он, мельком глянув в окно.

Сережа видит молоденькую мардаровскую учительницу, Галину Карповну.

— Ну ладно, ты, учителенок, походи немного по комнате, можешь во двор выйти, а завтра с утра отправимся.

Сережа благодарно улыбается.

— Инфекционное отделение? — с запозданием доходит до Нины Леонидовны.— Борис Макарович, голубчик, а как же вы думаете взять с собой Сережу?

— С больными мальчишка соприкасаться не будет! — возражает доктор сердито.— Ну, до завтра!.. — И резко дергает на себя дверь.— Женщина, кажется,

умная, чуткая... Бестужевка... А в жизни ничего, ну ничегошеньки не понимает! — бормочет он про себя.

Решено, что Сережа завтра дней на семь уедет с Борисом Макаровичем в «замок», а потом они с мамой отправятся в Одессу. Галину Карповну уволили со службы за то, что она «неподобающим образом вела себя на экзекуции, являющейся актом политического значения». Так написано у Галины в послужном списке. Маму тоже на следующую субботу вызывают в Ананьев, к инспектору. Известно, что из учителей еще четверо намечены к увольнению. Ну, в ту субботу они уже будут далеко!

Кульчицким повезло — отец Виталий отправляет деда Дудника в Одессу с продуктами: сейчас в городе высокие цены на муку и сало. Так вот поп великодушно разрешил Кульчицкой воспользоваться его подводой.

— Куда вы поедете! — вначале протестовала Галина.— Разыщут вас и в Одессе — уж в распорядительности оккупационных властей вы можете не сомневаться! А потом еще начнут допытываться, кто вы, да что вы, да почему именно сейчас оставили работу...

Однако сегодня Кульчицкая непреклонна.

— Галина, дружок, я не могу больше! Не могу, вы понимаете? — Нина Леонидовна почти кричит.— Не могу я им служить, выполнять все их дурацкие циркуляры! Знаю я, что делаю!

Когда речь идет о школьной работе, Нине Леонидовне нет нужды спрашивать у кого-нибудь совета.

— Вы видели новые школьные программы? — спрашивает она с возмущением.— Вводится обязательное изучение немецкого языка. В каждом классе по шесть раз в неделю! И это — в сельских школах! В национальном районе, где ни по-русски, ни по-украински толком писать не умеют!

— А обращение к учителям! — подхватывает Галина.— «Школа должна быть обращена в рассадник здорового тевтонского духа».

— Ой, до добра это не доведет! — покачивает головой Нина Леонидовна.— Нельзя топтать людей ногами!

Никогда раньше у мамы не бывало такого тона. Сережа слушает внимательно, боясь пропустить хотя бы слово.

— А потом этот ужас! — упавшим голосом добавляет

Нина Леонидовна.— Вы слышали: перед самыми окнами сычавской школы повесили двух комбедчиков — «в назидание юношеству»!

Мама с Галиной проплакали полночи, пили валерьянку, утешали одна другую. Наконец Галина заснула.

Ночь. В комнате пахнет валерьянкой. На маминой кровати, укутанная в мамину шаль, посапывает Галина Карповна. Мама осторожно ворочается на раскладушке. Она не спит, как и Сережа. Оба они стараются сдерживать дыхание, чтобы не выдать себя. А это ведь еще хуже: тогда обязательно хочется чихнуть или кашлянуть.

Сережа вздрагивает. Кот Порфиша сбросил с комода валерьянку. Теперь он, обнимая лапами пузырек, как пьяница, катается по полу, пытаясь вытащить зубами пробку.

— Брысь, Фишка! — тихонько шепчет Сережа и садится в подушках.

Кульчицкая осторожно отводит взгляд; ей даже в темноте видно, как сильно блестят глаза ее мальчика.

— Мамочка, можно к тебе? — вдруг говорит Сережа.

Прошлепав босыми ногами по полу, он, крепко уцепившись за ее шею, быстро и неловко целует ее в нос, щеки, губы...

— На доктора сердишься, а сама с Галиной все время о политике говоришь...

— Какая же это политика? — совсем как Борис Макарович, отвечает мама.

Сережа озадаченно замолкает.

Давно, еще при царской власти, у бабушки Елены Антоновны можно было услышать о политике. О том, что у вдовствующей императрицы эмалевое лицо и ей нельзя улыбаться. И что царь пьет запоем, как Захар Захарович из мардаровской школы. И что вдовствующая терпеть не может наследника-цесаревича и хочет на престол посадить своего любимца Михаила — с Михаила начался род Романовых и на Михаиле кончится. Самое интересное было то, что, если цесаревич уколет палец, он умрет, потому что ни один врач на свете не сможет остановить ему кровь [1].

---

[1] Алексей Романов страдал гемофилией — несвертываемостью крови.

Это похоже на сказку — спящая красавица, веретено, фея Мелюзина. Сережа уже видит высокие пыльные лопухи, достающие до крыши заколдованного дворца... Как хорошо! Может быть, сегодня ему уже не будет сниться «Auf die Tonne!».

— Пора, Сереженька, беги к себе. Нам вдвоем будет тесно,— нежно говорит мама, откидывая одеяло.— А завтра тебе нужно пораньше собираться к Борису Макаровичу...

Потом Кульчицкая еще долго лежит одна, улыбаясь в темноту.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Голуби

Сереже никогда и не думалось, что они так странно встретятся с Федькой Рубаном.

Не успел доктор остановить Динку перед въездом в «замок», как Сережа немедленно, минуя подножку, соскочил наземь и по вымощенной кирпичиками аллее бросился к застекленной террасе. Еще одна минута — и сердце его не выдержало бы, оно билось уже где-то в горле. Даже в ушах и глазах у Сережи что-то постукивало.

Под самой крышей красного докторского дома распахнулось, точно выстрелило, слуховое окошко, в него выглянула черная лохматая голова и тотчас же скрылась. Полетела замазка; в воздухе неподвижно повисло белое облачко потревоженной известки или пыли.

Только после того как доктор распряг и завел на конюшню Динку, Сережа робко осведомился о своем друге Феде Рубане.

— А он на чердаке, должно быть... Впрочем, точно тебе не скажу.

— На чердаке? — переспросил мальчик огорченно.

Теперь ему уже казалось, что в слуховое окошко вы-

глянул, безусловно, Рубан. Почему же, в таком случае, он не спустился?

— А что, на чердаке у него голуби? — спросил Сережа как можно небрежнее.

— Голуби? — Борис Макарович пожевал губами.— Голуби у него или скворцы — право, не знаю, но только он сейчас на чердаке. Там ведь и овес для Динки и вообще кое-что для хозяйства... Стой-ка, стой! — Доктор задержал своего гостя за пояс.— Дружок твой не любит, когда ему мешают. Да и дверь здесь заколочена — мы попадем в дом со двора...

Словом, занят ли был Федька по хозяйству или увлекся на чердаке голубями, но встретились они с Сережей только через час, за обедом.

Федя, как видно, только что умылся, на нем была новая розовая рубаха, от начищенных ботинок нестерпимо несло ваксой. Стоял Федя у стола вытянувшись, точно на карауле. Аккуратно подстриженные волосы его были зачесаны за уши. Только голову он опустил так, что одна мокрая прядь свисала на глаза. Сережа прислушался и быстро обвел комнату глазами: похоже было, что в стекло бьется большая муха.

— Положи-ка ложку, Федор,— сказал доктор тихо.

Только теперь Сережа обратил внимание на Федину руку. Она мелко, часто дрожала, и ложка, которую он сжимал в пальцах, тихонько позвякивала о миску.

— Да что же это вы? — сказал Борис Макарович укоризненно и подтолкнул мальчиков друг к другу.

В конце концов они все-таки разговорились. Сережа не мог не рассказать Феде историю с немецким офицером и барышней, из-за которой ему пришлось уехать из Одессы.

— А среди ребят, понимаешь, уже пошли разговоры, будто я у оккупанта шпайер утащил,— добавил он и смущенно захохотал.

— А на самом деле ты не утащил шпайер? — спросил Федя серьезно.

Сережа рассердился:

— Какой храбрый! Попробуй утащи! Хватит того, что я их на островок заманил!

Федя помолчал.

— А учились вы в этом году? — спросил он.

Похоже было, что Рубану неинтересно слушать ни про немца, ни про револьвер.

«А уж про занятия в гимназии — тем более,— решил Сережа про себя.— Ничего себе встреча друзей!»

Может быть, рассказать Федьке про «Auf die Tonne!»? Сереже что-то сдавило горло. Если Рубан и после этого задаст какой-нибудь глупый вопрос, больше разговаривать они не смогут. Нет, про «Auf die Tonne!» вспоминать не следует.

— А ты все еще с голубями возишься? — вместо этого спросил он насмешливо.— На чердаке торчишь? Борис Макарович сказал — там у тебя голуби или скворцы, не пойму... И на чердак ты, оказывается, никого не пускаешь?..

Федя перевел глаза на доктора.

— Нет, на чердаке голуби, а не скворцы. Скворцы разве на чердаке живут? — сказал он, не вдаваясь в объяснения.

И вдруг, обтерев губы рукой, обхватил Сережу за плечи, поцеловал его, отпустил и снова поцеловал. Рубан, оказывается, был сейчас выше Сережи на полголовы. А прошлым летом они мерились, и Сережа был с Федей почти одного роста. Но ничего страшного — он ведь и старше Сережи почти на два года.

К обеденному столу, кроме «лежачих», сошлись все обитатели «замка» — временные и постоянные: Борис Макарович, Федя, Анна-Мария, в белом халате и косынке,— настоящая сестра милосердия. С верхнего этажа спустились четверо выздоравливающих. Однако на инфекционных они походили мало: первого Сережа даже не рассмотрел как следует — до того он весь был обмотан бинтами. У второго рука была в лубке. Забинтована была рука и у третьего, похожего на цыгана. Четвертый появился в столовой, хватаясь за спинки стульев и передвигаясь вприпрыжку, на одной ноге.

— Осторожно — гипс! — в один голос крикнули Федя и Анна-Мария, кидаясь к больному. Поддерживая под локти, они довели парня до стола.

— Дед суп поел,— доложил Рубан,— а Паламарчук

божится, что есть не может... Рвет Паламарчука,— добавил Федя виновато.

— Это после наркоза... Ничего, отлежится! — И доктор, усаживаясь, с грохотом отодвинул стул.

— Борис Макарович, привезли... это? — спросил Рубан.

Доктор молча вскинул на него глаза.

— Ну, этого... для голубей... — повторил Федька смущенно.

Борис Макарович кивнул головой.

— Привезли? Вот здо́рово! Значит, погоняем сегодня голубей... Полезешь на крышу, Сережа? — спросил Рубан, весь просияв.

— Сколько раз я повторял: за столом ни о чем постороннем не болтать! — перебил его доктор недовольно.

С Сережей творились странные вещи, и он попытался поделиться с Рубаном своими сомнениями.

— Понимаешь... — говорил он, щурясь на солнце и сжимая в карманах кулаки.— Мне казалось, что сейчас все, все должно быть по-другому. А приезжаю сюда — у вас тут опять голуби. Конечно, это ерунда, ничего страшного... Или вот мама моя: «Хочешь кисленького кваску, Сереженька?» Какой может быть квасок!..

Сережа оглянулся. Они с Федькой карабкались вверх по скату крыши.

Ветер рвал из рук Рубана шест с белой тряпкой и сдувал вниз толстую сизую голубку. Очутившись в водосточном желобе и для вида поклевав там что-то, она снова спешила за мальчиками, отчаянно скрежеща коготками по железу и помогая себе короткими взмахами крыльев.

Сережа вдруг решился рассказать Рубану про «Auf die Toппe!».

— Понимаешь, как это страшно!.. Если бы меня высекли, я... Я не знаю что... А тут взрослый человек. У него, может, дети или внуки... И только потому, что он мужик...— Сережа смутился.— Ты представь себе, вдруг бы твоего отца... — Но тут Сережа вспомнил мамино письмо и смутился еще больше.

— Моего не били, а просто убили,— сказал Федя хрипло.— Подстрелили в лесу. Четыре пули в животе и одна в лопатке...

«Ага, а вот об этом мама небось не написала»,— вспомнил Сережа с каким-то недобрым чувством.

Мальчики добрались уже до конька крыши и, перекинув ноги, уселись на него верхом.

— И вдруг после всего — голуби. Не сердись, Федька, я против голубей ничего не имею. Но, понимаешь, как-то странно... Такое время, а доктор вот корм возит...

— Корм? — переспросил Рубан.

— Да и вообще... — Сережа пожал плечами.— Или вот мама моя со своим кваском...

— Что ты все «квасок» да «квасок»! — обозлился Федя.— Не может же она тебя отравой поить!.. Подержи-ка...

А Сережу всего уже тоненькой иголкой пронзила жалость к маме и раскаяние. Рубан с его голубями был бы в тысячу раз лучшим сыном, чем он.

Федя, передав товарищу шест, уже осторожно поднялся на ноги, качнулся вперед-назад, точно пробуя, крепко ли он держится, и, снова взяв шест, принялся описывать им круги над головой. На него даже смотреть было страшно. Хлопая крыльями, над крышей поднялась стайка голубей.

Опираясь на шест, Рубан стал пристально вглядываться в синевший за оврагом лесок.

— Отсюда на три версты все видать,— сказал он.— А ну, Сережка, давай теперь ты!

Крыша была горячая и пахла солнцем и пылью. У Сережи вдруг тошно засосало под ложечкой.

— Я, понимаешь ли, только вчера с постели... — пробормотал он виновато.

Рубан его не расслышал.

— Эге, видишь? — сказал он удовлетворенно.— В порядке!

У самого леса не то взвилась белая стая голубей, не то кто-то в ответ помахал Рубану тряпкой.

— Что там у них — твой голубь? Или ты ихнего чужака... — Сережа не докончил. Ноги его стали точно ватные, и он испуганно ухватился за Федин пояс.— Рубан, я вниз сползаю! — пробормотал он испуганно.

— Ладно,— сказал Федя, даже не оглянувшись.— А внизу там нехай поторопятся. Так и скажешь: «Федька велел поторопиться».

Сережа как во сне спускался по крутой чердачной лестнице,— ей, казалось, не будет конца.

Коридором он прошел, держась поближе к стене. Анна-Мария, столкнувшись с ним в дверях столовой, больно проехалась по его лицу каким-то свертком. Второй, объемистый, перевязанный веревкой пакет она держала под мышкой.

— Да, Марихен,— пробормотал Сережа,— Федька сказал, чтобы вы поторопились...

— Езус-Мария! И так торопимся! — отозвалась девушка недовольно.— А чего он еще на крыше торчит? Игрушечки себе нашел! — Анна-Мария с натугой попыталась перебросить второй пакет за спину.— Полезешь наверх — скажешь, нехай он папу римского с себя не строит...

Снова лезть наверх Сережа не собирался. Тошнота подступила уже к самому горлу.

— Что это с тобой? — вдруг закричала девушка испуганно.— Ну, куда это годится: мальчик на поправку приехал, а тот бешеный его по крышам таскает!

Фразу эту Сережа расслышал уже как будто сквозь воду. Когда нырнешь поглубже — вот точно так же доходят до тебя звуки: отчетливые, но какие-то ненастоящие. Не-пра-вдо-по-доб-ны-е... И все дальнейшее, что происходило с Сережей в этот день, запомнилось ему отчетливо, но неправдоподобно.

Анне-Марии удалось наконец перекинуть свой сверток через плечо. Но веревка, стягивавшая пакет, тут же лопнула, и, громко шлепнувшись на пол, по столовой разлетелись газеты.

— Куда тебе! — сказала Анна-Мария, когда Сережа кинулся было ей на помощь.— Иди ложись! Смотри — зеленый, как огурец!

Добравшись до дивана, Сережа забился в угол. Решил не ложиться: ляжешь, а потом еще не поднимешься.

— Но-о-о, Динка! — услышал он голос Анны-Марии уже за окном.— Поехали! — И потом издалека: — Может, еще вернусь с полдороги, там патрули кругом...

В столовую, очевидно, вошли: взвизгнула дверь,

заскрипели половицы, но Сереже трудно было даже повернуть голову.

Кто-то осторожно потянул его за ноги, потом расстегнул ворот рубашки. Мальчику сразу стало хорошо. Теперь он лежал, удобно вытянувшись. Ноющий затылок приятно холодила клеенка диванной подушки.

— Небольшой солнечный удар,— сказал над ним голос Бориса Макаровича.— Так, находишь, сходство большое?

— Большое... Одно лицо...

— Не знаю... А по-моему, вылитая мать.— Голос доктора прозвучал как будто обиженно.— Сегодня жара около сорока, а тот герой на крышу его потащил...

— Борис Макарович,— произнес Сережа медленно, не открывая глаз,— это не голуби... Если мне не доверяют, не нужно было меня брать в «замок»! Почему у Анны-Марии газеты?

Над ним помолчали. Потом сквозь звон в ушах Сережа расслышал:

— Эх ты, учителенок, ерунда это все: доверяют, не доверяют... Ты приехал сюда поправляться — вот и поправляйся! Слышал ты когда-нибудь такое слово — «конспирация»?

Может быть, слово такое Сережа и слыхал, но не понимал, что оно означает. А сейчас вдруг понял.

— Пускай меня даже пытали бы, я все равно ничего бы не сказал!

Конечно, сюда примешался и бред, но разговор этот запомнился Сереже так:

«Мало ли как человек может проговориться... В бреду, во сне... — сказал Борис Макарович.— Мы вот и получаса не стоим над тобой, а уже узнали кое-какие твои секреты... Кто такая эта Наташа Панченко?»

Сердце Сережи как будто выговорило: «Ах-ах, ох, ах-ах!» У мальчика перехватило горло.

В сером небе медленно шло большое черное солнце, а под ним вспыхивали раскаленные угольки голубей... «Конспирация»... А он, Сережа, еще читал наставления Федьке Рубану:

«Но вы доверяете мне? То есть когда-нибудь вы будете мне доверять?»

«Доверяем и будем доверять».
«А ты, Наташа, мне доверяешь?»
«Доверяю. Только больше я тебя не поцелую...»
«Наташенька, один последний раз!»
«Закройте ставни: пускай мальчик поспит немного».

На следующее утро Сережа проснулся совершенно здоровым. А еще через три дня Борис Макарович даже решился взять его с собой в Майново. Доктора вызвали к дочери управляющего из экономии Гвоздецких: девочку ужалила гадюка.

Сережа решил отвезти наконец Фране это злосчастное письмо, а если Франи нет в Майнове, то хотя бы разузнать у Марфы — ее золовки: пишет ли и что именно пишет Франя?

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Евдоким Рожков

— Видишь: точная копия своей тети Франи! — Выходя из хаты, Борис Макарович с силой потянул девочку за руку через порог.

Та споткнулась и, потирая нога об ногу, остановилась, растерянно глядя на Сережу из-под длинных тонких бровей. Она действительно была очень похожа на Франю.

«Вот про нее сразу можно сказать, что она красивая»,— подумал Сережа. Определить, какая Наташа Панченко, было гораздо труднее.

— Это Домочка, ученица валегоцуловской школы! — представил девочку доктор.— А это Сережа, хороший приятель твоей тети Франи. Гимназист пятого класса. А ты, Домна Павловна, в какой перешла?

— А меня мама забрали со школы,— сказала девочка тихо.

Доктор и Сережа понимающе переглянулись.

— Мама и ее брат Юрко, оказывается, работают сейчас в экономии Гвоздецких,— продолжал Борис Макарович.— Мне сейчас как раз туда надо. А Домна Павловна караулит огород.

— Кыш! — страшным голосом закричала девочка и швырнула в петуха огурцом.

— Так вот, Сергей, ты посиди с молодой хозяйкой. Я ненадолго. Надо нам до жары поспеть домой,— предупредил доктор.— Постараюсь, конечно, повидать в экономии Марфу и Юрко и обо всем их расспрошу. Письмо свое еще не потерял?

Сережа был благодарен Борису Макаровичу за то, что он хотя бы при Домочке не называет его «учителенком». Письмо Сережа не потерял — вот оно за пазухой; правда, захватанное грязными пальцами и как будто распухшее. Зря, оказывается, он его брал в Майново: Домочка рассказала доктору, что тетя Франя приезжала к ним, гостила две недели, а потом в деревню пришло какое-то известие про Паву — и Франя опять подалась в Одессу.

— Тамарку управляющего гадюка укусила в малиннике... Мы говорим ей: «Не ходи, малины еще нету». А она нахальная такая: «Для вас нету, а для меня есть!» И только зашла в кусты — уже слышим: кричит как сумасшедшая... Доктор будет ей ногу каленым железом припекать... — Все это Домочка говорила с явной целью развлечь навязанного ей гостя.

Сережа не знал, как лечат змеиные укусы, поэтому он не то утвердительно, не то с сомнением хмыкнул.

— А чья это хата сгорела? — на всякий случай перевел он разговор на другое.

Домочка помолчала.

— Не сгорела... Это оккупанты пожгли...

— С людьми? — испуганно спросил Сережа. После «Auf die Tonne!» он всего ожидал от оккупантов.

— Нет, люди еще раньше в партизаны ушли. В лес...

— А эти тоже в партизаны ушли? — Сережа показал через дорогу на большую хату под железной крышей. Окна ее крест-накрест были заколочены досками.

Домочка удивленно подняла брови и даже чуть улыбнулась.

— Это же Борзенчихи хата... Продается... А заколотили окна, чтобы люди стекла не повыбивали. Пастухи, когда гонят череду[1], всякий раз камни кидают... А Борзенки ушли на тот конец села — от лесу подальше — партизан боятся.— Домочка наконец по-настоящему улыбнулась и стала еще больше походить на Франю.— Тетка Борзенчиха даже лается на нашу маму: «Ты гадюка, партизанка проклятая!»

— А что, папа твой партизан? — тихо, с уважением спросил Сережа.

— Почему — папа? Это она на маму говорит. Папа наш убитый на войне уже другой год.

Сережа смотрел на Домочку до тех пор, пока девочка не рассердилась.

— И чего ты в пыли гребешься, как курица! — крикнула она с сердцем.— Вон какие ямы повыворачивал! Мама, как придут, зададут тебе! — Домочка с тревогой огляделась по сторонам.

Сережа, вертясь на одном каблуке, действительно выдавил в земле небольшую ямку и тотчас же виновато принялся ее заравнивать. Однако Домочку, как видно, беспокоило другое.

— Это Борзенчиха так нашу маму обзывает: «партизанка». А мама наша и не партизанка даже. Они с Юрком как уйдут в пять часов утра, так до ночи у Гвоздецких и работают. А другой раз за ними приказчик еще до света посылает... Ты слышишь, что я тебе говорю?

Сережа слышал ее отлично. Даже больше: за густыми блестящими ресницами девочки он как будто разглядел слезы.

— Ну конечно,— сказал он, чтобы ее успокоить,— если человек с утра до ночи работает на помещика, какой из него может быть партизан!

— Так это Борзенчиха все выдумывает... Она еще и не такое может наговорить...

Потом Домочка угостила Сережу печеной картошкой. Потом она показала, как пальцами ноги можно поднимать с земли камешки. Потом Сережа потребовал у Домочки иголку с ниткой и показал ей фокус. Он трижды

---

[1] Череда́ (укр.) — стадо.

прокалывал язык и продергивал сквозь язык нитку, и Домочка трижды ахала и всплескивала руками. Но под конец Сережа объяснил, в чем дело: язык он совсем не прокалывает и нитку не продергивает. Просто нужно завязать на нитке узелок побольше, оторвать и положить сверху на язык. Потом за нижние зубы зацепить нитку так, чтобы казалось, что она свисает с языка. За эту нитку надо дергать и заодно высовывать язык. Объяснить на словах этот фокус трудно, поэтому Сережа показал Домочке его в четвертый раз, не скрывая всех своих хитростей.

Потом они оба ходили за теленком к ставку́. Потом приехал Борис Макарович. Оказывается, дочку управляющего, не дождавшись доктора, отправили в Ананьев, в больницу.

Потом Борис Макарович усадил Домочку между собой и Сережей на двуколку.

— Проводишь нас до первого лесочка. Мама велела тебе сучьев насобирать... Жалела очень Марфа, что не повидала сына Нины Леонидовны.

Только теперь Домочка поняла, что ей выпала честь принимать сына учительницы.

— Я сойду,— сказала она испуганно.— А то оны на само́м колесе сидят!

— Доедешь до лесочка и сойдешь,— фыркнул доктор,— а «им» на колесе еще интереснее ехать.

Однако сойти с бидарки Домочке суждено было гораздо раньше, чем все доехали до первого леса.

На повороте к двенадцатой делянке доктор вдруг сказал:

— У кого глаза хорошие? Гляньте-ка, кто это идет?

— Анна-Мария,— определил Сережа, приглядевшись.— А с ней солдат.

— Оккупант! — пробормотала Домочка испуганно и тут же очутилась на земле.— Тут тоже сучьев богато,— крикнула она вдогонку бидарке,— солдаты возили, порастеряли!

Анна-Мария была почти одного роста со своим спутником. Переплетя пальцы рук, они шагали по дороге, оба высокие, статные, светловолосые.

Передразнивая их, тоже сцепившись пальцами, за ними по пыли карабкались коротконогие, коротошеие тени: солнце стояло уже над самой головой.

Для доктора в этой встрече не было, оказывается, никакой неожиданности. Сережа понял это из разговора Бориса Макаровича с Динкой.

Колеса бидарки так глубоко увязали в песке, что лошадка с натугой выворачивала их из колеи. Сережа видел, как все темнела и темнела от пота и залохмачивалась ее золотистая спина. Динка уже несколько раз недовольно оглядывалась.

— Ничего, ничего, потерпи, вот только догоним эту парочку. А там уже спуск — тебе легче будет,— бормотал доктор виновато.

Не раз уже Сережа замечал, что Борис Макарович с лошадьми, собаками и даже птицами разговаривает, как с людьми.

Песок заглушал шум колес. Копыта Динки ступали точно по вате, и Анна-Мария испуганно вскрикнула, когда почти над самым ее плечом нависла Динкина морда.

— Хорошо, что я тебя догнал,— сказал доктор,— садись, подвезу. У нас сегодня в «инфекционном» будет трудный день... — И откинул запасную скамейку бидарки.

Сережу забавляло поведение теней. Точно испугавшись окрика доктора, они вдруг слились в одну четвероногую фигуру, и она кинулась в сторону, отчаянно перебирая ногами, пока наконец не разделилась на двух коротеньких человечков. Даже на тени было заметно, как неохотно оторвалась рука девушки от руки ее спутника. Он повернулся и приветливо кивнул головой. Это был тот самый матрос, который ехал на одной подводе с мамой и Анной-Марией. Только сейчас он был в немецкой военной форме. Матрос тоже, как видно, узнал Сережу.

Доктор спрыгнул на дорогу и, сильно постукивая своими сапожками о землю, сделал несколько шагов.

— Ноги затекают!.. — пожаловался он. Потом ласково похлопал «немца» по рукаву — до плеча его Борис Макарович дотянуться не мог.— А ну, покажись-ка... Пояс на месте... Пуговицы начищены... Молодцом!

— Ну, матросы — они одеваться понимают! — широко улыбаясь, сказал спутник Анны-Марии.— Вот только обмотки эти ерундовские... В сапоги сунул ноги — и готово... А с обмотками на час работы!

— Хороший получился немец, а, Борис Макарович? — спросила Анна-Мария.

— Хороший,— отозвался доктор.— Да и глаза у него такие, знаешь, с неметчинкой... Голубые очень. У наших поспокойнее — серые, серо-голубые... Слушай, друг, а что, если они к тебе по-немецки обратятся?

— А они разве с солдатом разговаривают? — беззаботно отмахнулся матрос.— Солдат что у них должен знать: «Яволь» — и точка! «Яволь» — это по-ихнему «слушаюсь». Но вы не думайте, я тоже поговорить могу: Вас ист дас? Тинтенфас! — И он весело подмигнул Сереже.

— Да не верьте вы ему! — сердито вмешалась Анна-Мария.— Он хоть сам саратовский, но как ушел в девятом году к немцам-колонистам на Волгу, так до самой морской службы у них и проболтался. Лучше моего по-немецки говорит. Немножко по-другому, чем у нас, но в Германии солдаты тоже ведь не из одного места. А бумаги мы ему хорошие выправили! Покажи документ, Кима!

«Кима» протянул доктору солдатский отпускной билет с карточкой и большой зеленой печатью.

— Батька у меня верно, саратовский... Черный как жук,— заметил он улыбаясь.— Так что насчет глаз — это вы уж к моей мамаше обращайтесь, почему у них так получилось...

— Ну, едешь, Анна-Мария? — спросил Борис Макарович, пожевав губами.— Тогда садись! Но-о-о, Динка!

Сережа понял, что доктор чем-то недоволен.

— Ну, бывай здоров, матрос! — крикнул Борис Макарович, уже карабкаясь на бидарку.

— Тсс! Ну как же так можно? — «Немец» огляделся по сторонам.

— Да никого тут на десять верст не встретишь,— успокоила Анна-Мария.— Я каждый день езжу. Плохой дорогой не повела бы...

— Значит, придешь завтра, Марихен? — жадно и нежно спросил ее спутник, низко наклоняясь к ней.— Ишь белобрысая какая, а серчает, как брунетка... — И еще нежнее: — Не могу я без тебя... Ну что ты со мной делаешь? Когда уже ты меня к себе позовешь?

— Там видно будет,— ответила Анна-Мария неопределенно.

— Что ж, парень бравый,— сказал доктор много времени спустя, когда дорога уже свернула к «замку».— Понравился тебе этот «немец», Сережа?

— А я его еще в Одессе видел — у Майбаха... Он с мамой и Марихен на подводе Гетекемерши ехал. Я сразу же его узнал.

— Вот это-то и плохо,— проворчал доктор.— Боюсь, трудно ему будет к Одессе пробираться. Пусть даже он отлично язык знает, но есть же какие-то специальные военные термины... Попадется!.. Слушай, а не взять ли его к нам, в «инфекционное», а? Барышня, как считаешь, можно положиться на твоего кавалера?

Анна-Мария, пригорюнившись, молчала.

— Ну, чего скисла?

— Несамостоятельный он очень, Борис Макарович!.. — Девушка, протянув руку вперед, нашарила вдруг Сережины пальцы.

— С чего это ты вдруг: «несамостоятельный»? — Доктор круто повернулся к Анне-Марии.— Привыкли почему-то так о матросах думать: они, мол, сегодня здесь, а завтра там. А из них очень хорошие мужья получаются... Или, может, у него другая барышня завелась, а?

— Барышню его в восстание кулаки убили... — Анна-Мария, закусив зубами угол косынки, сердито смотрела вперед на дорогу.— Полгода еще не прошло, а он уже мне в любви объясняется. И все как-то не по-серьезному у него выходит. Все шуточками да смехом...

— А в душу к тебе влез все-таки?

Анна-Мария помолчала. Потом, вздохнув, начала тихо:

— Вот сказали бы мне сейчас: «Иди заслони его от смерти», и я, Борис Макарович, ей-богу, пошла бы. Или

работу самую тяжелую за него сделала бы. Или на край света с ним уехала бы. Но вот серьезное что — никогда бы ему не доверила!

Доктор сердито фыркнул:

— А это не серьезное: на край света с человеком уехать?

— Стыдно сказать... — Девушка говорила медленно, точно припоминая что-то.— Сегодня сидим мы с ним за сараем на горбочке, а он как хлопнет рукой по земле: «Эх, знал бы я, где штаб партизанский или вообще из партизан кто — подался бы к ним! Не большой интерес в такое время по канавам прятаться!» Это он, Кима, мне говорит. А у меня, верите, язык не поворачивается ответить: «Иди к нам, направим куда надо».

Доктор быстро оглянулся на Сережу, но промолчал.

— Вместо этого еще поддразнила его,— щурясь, добавила Анна-Мария.— «Маленький какой, говорю, за ручку его веди! Люди, когда захотят, находят! А запишешься в партизаны — меня к себе перетаскивай». Ну что это за любовь, Борис Макарович, когда веры нет!

— «Веры нет»! — передразнил доктор.— Конспираторша! К себе приглашать его боишься, а к нему каждый день бегаешь. Документы фальшивые вот раздобыла же ему...

Анна-Мария пренебрежительно махнула рукой:

— Таких документов я вам десяток достану. За полкварты... за сапоги...

— Сапогами ты, барышня, очень не раскидывайся... И не в документах дело. Ты что же думаешь, что твой Евдоким Рожков не понимает, кто ты такая? Чего это ради ты выручаешь его?

— Люблю — и выручаю,— сказала девушка с отчаянием. (Сережа, казалось, на затылке чувствовал взгляд ее воспаленных, заплаканных глаз.) — А Рожков мой так считает: работаю санитаркой в больнице, значит, могу спирту накрасть сколько угодно... Ой, ничего он, Борис Макарович, не понимает, что на свете творится! Офицеров своих они на «Памяти Меркурия» каких расстреляли, каких потопили, каких на свою сторону поперетаскивали. Старый режим Рожкову моему вправду осточертел, но вот нового он не понимает. Сегодня ему в партизаны

охота... А завтра в банду какую-нибудь уйдет... Шатающий!

— Ты только не перемудри, Марихен,— сказал доктор серьезно.— Парень ладный, красивый, видать по всему — умный... И не думается мне, чтобы он был легкомысленным. Вот он смеется все — трудно, конечно, человека разглядеть. А ты фотографию его внимательно рассмотрела? Рот сжал так, что и ножом не откроешь. Подбородок один чего стоит... А брови! Сильной воли человек! А что шутит он, то это, скорее всего, потому, что ему плакать хочется. «Шатающий»! — Доктор громко фыркнул.— Из таких шатающихся мы целые полки сколачивали. Такие, как твой, не сразу большевиками становятся... Ой, долго еще ему нужно будет все объяснять да втолковывать... И не придирайся ты к нему очень.— Доктор, обернувшись, ласково глянул на девушку.— Проверь его один раз, другой... Мы тоже можем ему небольшое дело поручить. Посмотрим, как он справится... А без доверия, голубчик, конечно, никакой любви не может быть!

— Ох, не знаю я, что у нас получится! — И Анна-Мария длинно и прерывисто вздохнула, как наплакавшийся ребенок.— Хорошо, что хоть уедет скоро... С моей души.

Выбрались на мощеное шоссе.

Разговор на бидарке шел невеселый, но Сережа, зажмурившись от сверкающего на солнце булыжника, улыбался про себя.

Завтра он возвращается к маме в Валегоцулово. Послезавтра они выезжают в Одессу. Через четыре дня он увидит Наташу Панченко... Но это еще не все. Доктор подтвердил, что оккупанты, как правило, сжигают хаты хозяев, заподозренных в содействии партизанам.

Так вот, когда они ехали длинной, нескончаемой улицей Майнова, Сережа подсчитал, что из тридцати хат сожжено одиннадцать. И это ведь только на одной улице!

— Тут оккупантам — беда, лес рядом! — сказал доктор и вдруг улыбнулся.

В том, что хаты сожжены и столько людей осталось без крова, не было ничего веселого, однако Сережа тоже улыбнулся на слова доктора.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Конспирация

Сережа очень любит путешествовать на лошадях. В особенности нравится ему второй день пути.

В первый — тело еще томится от тряской телеги, с непривычки болят бока, степь еще не цветет дикими незнакомыми цветами. Еще чувствуется близость людей, чернеют плешины озими, в овсе оглоблями кверху стоит воз, под ним копошится детвора.

А чем дальше, тем становится безлюднее. Ветер приносит горьковатый медовый запах гречихи. От такого ветра губы тотчас же черствеют, как черствеет самый свежий хлеб, намазанный медом. Дорога забирает вверх и поднимается все выше и выше. Воздух — все чище. Внизу, за голубым заливом травы, далеко вправо белеют домики. Можно представить себе, что это Одесский залив, а то — Старая Дофиновка.

На одном из бесчисленных поворотов дед Дудник оглядывается и виновато крякает. Нина Леонидовна тотчас же беспрекословно слезает с подводы — лошадям тяжело тащить в гору.

— Сережа пусть останется — он больной! — говорит мама.

— Нехай остается, що в ём весу! — соглашается дед.

Идя рядом с лошадьми, подводчик все время их в чем-то убеждает.

— О-от, дурный Дьяк! — почти на каждом шагу слышит Сережа над самой своей головой.— Да ты що — пырея не бачив? Га? Ку-у-да?.. Ото ж, скотина, просты господы!

Дедушка говорит сердито, но Сережа понимает, что это — одно притворство: Дьяк — его баловень и любимец.

— Ку-уда, малахольна! — кричит вдруг дед Дудник.

Подводу сильно дергает назад, потом в сторону. Это

дед уже по-настоящему сердится на Красуню — высокую белую кобылу. Красуню он почему-то недолюбливает.

Перед спуском дед гальмует задние колеса. Гальмовать — значит тормозить. Задние колеса наглухо привязывают цепью, чтобы они не вертелись на оси,— при спуске это замедляет ход повозки. Сережа знает, что спускаться будут не напрямик, а делая зигзаги от одного края дороги к другому. Эта сторона будет еще круче той, что проехали.

Тут дед Дудник тоже не садится, а до самого конца шоссе ведет лошадей под уздцы.

Солнце заходит за тучи и быстро падает книзу. Вдруг обнаруживается, что оно белое и маленькое, как луна. Только вверх бьют два широких луча. Сильно пахнет цветами.

Чем ближе к Одессе, тем чаще встречаются подводы. Сережа с интересом разглядывает красивых горбоносых болгар в красных поясах — проезжают болгарский район: Кубанку, Буялык...

— Сережа, ложись, я тебе мягенько постелила,— говорит мама.

Сереже совсем не хочется спать. Он ложится и смотрит в яркое голубое небо, в котором тают остатки облаков. Но голубизна эта тоже неровная — в ней проступают дороги, озера, реки и острова. Потом мальчика внезапно одолевает дремота...

Мысли путаются; повозка мягко катится в пыли.

Спит Сережа часа два, но ему кажется, что он только что закрыл глаза, а Нина Леонидовна уже трогает его за плечо:

— Проснись, сейчас будет море!

Мальчик никогда не простил бы себе, если бы проспал эту встречу. Он тотчас усаживается рядом с мамой.

Дорога сворачивает к Малому Буялыку. Слева, поднимаясь и опускаясь, все время ныряют обрывы, справа плывет степь. Издали видно, как вéрхом над дорогой бежит густая рыжая пыль — кто-то едет.

Сережа точно знает, когда покажется море. И все-таки за последним поворотом он невольно вздрагивает. Расступившееся широко по горизонту, оно лежит внизу гладкое — розовое и голубое. Море такое красивое и нежное, что у Сережи каждый раз, когда он его видит,

захватывает дух. Да и мама как будто сейчас в таком же состоянии...

— Это просто наваждение какое-то,— говорит она, закрывает глаза и не скоро открывает их снова.

— И это все время будет такая вот пыль? — спрашивает Сережа.

— Аж до Пересыпу,— весело отзывается дед Дудник.

Кульчицкие дремлют, прислонясь друг к другу. Вдруг кони, захрапев, останавливаются.

— Тю, скажена! — говорит дед Дудник.— Цэ вжэ така кобыла скажена: жабу на дорози побачит и стане, як стовп! — Он, кряхтя, слезает с подводы.

Однако Красуня сейчас, оказывается, ни при чем. Мимо вихрем проносится табунок рыжих одномастных лошадей с подстриженными хвостами и гривами. Гонят его четверо немцев верхами.

Сережа разглядывает того, что скачет позади. Солдат в расстегнутом мундире, без пояса, бос, а ботинки он почему-то держит под мышкой. К Сережиному удивлению, перед тем как скрыться за поворотом, немец, отчаянно гикнув, лукаво моргает Сереже глазом.

— От пропаща людына! — бормочет дед Дудник ему вслед и крутит головой.— Бачили вы того германа?

— Да, а в чем дело? — спрашивает Сережа с любопытством.

— Слухай-но... — опасливо оглянувшись по сторонам, таинственно начинает дед.

Однако объяснение его Сереже выслушать так и не удается, потому что дальнозоркий старик, разглядев впереди на дороге кучку людей, принимается шарить у себя за пазухой.

— Патруль немецкий! — бормочет он.— Вот беда еще, господы милосливый! Чисто всю муку и сало позабирають! Готуйте документы!

Через несколько минут и Кульчицкие уже различают на дороге группу немцев, кружком стоящих под чахлой акацией подле полуодетого солдата. Солдат перематывает на ноге бурый от крови бинт. Немцы отчаянно жестикулируют и переговариваются о чем-то по-своему.

Один из них, с какими-то нашивками на рукаве, очевидно ихний унтер, решительно направляется к подводе.

— Куда эздишь,— спрашивает он, хватая лошадей под уздцы.

— Да куда же — до Одеста! — хмуро отвечает дед, показывая кнутом вперед.

— Эздишь Дофиновка!

— Да на что мне Дофиновка! Там песок сильный! — говорит дед.

— Тпрр! — кричит немец и, повернувшись к своим, коротко отдает какое-то приказание.

К нему подводят прихрамывающего полуодетого солдата и подсаживают в подводу. Унтер пристраивается рядом с дедом Дудником.

— Вьо, впирод! Дофиновка! Вьо! — кричит он.

— Да скажить вы ему що-нэбудь, Нина Леонидовна! Там же песок сильный, кони не вытягнут! — умоляюще говорит дед.

Однако Кульчицкая совсем не намерена демонстрировать перед оккупантами свои познания в немецком языке. Она украдкой прислушивается к коротеньким фразам, которыми перебрасываются унтер с солдатом.

— Езжай, дедушка,— замечает она миролюбиво.— Унтер говорит, что нужно отвезти раненого в Дофиновку, в больницу. Крюк-то совсем небольшой.

Дед сердито дергает вожжи, и подвода в облаке пыли сворачивает к Дофиновке.

Нина Леонидовна не совсем точно перевела слова унтера. Немец сказал, что нужно доставить не раненого, а арестованного, и не в больницу, а к какому-то начальнику.

По дороге Кульчицкая украдкой разглядывает солдата. Когда унтер задает ему какой-нибудь вопрос, тот весь почтительно дергается и пытается вытянуть руки по швам. Так как он остался в одном белье, все это имеет довольно глупый вид. Между солдатом и унтером происходит любопытный диалог.

— А фокусник куда делся? — спрашивает унтер.

— Виноват, господин унтер-офицер, но я и не видел никакого фокусника.

— И откуда появились эти бандиты?

— Прибыли на двух лодках с моря, со стороны Дофиновки, господин унтер-офицер.

— Почему же вы не стреляли, не кричали?

— Виноват, господин унтер-офицер, наша одежда и оружие были на берегу, а мы с лошадьми — в воде, голые... Пока я добежал, они уже все захватили... Но я очень громко кричал, господин унтер-офицер... Хорошо еще, что хоть белье оставили!..

— Verfluchte Banditen![1] — бормочет унтер.

Чтобы скрыть улыбку, Нина Леонидовна наклоняется и долго поправляет сено у себя в ногах. Насколько она может понять, унтер является начальником конного разъезда, несущего охрану побережья. Четырех солдат (в том числе и этого — раненого) он послал купать лошадей.

В это-то время на дороге и показался свадебный поезд. По болгарскому обычаю повозки поезжан были богато убраны коврами. Главный дружка, стоя во весь рост на телеге у бочки, потчевал всех проезжих и прохожих вином. Отказаться от такого угощения — значит грубо обидеть жениха и невесту. И, конечно, ни унтер, ни солдаты от угощения не отказались. Тут же и появился бог весть откуда взявшийся фокусник. Он-то и отвлек внимание патруля от того, что происходило на берегу.

А на берегу неизвестно откуда прибывшие на двух лодках люди («проклятые бандиты», как выразился унтер), воспользовавшись тем, что солдаты в воде, голые и безоружные, захватили их одежду и оружие, отбили у немцев лошадей и верхами ускакали неизвестно куда. Один из солдат (именно этот, полуголый) попытался оказать сопротивление и получил заряд в ногу. Это был единственный выстрел, привлекший внимание патруля наверху. Однако вмешиваться было уже поздно. «Разбойники» ускакали, а еще за полчаса до этого с гиком и хлопаньем ковров укатила и свадебная процессия, прихватив с собой и фокусника.

Чем ближе к Дофиновке, тем растеряннее становится лицо унтера. Теперь, глядя на немцев, трудно определить, кто из них конвоир, а кто — арестованный.

Кульчицкие стараются не встречаться с дедушкой Дудником глазами. Сейчас немцы сойдут, можно будет наговориться вволю. Однако у волостного правления их

---

[1] Проклятые бандиты! (нем.)

ожидает неприятный сюрприз: показав арестованному на двери и скомандовав что-то, унтер поворачивается к Кульчицкой:

— Ihre Dokumenten! [1]

Нина Леонидовна и дедушка растерянно переглядываются, но делать нечего — они вручают немцу два паспорта да еще два «конских документа» на Красуню и Дьяка. Сейчас без таких удостоверений ни один подводчик не отправляется в путь.

— Ждать тут! — говорит унтер.

— Заберут поповское сало и муку! — бормочет дед Дудник.— Ну, вы свидетели будете, что я не виноват!

— Если бы знать, сколько они нас здесь продержат, я бы сбегал выкупался! — ноет Сережа.— Жарища какая!

Ждать у волостного правления приходится минут двадцать. Наконец — о, радость! — унтер выносит все бумаги.

— Ну, мамочка,— говорит Сережа весело,— я только окунусь — и обратно!

Нина Леонидовна вопросительно смотрит на деда Дудника.

— С одного окунанья все равно никакой пользы,— говорит дед ворчливо.— Потом жара еще хуже разберет... А еще говорят,— добавляет старик таинственно,— в море есть такая животная — мигуза...

Дед хочет добавить еще что-то, но Нина Леонидовна, зажав рот платком, отчаянно машет Сереже рукой: иди, мол, но только поскорее возвращайся!

Учительница и школьный сторож присаживаются на бревна за лавкой.

— Заходите внутрь, в тенёк! Я мух только что выгнал,— любезно приглашает лавочник и даже выносит для своих гостей из задней комнатки длинную скамью.

Дед, однако, заходить в помещение категорически отказывается.

— Посидишь тут у них, а они тем временем коней уведут,— говорит он громким шепотом.

В лавке действительно прохладно. В длинном поме-

---

[1] Ваши документы! (нем.)

щении с одним крохотным стеклышком в двери полутемно и сыровато. Земляной пол только что, очевидно, полили из чайника — он весь расписан темными мокрыми узорами. Кроме Кульчицкой и хозяина, в лавке — ни души.

Решив в отплату за гостеприимство купить что-нибудь, Нина Леонидовна подходит к прилавку. Но страшные, слипшиеся конфеты в ящике выглядят очень неаппетитно. Тем более, что рядом бронзовой грудой навалена тарань.

Лавочник следит за Кульчицкой во все глаза.

— Местная работа,— поясняет он, когда взгляд Нины Леонидовны останавливается на бархатной, оклеенной ракушками коробке.— Возьмите парочку — посчитаю дешевле... — И, получив деньги, плюет на рублевку.— Почин! Вы у меня сегодня первая...

Звякнув колокольчиком, за спиной Кульчицкой открывается дверь. Входит еще один покупатель.

— Видите, какая я легкая на почин! — весело говорит Нина Леонидовна.

Но хозяин, окинув вошедшего небрежным взглядом, снова поворачивается к ней.

— Возьмите халвы для сыночка,— предлагает он.

Нина Леонидовна с опаской глядит на оплывшую, похожую на замазку, глыбу.

— А вот сушки хорошие... Нитки белые и черные... Стальные крючки для рыболовства...

Новый покупатель терпеливо дожидается своей очереди.

— Простите,— наконец, не выдержав, говорит он,— можно мне без веса — пачку махорки?

Лавочник, не говоря ни слова, швыряет на стойку пачку махорки и опять поворачивается к Кульчицкой:

— А вот сахар постный... Придет пост — вы его ни за какие деньги не достанете!

— Я постов не придерживаюсь,— говорит Нина Леонидовна улыбаясь.— А я и не знала, что есть сахар постный и сахар скоромный.

— Обязательно! — поясняет лавочник важно.— Этот мы сами из сахарного буряка делаем, на заводе его ведь через собачьи кости пропускают!

Кульчицкая невольно фыркает и поднимает глаза на

второго покупателя. Это высокий, тонкий, очень красивый человек. Где-то она уже видела эти прямые брови, высокий смуглый лоб и девичьи пушистые, сейчас опущенные, ресницы...

Пушистые ресницы поднимаются, и Кульчицкая краснеет под пристальным взглядом незнакомого человека. С ужасом она замечает, что и он краснеет тоже.

— Виноват,— говорит второй покупатель и, расплатившись, направляется к выходу.

Только теперь Кульчицкая разрешает себе рассмотреть его повнимательнее.

Худощавая, кажется, слишком худощавая фигура, в отлично заправленной под пояс выгоревшей защитной гимнастерке. Кульчицкая отмечает про себя темные пятна вместо погон на плечах и аккуратно, но все-таки помужски залатанные локти.

— Не люблю я, когда люди из себя что-то строят! — говорит лавочник неодобрительно.— Если ты с образованием, то и живи по-образованному! А то махорку курит. В море на рыбалку выходит. Книжки всякие этому хамью читает...

В дверном окошечке появляется седая голова, а рядом — другая, поменьше, русая. Дед Дудник стучит кнутом в стекло.

— Ну, спасибо вам большое за тенёк,— говорит Нина Леонидовна и открывает дверь. На нее роем налетают мухи.

— Видела? Говорила с ним?.. — кричит Сережа и, разглядев удивленное лицо матери, добавляет огорченно: — Я его уже только издали узнал. Вот жалость, а я думал: он тебе что-нибудь для Вадима передал...

Кульчицкая всплескивает руками — это ведь был штабс-капитан Шалыгин. Как это она сразу не догадалась!

— А ты тоже хорош,— говорит она с укором,— вместо того чтобы купаться, лучше бы навестил отца своего товарища!

— А я, ей-богу, про него забыл,— признается мальчик смущенно.

— Ну, едем мы или так до вечера будем сто́ячки стоять? — спрашивает дед Дудник недовольно.

Особых причин сердиться у него как будто нет: он

и лошадей успел покормить и сам немного соснул под телегой, но мать и сын виновато взбираются на повозку.

Однако дурное настроение старика быстро рассеивается.

Он горит желанием поделиться с Кульчицкими новостями. Ни у волостного правления, ни у лавки он говорить не решался. И только когда последние хаты Дофиновки скрываются за красными клубами пыли, дед Дудник, бросив вожжи, поворачивает к своим пассажирам веселое и лукавое лицо.

— Чи вы бачилы того германа, что лошадей гнал? — продолжает он прерванный разговор.— То ж не герман, а Микола Воронько, рыбалка дофиновский.

— Воронько! — кричит Сережа обрадованно.— Ленька-красавец — тоже Воронько. Это, может, его родственник! — И тут же замолкает, точно прикусив язык: конспирация...

К счастью, его не слушают. Дед Дудник просит Нину Леонидовну поподробнее рассказать, о чем это унтер беседовал с солдатом. Учительница ведь хорошо понимает по-ихнему.

— Не знаю, право... — тянет Нина Леонидовна смущенно.— Они очень нечисто говорят... Много швабов, баварцев... Я иной раз их даже не понимала. Например, по-моему, речь шла о каком-то фокуснике. Fokusmacher— это безусловно фокусник. Но почему вдруг на свадьбе оказался какой-то фокусник? Может быть, унтер употребляет это слово в каком-нибудь переносном смысле...

Теперь уже и Сереже начинает казаться, что он напрасно обрадовался, когда было произнесено слово «фокусник». Даже если и был тут какой-то фокусник, так разве Али-бен-Гассан один на свете? Нет, конечно, Али-бен-Гассан здесь ни при чем. Но... при чем или ни при чем... конспирация!

— Ты хоть рассмотрела хорошенько Анатолия Вадимовича? — поворачивается он к матери.— Вадька, когда вырастет, тоже, наверно, будет красивый!

Подвода ежеминутно проваливается в выбоины, и, прикусив несколько раз язык до крови, мальчик беспомощно замолкает.

Потом выезжают на мощеное шоссе. Телега так грохочет по камням, что сейчас объясняться можно только

знаками. Но мама как будто даже рада этому — она крепко обхватывает сына за худые плечи и целует его в горячую, пропахшую пылью голову.

На Пересыпи Кульчицкие решают нанять извозчика. Дед Дудник остается на постоялке — разузнать цены. Если на базаре немцы не отнимают продуктов, он, переночевав, поедет с утра на Привоз. Если же это опасно, он развезет сало и муку по знакомым людям,— отец Виталий дал ему несколько адресов.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Письмо Павла Игнатенко

Нет, наверно, ничего приятнее дороги на Малый Фонтан, когда едешь по прямому, как стрела, чудесно вымощенному Французскому бульвару на рессорной извозчичьей пролетке.

Ездить здесь, однако, Сереже не случалось, а ходить пешком по Французскому бульвару он не любил. Шагаешь, как дурак, в своих расшлепанных парусиновых туфлях, а мимо бегут красивые узорные решетки вилл одесских богачей — Маразли, Ралли, Аудерского, Гена, Вайнштейна...

Над темной, не по-русски глянцевитой зеленью вдруг взлетит катушка «диаболо»[1], или из-за кустов вынырнет нарядная горничная с подносом, или в воротах испуганно застынет девочка с длинными локонами.

А ты идешь и шаришь по карманам — не найдется ли нитка с привязанным к ней кусочком воска. Поймать бы на воск тарантула, раскачать хорошенько и сунуть под самый нос такой накрахмаленной куколке.

И опять — ограды, ограды, ограды... Где-то в глу-

[1] «Диáболо» — распространенная в то время детская игра.

бине дач, между круглыми подстриженными кустами, сияют мраморные статуи, виднеются беседки, увитые глицинией или виноградом... Настоящим!

Пустота и тишина. Не слышно ни веселой суматохи, ни визга девчонок, ни стука крокетных шаров. Вымерли они все там, что ли?

— Если бы не я, вы и носа не показали бы в такой аристократический район! — часто говорит Ольга Ивановна.— Ведь это уже почти что Ницца!

Район-то аристократический, но даче Вальтуха до Ниццы далеко!

Богатый купец Вальтух, предвидя, что Одесса будет расширяться в сторону Фонтанов, откупил в свое время за бесценок у Одесской городской управы мусорные свалки, находившиеся в то время за чертой города.

Мусор в один прекрасный день свезли и сбросили в море (дач здесь в ту пору не было, следовательно, протестовать было некому), а всю площадь свалок, во избежание эпидемии, засыпали негашеной известью (Одессу частенько посещала холера).

За одно лето на пустыре, буквально как грибы, выросли «вальтуховские коттеджи», и в аристократический район с самого начала летнего сезона стали тянуться ломовики, перевозящие «на дачу» немудреный скарб многодетных одесских чиновников, учителей и небогатых лавочников.

То, что здесь когда-то были свалки, до сих пор дает себя знать: чахлые кустики сирени и железного дерева плохо «принимаются», после грозы в воздухе пахнет не озоном, а известью, а как-то в начале лета, после особенно сильного дождя, перед самым окном Веде на поверхность земли вылезла оскалившаяся старая калоша.

...Итак, ходить по Французскому бульвару Сережа не любил, а о том, чтобы проехаться здесь на дрожках, он не мог и мечтать. Когда Веде переезжала на дачу, она своих «питомцев» отправила с вещами на ломовой «плацформе» Нуты Шлямберга, а сама доехала до дачи Вальтуха трамваем.

И вот надо же было так сложиться обстоятельствам, что сегодня, когда Сережа едет с мамой по Французскому бульвару в пролетке, запряженной немолодой, но

довольно приличной лошадкой, он не чувствует ничего, кроме желания поскорее добраться до дачи Вальтуха!

Третья остановка трамвая, четвертая остановка, пятая остановка. Сейчас будет ОБАК — дача бывшего Одесского британского атлетического клуба (теперь там живет какой-то важный немец), а за ОБАКом уже поворот и спуск к даче Вальтуха.

— Сереженька, а ты и не видишь! — вдруг весело сказала Нина Леонидовна, тронув сына за плечо.— Женя и Вадя! Вон, на трамвайной остановке!

Однако извозчик, подъезжая к месту назначения, «для шику» подхлестнул лошадь, и пролетка, прогрохотав мимо скамьи с дожидающейся трамвая публикой, лихо свернула по мягкому пыльному спуску к морю.

— Жень-ка-а! Вадь-ка-а! — срывая голос, закричал Сережа.

Но, к его удивлению, Вадим, вскочив со скамьи, сделал какое-то странное движение вперед и назад, как внезапно затормозившая машина, и вдруг кинулся не к Сереже, а вдогонку за удаляющимся по направлению к городу трамваем. Он что-то кричал на бегу.

— Мамочка! — сказал Сережа умоляюще.

С Ниной Леонидовной было два больших мешка с продуктами, огромный старый, плохо закрывающийся чемодан и множество мелких узелков и пакетов. Однако удерживать Сережу было бы жестоко.

— Иди, мне извозчик поможет, только... — начала она.

Но Сережа, не дослушав, в облаке красной пыли уже несся назад к трамвайной остановке.

Женька, взобравшись на скамью, пренебрегая ропотом соседей, смотрел вслед трамваю.

— Все! Конец! Не догнал! — сказал он вместо приветствия.— Письмо с тобой, Сережка?

Сережа, оторопев, смотрел на товарища.

— Мы только что проводили Франю на трамвай... То ее письмо с тобой?

Франино письмо лежало на самом дне маминого чемодана, но Сережа почему-то растерянно похлопал себя по карманам.

Вернулся побледневший, запыхавшийся Вадим.

— Письмо привез? — тоже спросил он вместо приветствия.

Нет, они оба сегодня немножко спятили!

— Письмо я привез,— сказал Сережа обиженно.— Но можно, кажется, поздороваться!

Гребенюк почтительно расшаркался, описав в воздухе восьмерку несуществующей шляпой:

— Добро пожаловать в Эльсинор, господа!

Вадя, морщась, присел на скамью:

— Фу, даже в боку закололо... Это, конечно, глупо, что ты возил письмо в деревню. Оно, оказывается, от Павы. У Павы тогда что-то с рукой было, и за него писал товарищ...

— Эх, надо было еще тогда, весной, распечатать письмо и прочесть,— осторожно вставил Гребенюк, но Вадя только пристально поглядел на него.— А сейчас Франя сказала, что письмо нужно разорвать на мелкие кусочки,— пробормотал Женя смущенно.— Вот неудача какая! Надо бы тебе на час раньше приехать! Ей все-таки хотелось почитать, что пишет Пава. Франя, оказывается, от него еще одно письмо получила, на деревенский адрес.

— Но она ведь еще будет у нас? — виновато спросил Сережа.

— А кто ее знает! Говорит, что, если не устроится, уедет... Она и так из-за этих взрывов на неделю задержалась... Вадька, правда, она ведь из-за письма этого, собственно, в Одессу и приехала? Пообещала, что, если не уедет, зайдет еще к нам.

— А где она остановилась? — начал Сережа.— Мы можем к ней домой...

— Ничего мы не можем,— перебил Гребенюк.— Франя остановилась где-то у Хлебного городка... Ей еще здорово повезло... Понятно?

Сереже ничего не было понятно.

— У Хлеб-но-го го-род-ка! — повторил Вадя раздельно и переглянулся с Женей.— Ты что, с луны свалился?

— Вадька,— вдруг закричал Гребенюк,— этот балда ничего не знает об артиллерийских взрывах!.. Сережка, а вы чего-нибудь вкусненького привезли? Ну пошли, поможем Нине Леонидовне!

— Подождите. Что за взрывы? Маме там Милька поможет.

— Мильки со вчера уже нет. А взрывы... Ну, Вадька, объясни.

— Немцы отправили составы с зерном в Германию,— сказал Шалыгин.— Ну, это еще при тебе...

Сережа кивнул головой.

— А наши железнодорожники там чего-то запротестовали. Вот немцы их насильно и задержали в Германии. Тогда большевики-подпольщики взорвали артиллерийские склады за элеватором, у Хлебного городка. Немцы хотели тушить пожар, но — куда там! — взрывом пожарную команду на целый квартал назад отбросило! Даже у нас тут грохот слышно было...

— Все выскочили, смотрят на небо. Думали сначала, что это французы с аэропланов бомбы сбросили...— вмешался Гребенюк.— Хорошо, что Франя в тот день в городе была... Ох, Сережка, тут у нас, у моря, три дня беженцы жили. А там, возле артиллерийских,— горы трупов... Люди, лошади, пушки по воздуху летали...

Сережа недоверчиво оглянулся на Вадима. Нет, товарищи его говорили вполне серьезно.

— И такие же взрывы устроили в Киеве, на Жмеринке, на Слободке! — добавил Вадим гордо.

Когда мальчики поднимались на террасу, Ольга Ивановна с приятной улыбкой на лице рассматривала горсточку муки на ладони, поплевывая на нее и скатывая сероватую колбаску.

— Мука́ приличная, только немного крупного помола.

Против ожидания, она и Сереже не сделала особо строгого внушения.

— Как так можно было! Счастье твое еще, что все хорошо кончилось. А вдруг бы... Не думаете вы о своих матерях! Ступай умойся — мы сейчас сядем обедать...

Мама уже успела умыться и причесаться. Похорошевшая, тоненькая, она летала с террасы на кухню, накрывала на стол, наре́зала на закуску деревенскую колбасу, сыпала из мешочка домашнее печенье. Ольга Ивановна следила за ней с доброй улыбкой.

Пока хозяйка с гостьей занялись после обеда посудой, мальчики заперлись в детской.

Конверт, в который мама переложила Франино

письмо, тоже успел поистрепаться по углам. Можно было разглядеть в нем старый рыжий конверт, а внутри рыжего — три голубоватых листка бумаги.

— Ну как, порвали на клочки? — бодро спросил Женька, взвешивая конверт на ладони. А сам больно толкнул Сережу ногой.— Фране, конечно, интересно было бы узнать, что пишет ее миленький, но «разве хочешь — надо».— Женька с треском рванул конверт.— Напополам!

— Подожди, не рви дальше! — с усилием выговорил Шалыгин.— Прочтем... Только, Евгений, Сергей, смотрите: это тайна. И вообще — дело серьезное...

— Да говорила Франя, знаю! — пробормотал Гребенюк сердито.— Давай, Вадька!

Шалыгин, поднявшись, потрогал марлю, которой было затянуто окно, посмотрел в одну сторону, в другую. Потом закрыл дверь на крючок.

— Читаю! — объявил он торжественно, усаживаясь на кровать.— А ну-ка тише!..— И прислушался.— Нет, ничего... Ну, начинаю:

«Писано в городе Рени, румынского фронта, второго марта 1918 года. За Павла Гнатенко писал Сергей Иванович Кузько — красный военный фельдшер.

Дорогая Франечка!

Письмо это тебе передаст наш человек, ты переховай его где-нибудь дня на два, на три. А то хлопцу нет куда деться.

В первых строках моего письма сообщаю, что я уже здоровый, хожу без палки, только на правой руке пальцы еще не гнутся. Но ты, Франечка, не горюй: рука действовать будет. Другой раз в пальцах так кольнет, как иголкой. Но сейчас я за себя много писать не буду, есть поважнее дела. Если те мои письма не дошли, так повторяю: во всей беде, что случилась тем летом в Рени и столько народу и снаряжения погибло, виноватый Рудольф Геншке. Ты должна его помнить. Ты как нанималась к нашему пану Леонтовичу на буряки, Рудькин батька у нас же, коло Белец, посессию держал. Из-за Рудьки в то лето, может, помнишь, Мотька Фесенко с вашей деревни утопилась. Так вот я этого самого Рудольфа Геншке на страшном деле за руку споймал: хотел он румынским боярам наше оружие и боеприпасы сбагрить.

А как не удалось — взорвал четыре катера и пристань. Народу — страшное дело — сколько погибло! Если бы я не потерял сознание, задержал бы его непременно. А тут пришлось из-за этого гада пять с половиной месяцев проваляться. Не знаю, какому угоднику ты молилась, что я вот живой хожу. А он скрылся.

Так вот, у нас имеются сведения, что этот Рудольф Геншке в данное время в Одессе, имеет документы на имя Евдокима Рожкова, матроса первой статьи с крейсера «Память Меркурия». Убил он этого Рожкова или другим каким родом документы достал — неизвестно.

Франечка, не знаю, может, нет уже у меня права так тебя называть? Четыре года ждешь, может, уже надоело? Но одно я знаю хорошо — бедняки мы с тобой, строкари [1], только одно, что ты с Одесщины, а я с Бессарабии. Но оба мы одинаково на панов робили, до шестнадцати лет на ногах своих обувки не видели. И ты должна Советской власти помочь. Рудольф Геншке под именем Рожкова в подполье уйдет. Оккупанты, видно, думают на него подпольщиков, как рыбку на приманку, поймать. Временно Советская власть от Одессы отступает, но людей своих здесь оставит. Так вот — у Рудьки задача всех этих людей переловить.

Переховай, прошу еще раз, этого парня, что письмо принесет. А сама, прошу, сходи разыщи такую женщину — Ксану Федоровну Шевчук. Она живет на Молдаванке, в том доме, где ваша тетя Поля. Чужих сильно не расспрашивай, сходи лучше до тети Поли. Лишнего не говори, сообщи все про Рожкова, а там уж видно будет.

Может, у тебя уже кто-нибудь есть, что ты до меня не пишешь,— это дело твое, Ефросинья Даниловна, но что надо — сделай.

А если что не так будет, хотя я даже поверить в такое не могу, то наши руки везде тебя достанут.

С тем — кланяюся низко.

До свидания близко.

Остаюсь любящий тебя Павел Гнатенко. За Гнатенко расписался красный военный фельдшер Кузько».

---

[1] Строка́рь (укр.) — сезонный рабочий, батрак.

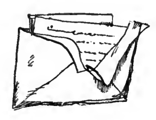
Вадя кончил. Разгладив бумагу, он соединил разорванные концы, точно ожидая, что они срастутся. Все трое мальчиков молчали.

— История! — наконец выговорил Гребенюк.— А как хорошо все-таки, что мы не порвали письмо! Можно предупредить партизан...— и смутился от пристального взгляда Шалыгина.— Ну, к партизанам нас, скажем, не пустят. Но можно так сделать: напишем десяток объявлений: «Евдоким Рожков — шпион и провокатор» — и поразвешиваем по городу.

Шалыгин помолчал.

— Ну что ж, и так можно, а, Сергей? — спросил он неуверенно.

Сережа сидел молча, зажав руки между коленями. Он то́чно знал, что ему нужно делать! Он точно знал, что ему придется выдержать борьбу с мамой. И сейчас ему необходимо было собрать все силы для этой борьбы.




Часть вторая



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Трудный день

У Ольги Ивановны был один из самых трудных ее дней.

Во-первых, накануне выяснилось, что Милька — *воровка*. Под тюфяком у девочки Веде обнаружила две пары своих почти целых чулок, в бумажке — немного пудры. (Ольга Ивановна узнала ее по запаху) и четыре рубля деньгами (откуда у Мильки могла взяться такая сумма, если она ни разу не получала жалованья!)

Милька божилась, что деньги — ее собственные, тайком заработанные стиркой, что пудры она «трошечки» взяла, а что «чу́лки все одно целое лето валялись у колидорчику за корзыной» и... она их тоже взяла.

Не слушая никаких клятв и извинений, Ольга Ивановна Мильку немедля рассчитала. Та выла на всю дачу.

Одно это не могло привести Веде в такое уж дурное настроение, но, как известно, неприятности всегда следуют одна за другой.

Вчера Ольга Ивановна до двух часов ночи играла в преферанс на даче Спиро и проиграла одиннадцать рублей. Сегодня встала с головной болью и едва успела справиться с базаром и обедом, как какой-то старик из Дофиновки принес ей письмо от Вадиного отца — ответ на ее любезное приглашение погостить немного у нее на даче. В конверт были вложены и деньги.

Бывший офицер писал, что не видит для себя возмож-

ности *гостить* в городе, хотя бы временно занятом оккупантами. (Господи, как можно *такие* письма передавать бог знает с кем!)

Шалыгин надеется в скором времени совсем освободить ее от забот о Ваде: он уже приобрел в собственность лодку и сети и в ближайшем будущем возьмет сына к себе. На вопрос Ольги Ивановны, когда она наконец увидит его в офицерском мундире, Шалыгин ответил, что после всего, что творилось на Севере, на Дальнем Востоке и в Крыму, у порядочных людей пропала охота надевать офицерский мундир.

За приглашение погостить на даче штабс-капитан не счел нужным даже поблагодарить.

«Хорошо, что хоть деньги догадался прислать,— презрительно щурясь, думала Веде.— Очевидно, заниматься рыболовством выгоднее и, уж безусловно, безопаснее, чем воевать с большевиками».

Еще до того как удрал Сережа Кульчицкий, она решила перевести мальчиков на террасу, а их комнату сдать на месяц-два — сейчас в Одессе много приезжих. Однако троим мальчишкам на террасе, честно говоря, все-таки было бы тесно, а, кроме того, Ольга Ивановна рассчитывала, что штабс-капитан примет ее приглашение.

Ну что ж, насильно мил не будешь!

А сейчас Вадим с Женей вдвоем на террасе уместятся великолепно, да она и не намерена особенно нянчиться с сыном этого неблагодарного субъекта.

Перед самым обедом Веде приклеила к столбу у ворот билетик: «Сдается комната внаем».

И вдруг — нá тебе! — пожаловали Кульчицкие.

В первые минуты Ольга Ивановна решила выложить Нине Леонидовне все, что она думает о ней и ее сыночке. Один этот Сережин побег чего стоит! Разглядев, однако, расстроенное лицо Кульчицкой, Веде воздержалась. С Ниной Леонидовной, очевидно, что-то стряслось: неспроста она приехала перед самым началом учебного года! Так вот — нельзя ли использовать затруднения Нины Леонидовны и как-нибудь, хотя бы на время, задержать ее у себя? Милька изгнана, прислугу сейчас найти трудно, а Нина Леонидовна за любую работу берется легко и охотно. Кулинарка она не бог весть какая, но

Мильку безусловно заменит. Пускай останется «помогать» Ольге Ивановне, а заодно позанимается по языкам с Вадей, с Женей и Сережей. А там видно будет...

Дело в том, что Веде решила к зиме наладить у себя отпуск «домашних обедов». Это, пожалуй, выгоднее, чем держать квартирантов.

Нина Леонидовна была очень растрогана, когда Веде объявила, что Сережиной маме буквально необходимо пожить немного у моря, отдохнуть и набраться сил к новому учебному году.

Ольга Ивановна тем временем зорко следила за выражением лица Кульчицкой. Что та ответит о новом учебном годе? Думает ли она возвращаться в деревню?

Но Нина Леонидовна только от души поблагодарила ее за доброту и крепко расцеловала.

— Вот видишь, Сереженька, Ольга Ивановна совсем не такая плохая, как тебе кажется,— сказала Кульчицкая с укором, когда они с сыном остались наедине.

— Поживешь — увидишь,— ответил Сережа коротко.

— Что с тобой, милый? — спросила мать, внимательно приглядываясь к сыну.— Ты поссорился с мальчиками?

Сережа отрицательно мотнул головой.

— Тебе нездоровится? Борис Макарович предупредил...

— Мама,— вдруг перебил ее Сережа,— мы никак не сможем завтра... или хотя бы послезавтра... вернуться в Валегоцулово?

— А что случилось? — спросила Нина Леонидовна испуганно.

— Ничего не случилось... Мне надо!

— Да ты совсем с ума сошел! — возмутилась Кульчицкая, прикладывая пальцы к вискам.— Я тебя спрашиваю: почему тебе вдруг понадобилось ехать в деревню?.. Знаешь, мой милый, всему, даже моему терпению, есть предел. Правильно сказала Ольга Ивановна: не думаете вы о ваших матерях!

Неизвестно, слышала ли Ольга Ивановна весь предыдущий разговор, но, когда было произнесено ее имя, она заглянула в окно.

— Что там опять «Ольга Ивановна»? — спросила она добродушно.

Нина Леонидовна промолчала. Сережа тоже, может быть, промолчал бы, если бы Веде не добавила осторожно:

— Это мне послышалось или Сергей действительно собирается обратно в деревню?

— Нет, не послышалось,— сказал Сережа решительно,— мне необходимо завтра, в крайнем случае послезавтра, выехать.

— Ты что, забыл там что-нибудь? — спросила Веде.— Что с ним, Нина Леонидовна?

— Меня он не посвящает в свои дела,— сказала Кульчицкая холодно.— А кажется, ведь так стараешься быть ему другом...

«Э, не-е-ет! — решила Ольга Ивановна про себя.— Раз вы уж так бесцеремонно свалились мне на голову, обратно в деревню я вас не пущу!»

— Я давно собираюсь поговорить с вами, дорогая Нина Леонидовна,— сказала она проникновенно.— Как ни горько, но надо признать, что сын ваш растет эгоистом... Сергей, неужели тебе никогда не приходило в голову, что мать твоя — еще совсем молодая женщина, что у нее должна быть своя личная жизнь?.. Ничего, ничего, он уже не маленький...— заметила она в ответ на испуганный жест Кульчицкой.— Неужели, Сергей, посторонние люди должны объяснять тебе такие простые вещи?

— Нет,— пробормотал Сережа, сжимая в карманах кулаки.

— Что — нет? — спросила Ольга Ивановна строго.— Ты, может быть, не намерен с нами разговаривать?

— Да,—сказал Сережа, отчаянно глядя на мать.

— Тогда ступай вон отсюда! Ужин тебе принесут в комнату!.. Ничего, ничего! — снова успокоила она Кульчицкую.— Пускай пораздумает на свободе о своем поведении... Да не расстраивайтесь вы очень,— добавила она, когда Сережа вышел.— Я не первый год вожусь с детьми и великолепно их понимаю! И хочу вам дать совет: не ставьте вы, ради бога, себя на одну доску с четырнадцатилетним мальчишкой! Что это за выдумки: «Мать старается быть своему сыну другом»! Погодите, он вам еще такого друга покажет!

Как ни странно, но Сережа, мысленно возражая ма-

тери, обращался к ней почти в тех же выражениях, что и Ольга Ивановна.

«Так, значит, ты стараешься быть мне другом? — Горько улыбаясь, Сережа зарывался лицом в мокрую от слез подушку.— Друзья не стараются быть, а просто бывают друзьями. Если бы ты на самом деле была мне другом, я пришел бы к тебе и прямо сказал: «Надо ехать! Борису Макаровичу, Анне-Марии, да, господи, может, еще сотне людей грозит беда!» Боже мой, боже, почему я такой несчастный! Мне необходимо вернуться в Валегоцулово... Какой-нибудь попутной подводой, зайцем на поезде, хотя бы пешком... Но я не могу уехать, не повидавшись с Наташей».

Вадя Шалыгин считал, что «Олька» несправедливо поступила с Сережей, не допустив его ужинать со всеми. В знак протеста он отказался от еды, и Жене Гребенюку досталась Вадина порция. Гребенюку же было поручено отнести Сереже ужин.

Когда Женя вошел с яичницей в комнату мальчиков, Сережи там не оказалось. Фуражка его висела на гвозде — значит, он отлучился ненадолго. Женя решил его дождаться.

За стеной, у «Ольки», задребезжал будильник — сигнал, что мальчикам пора ложиться спать. Но, поскольку сегодня приехала Нина Леонидовна, Ольга Ивановна, возможно, не станет проявлять большой строгости.

Женя подождал еще немного. Вполне вероятно, что Сережка — со зла — пошел ужинать к рыбакам. И вдруг Гребенюк заметил записку, лежавшую на его собственной, Жениной, подушке.

«Женька и Вадька! — прочел он.— Я взял из ящика рубль— не знаю чей. Мне необходимо поехать в город. Мама отдаст. Сергей».

Ящик стола был выдвинут. Ручка его была запачкана чем-то белым и клейким. Эге, на подоконнике — блюдце с остатком мучного клея. В клее же была и корзинка для бумаг. Гребенюк заглянул под стол и вдруг, присвистнув, быстро высыпал содержимое корзинки на пол. Там оказалось большое количество косточек от абрикосов, поломанная рогатка, испачканное дегтем кухонное полотенце (проискав его полдня, Ольга Ивановна решила, что полотенце украла Милька), несколько окурков (Ва-

дя и Женя уже пытались курить по-настоящему), Вадькины порванные носки и ни одного клочка бумаги!

А ведь после того как Павино письмо было прочитано, Гребенюк собственноручно изорвал его на клочки и выбросил в корзину.

Сережино отсутствие поначалу Нину Леонидовну не обеспокоило. Мало ли куда он мог деться: отправился к морю, зашел к мальчикам на дачу Шапошниковой, решил поужинать с рыбаками... Ей только нестерпимо стыдно было перед самой собой, перед Ольгой Ивановной, даже перед Женей и Вадей: в первый же день приезда выкидывать такие фокусы! Как только Сереже не совестно!

Однако, когда мальчики, прождав напрасно до одиннадцати (Ольга Ивановна отправилась спать раньше), смущенно пожелали Нине Леонидовне спокойной ночи, она, положив руку Жене на плечо, проводила его до дверей детской.

— Куда, по-вашему, он мог деться? Все-таки это очень-очень нехорошо с Сережиной стороны!

Женя виновато высвободил плечо и переглянулся с Вадимом. А Вадим сказал:

— Тут, собственно, Нина Леонидовна, даже не наша тайна...

— Я спрашиваю, куда делся Сережа, а до остального мне нет дела,— сказала Кульчицкая решительно.

Мальчики снова переглянулись, и Нине Леонидовне вдруг стало не по себе.

— Я думаю,— пробормотал Вадя неуверенно,— что этот балда поперся в город искать Франю... А, Евгений?

— Франю? Ночью? Разве вы знаете Франин адрес? Умоляю, Вадим, объясни мне, что происходит с Сережей?

— Да абсолютно ничего не происходит... Уехал он, когда еще совсем светло было... Он сам вам, конечно, все рассказал бы...

— А вдруг он отправился в Валегоцулово? Он ведь мне заявил, что ему нужно вернуться в деревню...— И губы Нины Леонидовны задрожали.

Мальчики переглянулись — это было что-то новое.

— Нет, он написал нам, что едет в город,— успокоил Гребенюк,— уж от нас он не скрывал бы...

Кульчицкая заметила, как Вадим сердито толкнул Женю.

— Вы только, пожалуйста, не волнуйтесь,— добавил Гребенюк жалобно,— никуда Сережка не денется... Он взял у меня рубль. Олька, честно говоря, тоже отколола сегодня номерок — выгнала в первый же день приезда! И потом еще эта история с письмом...

— Сережа вернется и безусловно все вам расскажет сам,— тут же перебил Женю Шалыгин.— А с письмом — никакой истории. Просто мы письмо порвали, а Сережка для чего-то его склеил...

Так как Сережина мать испуганно глянула на него, Вадим окончательно растерялся.

— Му́ку для клея он, вероятно, на кухне взял... Я только не понимаю, как он устроился: письмо-то с двух сторон написано...

— Господи! — простонала Нина Леонидовна.— Какая мука́? С каких двух сторон? — и вдруг заплакала.

— Вы только не волнуйтесь, милая, дорогая Нина Леонидовна! — сказал Вадя умоляюще, и на скулах его засветились белые пятнышки.

Вдруг в окно ударило зеленым неживым светом, и Кульчицкая зажмурилась. Точно защищая ее, Шалыгин стал между Ниной Леонидовной и окном. Но в эту минуту загрохотало так, что Кульчицкая с испуга опустилась на стул.

— Ну ладно,— перебарывая себя, сказала она как можно спокойнее,— утро вечера мудренее... Спать, спать пора, мальчики!

Спокойствия, однако, хватило ненадолго. По глазам опять резанула такая молния, что Нина Леонидовна добавила чуть не плача:

— На дворе гроза, а он бог знает где!

Кульчицкая с детства боялась грозы. Впрочем, боязнь — это не то слово. Задолго до того, как над крышей начинало греметь, а в доме быстро темнело, Нине Леонидовне становилось трудно дышать. Она забиралась на диван, укрывалась с головой и так часами просиживала, не отзываясь на окрики и не поддаваясь уговорам.

Сердце ее то замирало, то стучало так сильно, что его, казалось, можно было услышать из соседней комнаты.

И это с детства служило поводом для шуток и насмешек — сначала в семье Нины Поповой, а потом — среди молодежи Ананьева.

Какой же радостью было для Нины заступничество третьекурсника Андрюши Кульчицкого, раз навсегда положившего конец нападкам на нее.

«Что за безобразие! — сказал студент решительно.— Немедленно же прекратите эти разговоры о трусости. Разве вы не понимаете, что у человека настоящий нервный шок? Ни к храбрости, ни к трусости это никакого отношения не имеет... Меня, надеюсь, никто не собирается считать трусом, а я вот не переношу... пауков»,— добавил он со своей хорошей улыбкой.

Слышал ли Сережа об этом случае от бабушки или понимал чутьем, когда мать в нем нуждается, но даже в раннем детстве во время грозы мальчик старался не отходить далеко от дома.

И Нина Леонидовна, закрывая окна и борясь с занавесками и с ветром, швырявшим в комнату пыль, соломинки и первые капли дождя, знала, что вот сейчас распахнется дверь, заглянет мокрая взъерошенная голова и деловитый голос спросит: «Ну, как ты, мум?» или: «В случае чего — покричи меня, мы тут с Федькой Рубаном плотину строим».

Когда они с Сережей сегодня подъезжали переулком к морю, на горизонте, над заливом, как хлеб на столе, лежала круглая толстая туча... Сережа посмотрел на небо, на мать, и Нина Леонидовна поняла, что он хоть и молчит, но беспокоится за нее. И как это странно совмещается в нем — нежная заботливость и вот такое ужасающее бездушие!

В маленьком окошке каморки то и дело вспыхивала молния. «Сухая гроза»,— подумала Нина Леонидовна, но в ту же минуту хлынул сплошной тропический дождь. На полу тотчас же образовалась огромная лужа — пришлось закрыть окно. Задыхаясь от духоты, Кульчицкая прилегла на раскладушку и, несмотря на беспокойство и грозу, вдруг заснула крепким, тяжелым сном — сегодня она с трех часов утра была на ногах.

Проснулась она, с трудом соображая, где стена, где

окно, вся мокрая от испарины, слыша, как громко колотится ее сердце. Посветив спичкой, глянула на часики. Проспала она только сорок минут. Грозы как не бывало. Нина Леонидовна распахнула окно, и в каморке тонко и нежно запахло мокрой землей.

С трудом, скользя и оступаясь, Нина Леонидовна добралась до террасы и, наткнувшись на два огромных бесформенных комка глины, долго разглядывала их, пока поняла, что это ботинки. Тогда, не думая уже о том, что может кого-нибудь разбудить, она поскреблась в дверь к мальчикам. Вадя Шалыгин откинул крючок и снова юркнул под простыню. Нина Леонидовна посветила себе последней спичкой. Сережа спал, подложив руку под щеку; лицо у него было усталое и счастливое. Огонек уже обжигал Кульчицкой пальцы, но она, не веря своим глазам, наклонилась пониже. На столе, подле самой Сережиной подушки, тщательно завернутая в бумагу, которая сейчас от дождя расползлась в клочья, лежала выцветшая малоотчетливая фотография: «Первое мая — по пояс в снегу». Ее Нина Леонидовна узнала бы, кажется, и в полной темноте. Это была та самая фотография ссыльнопоселенцев, которую Кульчицкая сожгла у себя в печурке в Валегоцулове две недели назад.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Дом с „кручеными панычами"

Нижний этаж дома с кручеными панычами[1] занимал владелец, а наверху, в маленькой двухкомнатной квартирке с удобствами и с деревянной крытой лестницей, жила фельдшерица Ксана Федоровна Шевчук.

[1] Крýченые панычи́ (укр.) — вьюнки.

Надо сказать, что прелесть этой квартиры стала открываться Сереже постепенно, задолго до того, как Шевчук, прочитав Павино письмо, взяла своего гостя за руку и, как маленького, повела вдоль стен, показывая то одну, то другую редкость.

— Страусовое яйцо,— говорила хозяйка квартиры небрежно,— но ты их, конечно, уже видел!.. Нос меч-рыбы... Египетский камыш — циперус... Чучело птицы киви... Иерихонская роза. Жемчужная раковина... Вот посмотри, между ее створками — грязный шарик, это и есть настоящий жемчуг. А кошку нашу ты рассмотрел? Это абиссинская порода.

Короткошерстная абиссинская кошка Сереже не понравилась. Она вся была какого-то львиного, грязно-желтого цвета, с черной мордочкой и черными кончиками лап — точно она влезла нечаянно в кучу угля и еще не успела умыться.

Одесса — город моряков дальнего плавания.

Страусовыми яйцами, меч-рыбами или раковинами-жемчужницами здесь никого не удивишь. А стройные, раскрытые зонтиками египетские камыши циперусы в изобилии выращивались у бабушки Елены Антоновны.

Но вот иерихонская роза и птица киви — это безусловно были редкости!

На рисунках (Брем — том четвертый) Сережа птицу киви, конечно, уже видел. Знал, что она водится только в Австралии, что вместо перьев киви покрыта шерстью и что даже кости у нее не полые внутри, как у всех остальных птиц. И, однако, поглаживая сейчас чучело киви по бархатной спинке, мальчик не мог прийти в себя от восторга.

После того как Сережа, продрогший и промокший, стянул с себя за ширмой курточку и штаны и напялил полосатый халатик, еле доходивший ему до колен, Ксана Федоровна сполоснула Сережин костюм. Развесив его в кухне над топящейся еще плитой, она положила на ладонь мальчика сухой шарик перепутанных корней и стеблей.

— Сейчас покажу тебе иерихонскую розу в действии,— сказала она,— а пока поужинаем и напьемся чайку — ты просто посинел весь.

Рядом с Сережиным прибором Ксана Федоровиа поставила глубокую тарелку с водой, а в воду сунула иерихонскую розу, с виду иапоминающую крошечный кустик курая.

И, пока за дверью, в кухне, вскипал чайник (даже здесь было слышно, как весело попрыгивала иа ием крышка), произошло чудо: иерихонская роза расцвела.

То есть она, собствеино, не расцвела да и на розу походила мало, ио вдруг из сухого серого комочка иа всю тарелку раскинулись ярко-зеленые чешуйчатые, иапоминающие тую, побеги.

Тем временем хозяйка всех этих редкостей еще раз перечла Павино письмо, потом зажгла лампу и внимательно рассмотрела все три листа письма на свет.

— Очеиь хорошо! — сказала она.— Большое тебе спасибо! Ну теперь можешь считать свою миссию законченной.

В расчете иа похвалу хозяйки (а Ксаиа Федоровна нравилась ему все больше и больше) Сережа принялся рассказывать, какой у него замечательный товарищ — Женя Гребенюк: ие успели, мол, они прочесть Павино письмо, как Гребенюк уже предложил развешать по городу объявления, что Рожков-Геншке — шпион и провокатор!.. Гость гордо посмотрел иа Ксану Федоровну.

Однако все лицо Шевчук вдруг пошло красными пятиами, пятна иачали сливаться в какие-то бугры, а щеки и лоб ее точно припухли. И мальчик понял: заводить разговор про объявления ие следовало.

— Но мы их ведь и не развешали. Женька наш немножко... трус...

— Так вот,— произнесла Ксана Федоровна, постукивая ребром руки по столу,— ни о каком таком самочинном развешивании объявлений ие может быть и речи! На этот раз с письмом удачно получилось, но вообще дети ие должны вмешиваться в дела взрослых!.. А как ты меня разыскал?

Сережа с облегчением перевел дыхание.

Отыскать Ксану Федоровиу было нелегко. Прежде всего Сережа отправился иа Дальницкую, двадцать, там когда-то жила Франина тетя Поля. Гроза была уже в самом разгаре, дождь лил как сумасшедший. Во дворе дома двадцать ие было ии души, даже все окиа, выходя-

щие во двор, были закрыты. С большим трудом Сережа разыскал дворницкую, но, поглядев на грязные ноги мальчика, дворник к себе его не впустил. Они перекрикивались через форточку.

Грамотная дочка дворника вычитала в домовой книге, что Ксения Федоровна Шевчук из дома двадцать выбыла неизвестно куда.

Расстроенный, мокрый до нитки и голодный, Сережа решил уже было возвращаться домой, как вдруг на втором этаже распахнулось окно. Из него вылетела занавеска, и, жмурясь от бьющего в лицо дождя, старушка в черной наколке поманила Сережу пальцем:

— Ты Ксану Федоровну Шевчук ищешь? Заболел у вас кто-нибудь?

И старушка сообщила, что Ксана Федоровна, когда дочечка ее «схватила этот проклятый коклюш», переехала поближе к морю, на дачу «Отрада», на Ясную улицу. Номера дома старушка не помнила. «Спросишь фельдшерицу... Там все ее знают... В доме с кручеными панычами...»

Сережа так и ахнул. Он тоже великолепно знал дом с кручеными панычами на «Отраде»! Сколько раз он проходил мимо! Это ведь совсем близко от дачи Вальтуха, а он тащился в такую даль!

Слушая рассказ мальчика, Ксана Федоровна внимательно поглядывала на усталое лицо гостя, а потом на окно, за которым все еще бесновалась гроза.

— Оставайся-ка ты у нас ночевать,— сказала она наконец.— Постелю тебе на Наташкиной кровати. Бабушка, конечно, не пустит ее домой в такую погоду... А если вернется — ляжет со мной.

— Она уже поправилась у вас? — вежливо осведомился Сережа, памятуя про «дочечку с проклятым коклюшем».

Ксана Федоровна удивленно подняла на него свои круглые золотистые глаза.

— Да так она вообще здоровая... Только худая очень, купается много.

Ночевать Сережа не остался: домой ему идти недалеко, да и мама будет беспокоиться. Он посидит только, пока высохнет костюм.

За чаем мальчик осторожно — все время поглядывая,

не сердится ли Ксана Федоровна,— рассказал о своем знакомстве с Рожковым-Геншке. Тут конспирации соблюдать как будто не надо было.

— Едем мы с Домочкой, это одна очень хорошая девочка, и с доктором Борисом Макаровичем... — начал Сережа, уплетая вкусный соус из «синих[1] по-гречески»...

— С кем? — переспросила Ксана Федоровна.

— С Домочкой. Это племянница Франи, Павиной невесты...

Ксана Федоровна дослушала его рассказ до конца и, только налив своему гостю второй стакан чаю, спросила:

— А этого доктора Бориса Макаровича как фамилия?

Сережа покраснел. Фамилии доктора он не знал. Дома у них его звали «доктор», «Борис Макарович» или просто «Макарыч»...

Тогда, обхватив Сережу одной рукой за плечи, Ксана Федоровна другой рукой потянулась к подзеркальнику и вытащила огромный черный лакированный альбом с украшениями из перламутра. Такие японские альбомы тоже часто можно встретить в домах моряков дальнего плавания.

Сережа принялся переворачивать плотные, обтянутые блеклым шелком страницы альбома.

А Ксана Федоровна, приняв пустую тарелку, пододвинула мальчику поднос с разрезанной на дольки дыней.

Японский альбом внутри был тоже «дальнего плавания». Сережа любовался бравыми матросами «Добровольного флота», их женами и детьми, сфотографированными на фоне Арбузной гавани, крейсером «Светлана», «испытательным псом с подводной лодки «Керчь», как гласила надпись на карточке, пока не дошел до большой выцветшей фотографии почти в конце альбома. Фотография эта была уже явно «сухопутная». Внимательно поглядев на нее, мальчик перевел глаза на Ксану Федоровну и потом опять на фотографию.

— Это вы?

На желтоватом, малоотчетливом снимке группой расположилась компания молодых людей. Четверо студентов и две девушки были сфотографированы стоя, а у ног их, головами в разные стороны, лежали еще два студента.

---

[1] Синне — так в Одессе называют сннне баклажаны.

Так вот — одна из девушек была, несомненно, Ксана Федоровна.

На фотографии она выглядела моложе, тоньше, но ее, безусловно, можно было узнать по большим круглым глазам, вздернутому носу и полным губам с приподнятыми уголками. Но легче всего Ксану Федоровну было узнать по ее какой-то особенной добродушно-насмешливой улыбке.

— А рядом со мной кто — разобрался?

Сережа пригляделся и даже захохотал от удовольствия. Рядом с Ксаной Федоровной — в вышитой косоворотке под расстегнутой студенческой тужуркой — стоял доктор Борис Макарович. Бедненький! Он и тогда был такой же маленький, сухонький, с пытливыми глазами из-под нахмуренных бровей и сердито выпяченной нижней губой.

— Он? — спросила Ксана Федоровна.

— Он, он! — весело закивал головой Сережа.— А давно вы снимались?

— Давненько... Вытащи карточку, там есть на обороте.

На обороте фотографии Сережа прочел выцветшую рыжеватую надпись: «Стерлитамак, холера 1907 года».

— Это мы ездили на борьбу с холерой,— объяснила хозяйка.

— Ого, больше десяти лет...— Сережа вставил карточку на место и собирался было перевернуть лист.

— А больше никого не узнаешь? — спросила Ксана Федоровна, как-то особенно глянув на него поверх лампы.

И вот Сережа, все больше и больше краснея, сжимая в карманах кулаки, вглядывается в фотографию.

...В деревенской комнатке Кульчицких, над маминой кроватью, висел портрет Сережиного отца, единственный, как говорила мама, сохранившийся «на память о папе». На портрете этом Андрей Кульчицкий был снят еще гимназистом восьмого класса. И вот в студенческой группе Сережа узнал папу тотчас же, как только Ксана Федоровна пытливо посмотрела на него через стол.

Это именно Сережин папа лежал у ног доктора и молодой Ксаны Федоровны, опираясь на локоть. Студенче-

ская фуражка каким-то чудом держалась у него на голове.

— Вы знали моего папу? — закричал Сережа с восторгом.— Ой, подарите мне этот портрет!

— Бери! — сказала Ксана Федоровна.— Нет, подожди-ка,— добавила она, подумав.— Если дарить, так уж последнюю фотографию...— и перевернула еще несколько листов альбома.— Вот эта — последняя,— сказала она печально.

Здесь папа был уже с усами и с бородой, но все равно очень красивый!

Он и еще какие-то люди в полушубках, ушанках и валенках стояли под необычайно мощной, развесистой сосной. «Нет, это не сосна, а, очевидно, лиственница»,— догадался Сережа.

— А вас тут нету... Это тоже на холере? — спросил Сережа и вытащил карточку из альбома. На ее обороте было написано: «Первое мая — по пояс в снегу».

— На холере? — переспросила Ксана Федоровна.— А что, у мамы твоей разве нет такой группы? Да не помню уж, где они снимались.

Сережа забыл и о птице киви, и об иерихонской розе, и о раковине-жемчужнице.

— А почему мой папа ездил на холеру? Ну вы и доктор — это понятно. Но папа мой ведь не был медиком?

— Такая уж у нас была молодежь...— сказала Ксана Федоровна задумчиво. Насмешливое выражение как-то постепенно уходило с ее лица.— Хорошая была молодежь! Где плохо, где трудно — они там были первые. Голод на Поволжье — они едут «на голод»... «На холеру»... «На бубонную чуму»... В городе Верном[1] землетрясение случилось — так, честное слово, всю нашу фельдшерскую школу пришлось на время прикрыть: все там очутились! Разбирали разрушенные здания, питательные пункты налаживали. Да что говорить: в 1905 году, на баррикадах...— Ксана Федоровна вдруг замолчала.— Хорошая у нас была молодежь! — твердо добавила она, точно подводя под сказанным черту.

И тут же ушла на кухню.

— Не досох еще твой костюм,— объявила она, вер-

[1] До революции город Алма-Ата назывался Верный.

нувшись.— Придется еще с часок подождать... А пока расскажи-ка мне о Борисе Макаровиче...

За повествование о докторе Сережа принялся с особенным вкусом. Рассказал о чудачествах Бориса Макаровича. («Милый, милый Ежик!» — приговаривала время от времени Ксана Федоровна.) Рассказал, что когда-то он, Сережа, ненавидел доктора, а теперь очень любит... О «замке», об «инфекционном» отделении валегоцуловской больницы...

Эту часть рассказа Ксана Федоровна прослушала с особым вниманием.

— Большая нужда у них в медицинском персонале, говоришь? — спросила она задумчиво.

А потом уже Ксана Федоровна отвечала на все Сережины расспросы. Больше всего мальчик интересовался папой. И вот выяснилось, какой он был храбрый, веселый, добрый. Без маски входил в «холерные» дома. Забавлял сироток-ребятишек. Самый настоящий театр для них устраивал. Всех взрослых и петь, и играть, и танцевать заставлял!..

— И он красивый был, правда? — спросил Сережа.

Ксана Федоровна вдруг весело расхохоталась.

— Это же просто как назло: девушки в нашей компании все были некрасивые... ну, как я, грубоватые...

Сережа только поднял и опустил глаза. Он промолчал, хотя, по его мнению, Ксана Федоровна была довольно красивая.

— Сейчас меня уже ничуть не волнует, что я толстая. А девушкой я просто мучилась. Меня уж утешают, бывало,— «революционерка не обязана быть красивой».— Ксана Федоровна сердито посмотрела на Сережу и помолчала.— «Фельдшерице, говорят, красоты не нужно»,— поправилась она.— Но вот ребята наши все были красавцы. Как на подбор! Ну, папа твой — еще не так. А муж мой... Ты вот на моего Семена Васильевича полюбуйся! — И сняла со стены кабинетный портрет человека во флотской одежде.— Это он еще кочегаром плавал... Потом экзамен на машиниста сдал.

Вероятно, человек этот — Семен Васильевич — действительно был красивый. Нос у него был прямой, тонкий, с горбинкой. Брови крыльями расходились над гла-

зами. Глаза тоже, очевидно, были красивые — очень заметные на фотографии и светлые.

Но что за чудовищные были у мужа Ксаны Федоровны усы!

Сережин папа на последнем портрете тоже с усами, но у него усы скромно сбегают по уголкам рта и сливаются с курчавой небольшой бородкой. А у Семена Васильевича не усы, а усищи, и к тому же на концах закручены штопором.

— Ну что, красивый был мой Панченко, а?

— Красивый...— не скоро и не очень уверенно ответил Сережа.— А что, он тоже был революционер?

А внутри у мальчика что-то билось и дрожало — он уже великолепно понял: и муж Ксаны Федоровны, и сама она, и его папа были революционеры. А мама? Нет, мамы на этих снимках что-то не видно...

Ксана Федоровна вдруг начала краснеть, и Сережа испугался, что она снова рассердится, но она только улыбнулась.

— Да чего уж там... — махнула она рукой.— Он-то нас уму-разуму и учил! Панченко мой!

Сережа почувствовал смутное беспокойство.

— Позвольте... — сказал он растерянно.— Панченко? Разве ваша фамилия Панченко?

— А у меня ведь двойная фамилия. Фельдшерское свидетельство я на свою девичью получила — на Шевчук...— начала Ксана Федоровна. Она уже несколько минут прислушивалась к чему-то, что происходило за окнами, и вдруг, открыв дверь в кухню, крикнула: — Если ты еще раз явишься после одиннадцати, я тебя не пущу в дом! — И, повернувшись к Сереже, закончила: — А по мужу и по паспорту я — Панченко. Так и на табличке у меня стоит «К. Ф. Шевчук-Панченко». Ты разве не обратил внимания?

— Нет! — сказал Сережа, проглотив слюну.

— И дочка моя — Панченко.

— Наташа Панченко! — пробормотал Сережа испуганно.— А когда же она коклюшем болела? Когда вы перебрались сюда?

— В 1910 году. Как раз, когда трамваи в Одессе пошли...

В кухне кто-то потоптался, взвизгнула абиссинская

кошка, и иакоиец распахиулась дверь. На пороге, отряхиваясь, как щенок, в том же синем, сейчас почерневшем, промокшем платье, отжимая длинные косы, стояла Наташа Паиченко — милая, дорогая «новая» девочка!

Очевидио, с Сережиным лицом что-то случилось, потому что Ксаиа Федоровиа, поглядев на иего, перевела взгляд иа дочку:

— Вы что — знакомы уже?

— Мама,— сказала Наташа,— я ие иарочио сегодия опоздала... Больше этого ие повторится!.. Да, мы зиакомы. Мама, это ведь тот мальчик, что хотел утопить иемца!..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Любовь

Что такое любовь?

Сережа решил завести дпевник. Он вырвал из начатой общей тетради исписанные листки, вынул их выпадающие половинки, вырезал иа клеенчатой обложке сердце, а в ием — две крохотиые буковки «Н. П.», Наташа Паиченко.

Что надо было делать дальше, он ие знал. Для чего пишутся дневники, Сережа тоже ие знал.

Для того чтобы ие забыть потом, что с ним происходит?

Господи, да он не только деиь за днем или час за часом — он даже минуту за минутой сможет восстановить все, что переживает сейчас!

Сережа долго ие мог усиуть, перебирая в памяти все подробности своего визита в дом с кручеиыми паныгами.

...Костюм ему гладила ие Ксана Федоровна, а сама Наташа. Когда Сережа узнал, что уже около двеиадцати, и испугался, Наташа сначала засмеялась:

— Мама, напиши ему, пожалуйста, увольнительную записку.

Но Ксана Федоровна ее пристыдила.

За две недели, что Сережа пробыл в деревне, Наташа, оказывается, познакомилась с Вадимом и Женькой.

— Нужно же мне было узнать, куда ты делся и вообще что с тобой,— сказала она небрежно.— Я даже с вашей Олькой познакомилась, нашла ей третьего квартиранта на тот случай, если ты не вернешься.

«Это она ради меня! Милая, милая, милая «новая» девочка!»

Самое волшебное заключалось в том, что у него с Наташей Панченко появилась «своя тайна».

Произошло это следующим образом.

Прочитав Павино письмо, Ксана Федоровна сказала с легким сожалением:

— Ты так хорошо его склеил, что даже жалко уничтожать,— и тут же разорвала письмо на куски.

У Сережи даже губы задрожали — он письмо уничтожать и не собирался.

Эти несчастные клочки бумаги мать из рук в руки передала выглянувшей из кухни Наташе.

— Как кончишь гладить, разгреби хорошенько огонь в плите и сожги! Только трубу открой совсем, чтобы сажи не налетело.

Сережа, отлично понимая, до чего он смешон в кургузом халатике, поспешил все-таки за Наташей на кухню.

Здесь больше знаками, чем словами, Сережа объяснил, что письмо-то, собственно, адресовано Фране. Может быть, Франя и уехала, но она пообещала еще зайти к Веде до отъезда. Будет просто ужасно, если она не прочтет того, что ей пишет жених!

На кухне Сережа с Наташей попытались снова сложить Павино письмо. Больше всего Наташу растрогали слова: «Франечка, может, нет уже у меня права так тебя называть? Четыре года ждешь, может, уже надоело?»

— А не надоело ей? — спросила Наташа серьезно.

Сережа только отрицательно покачал головой.

— А Пава ее хороший?

— Очень хороший... То есть я-то его не знаю, но Женя и Вадя говорят, что он очень хороший.

— Чего вы там возитесь? — спросила Ксана Федоровна из-за двери.

Наташа, набрав в рот воды, громко фыркнула, брызгая Сережины брюки.

— Я глажу,— отозвалась она спокойно.— Ты, конечно, пересушила штаны.

А сама сунула клочки бумаги в карман Сережиной уже выглаженной курточки:

— Дома склеишь! Но, смотри, если Франя не приедет!..

И Сережа шепотом поклялся, что подождет три дня, и, если Франя не приедет, он сожжет это злосчастное письмо собственноручно.

— А ничего как будто получилось! — заметила Наташа, оглядывая своего гостя в лоснящемся, отлично выглаженном парусиновом костюме.— Это мне кажется или ты действительно подрос немножко?

Сережа почти благоговейно смотрел на нее и молчал.

— А Женька Гребенюк ваш забавный... И мне нравится, что он не юнкерочек...— сказала Наташа.

— Как? — не понял Сережа.

— Ну, не юнкерочек, не белоручка,— объяснила девочка.— Многое умеет делать. И он, по-моему, очень остроумный.

И Женька Гребенюк, скуповатый, хитроватый, трусоватый, которого Сережа и Вадя любили больше по привычке, вдруг открылся с какой-то своей новой, прекрасной стороны. Кто всегда ведает хозяйственными делами детской? Женька! Кто отвирается, когда надо обмануть Ольгу Ивановну? Женька! Кто додумался вскрыть Павино письмо? Женька!

Да Гребенюк, собственно, и не скупой... Им — Сереже и Вадиму — вообще никогда ничего не жалко: бери у них что хочешь. А Женька жалеет, но все-таки отдает. Он именно так и говорит: «Жалко мне очень, но, ничего не поделаешь, бери!»

У Сережи даже слезы выступили от умиления. Неужели же им с Евгением и Вадимом придется скоро расстаться? А ведь угрожающие симптомы близкой разлуки были налицо, только сейчас Сереже не хотелось об этом думать.

Наташа пошла провожать своего гостя до калитки.

— Мы на ночь всегда ее запираем на замок,— объ-

яснила девочка. И, как только они очутились за дверью, добавила: — Ну, как тебе моя Ксана?

— Как — как? — не понял Сережа.— А-а-а... По-моему, она очень хорошая! — сказал он от чистого сердца.

— По-моему, тоже! Папину карточку тебе показывала?..— спросила Наташа улыбаясь.— Ага, значит, ты ей тоже понравился...

Утром, спрятав неначатый еще дневник на самое дно своей корзины, Сережа отправился в поход. Он побывал у Садовских, у Стрельченко, у Черемушенко, у Васильевых (у них очень хорошая библиотека) и вернулся с целой кипой книг под мышкой.

— Ага, взялся наконец за ум! — сказала Ольга Ивановна, встретившись с ним на террасе.

В двенадцать часов к Сереже заглянул Коля Черемушенко.

— Ты что это, Сергей, тоже к переэкзаменовке готовишься, а?

— Да. Не мешай! — ответил Сережа, локтем заслоняя тетрадь.

Настоящего дневника он, собственно, еще не начал, но уже около десятка страниц исписал выдержками из принесенных книг:

Любить — это небо похитить у бога
И небо за ласку отдать.

Как мальчик кудрявый, резва,
Нарядна, как бабочка летом,
Значенья простого слова
В устах ее полны приветом.

Сережа сделал много выписок из Пушкина, Лермонтова, Алексея Толстого, даже из «К. Р.». Это, правда, Константин Романов,— какой-то там предок бывшего царя, но у него о любви хорошо получается... Больше всего Сереже понравилось все-таки стихотворение Жуковского. Он переписал его целиком.

Ты предо мною
Стояла тихо,
Твой взор унылый
Был полон чувств,
Он мне напомнил

О милом прошлом,
Он был последний
На этом свете...
Ты удалилась,
Как тихий ангел,
Твоя могила,
Как рай, спокойна...
Звезды небес...
Тихая ночь...

Стихотворение это буквально ничем не напоминало Наташу. Не напоминало оно ни на йоту и Сережиных чувств к Наташе. Начать с того, что «стоять тихо» Наташа вообще не смогла бы. А «взор унылый»! А «тихий ангел»!..

Но Сереже нравилась тонкая, щемящая тоска, исходящая из каждой строчки стихотворения... И потом — какое чудесное слово «удалилась»! Не «ушла», а именно «удалилась»!

Ты удалилась,
Как тихий ангел...

После обеда Сережа удалился на берег моря. Стояла такая жара, что даже морские ласточки сидели на камнях с разинутыми клювами. А Сережа шагал по раскаленному песку и повторял вслух:

Твоя могила,
Как рай, спокойна...

Во всех выписанных им стихах о любви обязательно говорилось еще и о природе:

Растворил я окно,— стало душно невмочь,—
Опустился пред ним на колени,
И в лицо мне пахнула весенняя ночь
Благовонным дыханьем сирени.

Конечно, можно было бы в дневнике описать море, скалы, ласточек... Но вода, как назло, была грязно-бутылочного цвета, еле заметно наплывали маслянистые волны, отороченные грязноватой же желто-белой пеной. А ласточки с разинутыми ртами были похожи на больных цыплят. Правда, небо было того сильного незабудочного цвета, который, как и незабудки, переходит иногда в розовые тона, но как об этом напишешь! По дороге к обрыву сверху донизу курились красные дымки пыли.

Точно на невидимой резинке — то поднимаясь, то опускаясь — покачивались облачка мошкары...

Нет, это, конечно, не благовонное дыхание сирени!

...Жалко, что Вадька и Женька, кажется, скоро расстанутся с Ольгой Ивановной.

«Полный пансион» О. И. Веде действительно как будто трещал по всем швам.

Женя Гребенюк получил от отчима третье угрожающее письмо. Никто в роду отчима и никто из его друзей и компаньонов не получал образования выше четырехклассного городского училища. Дела крупорушки идут хорошо, но отчиму необходим свой человек, который мог бы вести счета.

И отчим требовал, чтобы Евгений немедленно вернулся домой.

Правда, Женина мама внизу письма сделала каракульками приписку, что, мол, она все с себя продаст, но даст Женечке закончить хотя бы гимназию. С верным человеком она уже послала Ольге Ивановне деньги за два месяца, смальцу[1] и пятнадцать фунтов домашней колбасы.

Однако вопрос все-таки остался открытым.

С Вадимом Шалыгиным дело обстояло несколько иначе. Как-то вечером Веде позвала его к себе в комнату.

— Твой отец уже неделю назад сообщил мне, что собирается взять тебя к себе, в Дофиновку. Так вот: не за горами начало учебного года — мне нужно точно знать, останешься ты на зиму или нет. Тогда придется отказать и Сереже, а комнатой распорядиться иначе... Мне кажется, Евгений тоже уедет домой.

Здесь Ольга Ивановна несколько уклонилась от истины: с тех пор как в доме появилась Кульчицкая, Ольга Ивановна переложила на нее все хозяйство. Идея «домашних обедов» овладевала ею все больше и больше.

Однако и мысли о красивом штабс-капитане не давали Веде покоя.

— Дофиновка не Новый Свет,— добавила Ольга Ивановна, когда Вадим собрался было уже уходить.—

[1] Смáлец (укр.) — топленое сало.

Великолепно можешь съездить к отцу и выяснить все на месте. Повези, кстати, ему сахару,— добавила Веде великодушно.— В деревнях, говорят, его совсем нету... Там, правда, какая-то пограничная зона, но я пропуск тебе достану.

И через два дня Вадим уехал в Дофиновку, но не лодкой, как ему хотелось, а подводой. Сахару для отца он у Ольги Ивановны не взял.

В первый день Сережа даже как-то не заметил Вадиного отсутствия. Он был занят переписыванием стихов и собственными переживаниями. Однако уже на следующий день мальчик почувствовал себя очень одиноким.

С мамой после ночного визита в дом с кручеными панычами они почти не разговаривали. Она на него сердилась и, конечно, была права.

В том, что она не позволила повесить папин портрет, тоже был свой резон: нечего возбуждать «Олькино» любопытство... Но сказать об этом можно было бы иначе!

Давно уже мать с сыном не говорили по душам. От своих хозяйственных дел Нина Леонидовна освобождалась не раньше восьми вечера, а Сережа к этому времени обычно уже исчезал: теперь они с Гребенюком ежедневно засиживались у Панченко.

Веде, готовясь к своей новой деятельности, варила на зиму повидла, варенья, перетапливала сало и масло. То есть занималась этим все та же Кульчицкая, но под высоким руководством Ольги Ивановны.

Нина Леонидовна теперь ежедневно возвращалась с базара с двумя огромными корзинами. Наташа, повстречав как-то Сережину маму у трамвая, взялась донести ей одну из корзин до дачи.

— Ну и ну! — сказала она укоризненно.— Сергей, почему ты разрешаешь маме так надрываться?

Сереже стало стыдно, но он промолчал.

— Ты себе представляешь, чтобы ваша Олька так помыкала моей мамой? Или даже мною? Ей-богу, Нина Леонидовна, она еще когда-нибудь заставит вас ей ботинки чистить!

Нина Леонидовна краснела и отмалчивалась. А ботинки Ольге Ивановне она, откровенно говоря, уже чи-

стила. Да и как тут не почистить, когда Ольга Ивановна выйдет на террасу и скажет жалобно:

«Как надену корсет — совсем не могу нагнуться... Зову мальчиков, а их нигде нету... Нина Леонидовна, голубчик, не в службу, а в дружбу, обмахните мне немножко туфли щеткой!»

Когда Нина Леонидовна ушла из комнаты, Наташа сказала укоризненно:

— Видишь, мама на тебя в обиде. Носить ей корзинки должен ты, а не посторонние люди!.. Или, вернее, ни ты, ни она не должны носить для Ольги Ивановны корзин. И ты с мамой должен поговорить обо всем. Чтобы ничего невыясненного между вами не оставалось... У нас с мамой тоже постоянно выходят стычки. Это — пока мы не поговорим как следует... Вот заметь: если у тебя есть что-нибудь против Жени, или Вади, или меня, поговоришь — и все тут же рассеется!

Но как тут поговоришь, если, как только Наташа подходит к нему, Сережа теряет дар слова. Даже больше: когда она, по своей привычке, ласково берет его за плечо, или за локоть, или за пуговицу куртки, Сережа просто отшатывается от нее. Точно какая-то невидимая стена стала между ними. То, что он, Сережа, когда-то собирался поцеловать Наташу, сейчас казалось ему просто кощунством.

В клеенчатой тетради стали появляться первые робкие записи.

«14/VII. Был у Н. П. Пили чай с пончиками. Н. П. уронила ложку. Мы оба нагнулись и стукнулись лбами».

«Вечером 14/VII. Если завтра не будет комаров, пойдем к Шапошниковым на крокет».

«15/VII. Были ужасные комары, но мы все-таки играли. Н. П. сказала, что я неплохо играю. Скучно без Вадима».

«22/VII. Спросил маму, писала ли она когда-нибудь дневники. Мама сначала сказала, что нет. А потом поправилась: «Писала, когда была влюблена в твоего папу». Неужели она о чем-нибудь догадывается?»

«24/VII. Ксана Федоровна хорошо сказала: «Люди, наверно, потому ведут дневники, что им не с кем поде-

литься своими мыслями». Хоть бы скорее приехал Вадим!»

«27/VII. Н. П. поссорилась с Гребенюком. Я их не мирю, п. ч. Женька действительно грубая скотина!»

«28/VII. Н. П. помирилась с Женькой».

«29/VII. Приехал Вадим. Но он какой-то странный. Я все равно ничего не смогу ему рассказать!»

Вадим приехал 29-го на рассвете. Он очень загорел и как будто похудел. Хотя вообще-то Вадим темный, но сейчас волосы его отросли на шее двумя белыми косицами.

Ольга Ивановна и Нина Леонидовна были уже на ногах. В доме пахло абрикосовым повидлом.

— Отец просил вам передать, что за мой пансион заплачено по конец августа и с первого сентября вы можете распоряжаться комнатой по своему усмотрению,— объяснил коротко Вадя, когда Ольга Ивановна засыпала его градом вопросов.

— Очень приятно! — произнесла Ольга Ивановна и поджала губы.— Вот вам и благодарность! — шепнула она Нине Леонидовне.— Да и чего, собственно, от них ждать! Вадим у него только две недели пробыл, а смотрите, в какого мужичонку превратился.

Но Вадя, оказывается, передал еще не все, что поручил ему штабс-капитан.

— К началу сентября,— добавил он,— отец приедет и обо всем с вами договорится.

Веде пытливо посмотрела на своего «воспитанника». Слышал ли он ее замечание? Может быть, рано еще ставить крест на штабс-капитане?

— Я говорю — ты за две недели совсем в мужичонку превратился! — повторила она другим, ласковым, тоном.— Придется сегодня же вам всем выдать деньги на стрижку.

Худой, черный и строгий Вадим заглянул в детскую. Гребенюк еще спал. Сережа, к Вадиному удивлению, уже сидел за столом и писал что-то. Он спрятал тетрадку в стол, как только Шалыгин открыл дверь. Но Вадя на все это не обратил внимания. Он сейчас мало на что обращал внимание.

— Сергей, Женя, пошли к морю — надо поговорить! — произнес он тоном, не терпящим возражений.—

Я, вероятно, пробуду здесь до конца августа. Мы еще многое успеем сделать! Сережа, сбегай немедленно, позови Наташу!

Хорошо, что в доме у Панченко рано встают. Наташа на довольно невразумительное приглашение Сережи только подняла брови и тотчас же отправилась за ним к морю.

— Вы слыхали что-нибудь о Моревинте? — говорил Вадя, твердо ступая по тугому песку и все время оглядываясь на свои следы.— Это означает Молодежный революционный интернационал. Вся рабочая молодежь идет в Моревинт.

Товарищи Вадима о Моревинте ничего не слыхали.

— Ей-богу, мы сидим здесь и киснем! А там... у меня просто голова кружится! Что делается! Немцы уже в панику ударяются! Отец говорит, что сейчас их буквально каждый пустяк может довести до истерики. И их до-во-дят... Не тут, конечно, не на Малом Фонтане, а в рабочих районах, на селе... Как я их ненавижу! Ах, как я их всех ненавижу! — повторил Вадим, бледнея.— Уж хотя бы за одно то, что отец кашляет кровью... Мерзавцы!

— Хорошо,— сказала Наташа мягко.— А может, сейчас где-нибудь в Берлине какой-нибудь сын проклинает русских за то, что его отец остался без руки или без ноги!

— Ну и пусть проклинает... Царя там... министров или Керенского... Но, во всяком случае, не наших же рабочих и крестьян!

— А ты что думаешь, у немцев нет крестьян и рабочих?

— Ну и пускай бы устраивали у себя революцию, а не лезли к нам за нашим хлебом и салом!

— А может быть, они и устроят революцию,— насмешливо сказала Наташа.— Только надо им дать знать о твоем согласии. Но что ты хотел сказать о Моревинте?

— Я предлагаю всем нам вступить в кружок революционной молодежи,— произнес Вадим торжественно.— Мы, правда, еще не проверены. Мы еще ничего такого не сделали... Или давайте основаем пока собственное общество. Пусть даже это будет не Моревинт, а какой-нибудь

кружок «Готовнмся в Моревннт». Отец говорнт, что очень важно поселнть в немцах неуверенность в нх снлах... Ах, что там, в Дофиновке, ребята делают! И они ннчуть не старше нас с вамн! Продырявилн дно катера немецкой береговой охраны. Срывают объявлення немецкнх оккупацнонных властей. Мы тоже можем сделать что-нибудь в этом роде...

— А ведь здóрово! — закричал Гребенюк.— Катер не катер, но лодку, в которой немцы ездят к неводу за рыбой, свободно можно потопнть! А потом на Кулнковом поле — конюшнн немецкне. Мы ходнлн туда с Колькой Семененко. Конюхн — австрнйцы... Мы нм — «пане, пане», папнросочкамн нх угощали. Колька — в основном. Онн даже дали ему одну лошадку поводнть... Так вот можно этнм лошадям в корм чего-нибудь подсыпать...

— Фу, Женька, как тебе не стыдно! — возмущенно закрнчал Сережа.

— Жаль, что я не захватнл с собой в Дофиновку Павиного письма! — пробормотал Вадим с досадой.— Я, конечно, не ручаюсь, что ребята, которые бывают у отца, партизаны, но все-таки нх не мешало бы поставить в известность о Рожкове...

Сережа боялся поднять глаза на Наташу. А она точно окаменела от негодовання. Сереже казалось, что онн вот уже несколько мннут стоят молча.

— Что это ты надулась, как мышь на крупу? — спроснл Гребенюк.

— Ты, ты!.. — выкрнкнула наконец Наташа.— Ты не порвал пнсьма! Ты же обещал!

— Я уверен, что мы еще увндим Франю,— пронзнес Сережа дрожащим голосом.— Это ведь ты случайно... то есть это я случайно сказал: «Трн дня»...

— А почему ты краснеещь? — спроснла девочка презрительно.— Почему ты не смотрншь мне в глаза?

И, круто повернувшнсь, Наташа быстро зашагала прочь.

— Герцогння Падуанская! — крикнул Гребенюк ей вдогонку.— Вот уж воображает о себе! Снл просто ннкаких нет!

Сережа молчал, сжнмая в карманах кулакн.

— Собственно, отчасти Наташа права,— осторожно поглядев на него, начал Ваднм.— Отец говорит, что сейчас нужно соблюдать большую осторожность. В Дофиновке, например, были повальные обыски.

— Так то Дофиновка, а это Малый Фонтан — самый аристократическнй, как говорнт Олька, район Одессы! — захохотал Гребенюк.— И при чем тут твой отец?

— Вообще-то нн при чем. Просто он опытнее нас с вами...— сказал Вадя задумчиво.— Конечно, тут опасности, безусловно, меньше. Но все-таки, когда я на рассвете подъезжал к даче Вальтуха, из дачи Финкеля немцы под конвоем вывели двух арестованных.

Женька погудел носом, потом высморкался.

— Ну, пошли наверх, а то мы еще останемся без завтрака! — сказал он наконец.

Весь крутой подъем к даче Вальтуха товарнщи прошлн молча.

— Слушайте,— сказал Гребенюк у самой калитки,— только не думайте, пожалуйста, что я трус или что-нибудь в этом роде. Но еслн что делать — так надо делать с толком! Ну, организуете вы это самое отделение Моревннта... А что пользы? Даже дно лодки пробуравить — и то нужен ннструмент!.. А письмо Павино обязательно необходнмо уничтожить — сжечь или разорвать! Сережка, еслн ты этого не сделаешь, я сам полезу к тебе в корзинку... Честное благородное слово! И, знаете,— Женька приложнл руку к сердцу,— ей-богу, бросьте вы этот самый Моревинт!.. Только не думайте, что я все это из трусостн...

— Нет, это ты, конечно, из храбрости и благородства! — сказал Вадим с иронией.

В дневнике снова появились записи:

«29/VII. Н. П. рассердилась на меня за то, что я не уннчтожил Павиного пнсьма. Все кончено!»

«29/VII вечером. Мы с Вадимом уговорнли Н. П. Ведь действительно еще нензвестно — уехала Франя или не уехала. Она уедет только в том случае, еслн не устроится на работу. А вдруг она устроится? Гребенюка Н. П. почему-то нн в чем не винит. Он, мол, такой, как есть, только не надо посвящать его во все тайны».

«30/VII. К. Ф. П. собирается уезжать к Борису Мака-

ровичу. Н. П. очень не хочется ехать. А это ведь я во всем виноват — для чего мне нужно было болтать о Борисе Макаровиче! П. уедут не раньше чем через десять дней. Итак, мне осталось десять дней жизни!»

Больше записей в дневнике не было.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Пощечина

Панченко уехали из Одессы гораздо раньше, чем предполагал Сережа. И как это он не почуял надвигавшейся на него беды!

В воскресенье, 1 августа, Вадим потащил Сережу на Слободку-Романовку, в танцкласс. Ей-богу, этот Вадим после Дофиновки совсем спятил с ума!

— Меня Генка Довбиш позвал,— объяснил он.— Он сказал: «Потанцуем и... вообще...» Ты понимаешь, Сергей?

Сережа ничего не понял.

— Да господи, железнодорожники! Фабрика «Жако»... — сказал Вадим.— Вот где мы безусловно встретимся с настоящими рабочими-моревинтовцами... Разве стали бы такие ребята, как Генка, тратить время на обыкновенные вечеринки!

В танцкласс нужно было добираться трамваем, а потом пешком — грязной, немощеной улицей, мимо Дюковского сада и психиатрической больницы. Кроме того, мальчики не были уверены, пустят их на танцы или не пустят.

На вечеринку Вадима и Сережу пустили, но это ничуть не было подпольное собрание. Просто несколько парней из железнодорожных мастерских и с фабрики «Жако» сложились, наняли «одну гитару» и «две мандолины», накупили дешевых конфет, орехов и халвы, для

барышень — напитка «фиалка», для себя — водочки и устроили танцы. В танцкласс пускали и постороннюю платную публику. Те, кто заранее в складчине не участвовал, должны были у входа внести пай по полтиннику с человека. Тут-то мальчики и просадили свои последние деньжки: Вадим — тридцать пять копеек, а Сережа — шестьдесят пять из выданных ему мамой денег на ранец и учебники.

Шалыгин и сам отлично танцевал и всегда бывал распорядителем на гимназических вечерах. Подхватив какую-то хорошенькую работницу с «Жако», он тотчас же пустился скользить по некрашеному, но обильно посыпанному тальком полу.

Сережа оглядел «публику». Все-таки это была самая настоящая «танцулька». Гитара и обе мандолины работали без устали.

Набилось народу много, но зал был невелик — посреди вертелись только пять-шесть пар. Остальные либо дожидались у стены своей очереди, либо утешались в буфете.

Очень румяная белобрысенькая девочка, лет четырнадцати-пятнадцати, решительно подошла к Сереже.

— Что ж, нам до ночи так стоять? Меня Соня зовут... Не нужно нам ихней халвы!.. Пошли, что ли?

Гитара и мандолины заиграли польку-кокетку. Это был, кажется, единственный танец, который Сережа знал. Но и полька-кокетка ничего, кроме огорчения, Сереже не принесла...

Несмотря на внесенный пай, к буфету, то есть к столу с угощением, ни Сереже, ни его даме пробиться не удалось. А когда они с Соней, оказавшейся тоже не бог весть какой балериной, налетали на танцующих, в зале смеялись особенно громко.

— Это вас так в гимназии учат? — неслось им вдогонку.

— Паныч, не наступай на туфли — пять рублей плачено!

И Сережа еще больше путал па, еще неуклюжее поворачивал свою даму, пока Соня наконец над ним не сжалилась.

— Вот народ дикий какой! — сказала она с досадой.— Как кто чужой придет — засмеют!

И не Сережа — ее, а она — Сережу, завертев, посадила на место.

Гитара и обе мандолины приумолкли. Гитарист, расстелив на коленях большой красный платок, принялся бережно укутывать свой инструмент. Кто-то задул одну из четырех ламп — это был сигнал заканчивать вечеринку.

Мальчиков в тесной толпе вынесло на улицу. В кромешной тьме люди прощались, пересмеивались, прикуривали, поворачивали в разные стороны. Скоро Сережа и Вадим остались почти одни — им нужно было в город, к трамваю, а все остальные были, как видно, местные, слободские.

— Ну, как тебе вечеринка? — спросил Шалыгин.

Сережа сердито промолчал.

— Пройдем разок мимо окон,— предложил Вадим.— Генка, кажется, еще тут...

— На последний трамвай опоздаем,— пробормотал Сережа.

Но они все-таки медленно прошлись мимо освещенных окон танцкласса.

Лучше бы Сережа и Вадим этого не делали. Они тогда не видели бы, с каким нетерпением кинулись «распорядители» танцульки к ящику с выручкой.

Геня Довбиш и еще какой-то паренек в синей рубашке, весело переговариваясь, рассовывали деньги по карманам.

— Плакали твои «Тасмания», и «Гватемала», и «Австралия» с черным лебедем! — сказал Сережа с горечью.

Обидно было, конечно, не то, что на эти свои тридцать пять копеек Вадим не купит марок для коллекции, и даже не то, что Сережа тронул деньги, выданные мамой на ранец и учебники... Обидно было, что Генка Довбиш оказался совсем не таким «серьезным парнем», за какого его принимал Вадя Шалыгин.

— Любопытно, о чем это таком интересном они сейчас говорят? — заметил Сережа, заглядывая в окно.

— О водочке и о селедочке! — отрезал Вадим сердито.

Разговор между устроителями вечеринки шел, однако, совсем не о водке и не о селедке.

— Сто шестнадцать рублей пятьдесят копеек! — сказал парень в синей рубахе с удовлетворением.— Пусть теперь молдаванские и пересыпские спрячутся: у нас уже около пятисот рублей в кассе!

— У них тоже, наверно, не меньше... — отозвался Довбиш.— А где же мои гимназисты? — спросил он, оглядевшись.— Так и не прощупали их, а?

— Этого твоего Вадима Шалыгина я щупал... Помоему, напрасно тратились ребята... С учкомом не связаны, да никогда связаны и не были... В гимназии неавторитетны. Расспрашиваю его о Керенском, о Временном правительстве, а он — ни бе ни ме... Ну, был бы он темный человек, из деревни, я еще понимаю, но ведь грамотный как будто парень, а путает... Маленького я уже и проверять не стал... Революционеров, Генечка, из них не получится!

Домой Сережа с Вадимом добрались далеко за полночь. Трамваи уже не ходили, пришлось тащиться пешком. На робкий стук им открыла Нина Леонидовна и сунула каждому по куску хлеба с маслом.

— Спички и свеча у вас на столе,— шепнула она. И вдруг добавила: — Такое огорчение: Панченко, оказывается, уезжают завтра на рассвете. Наташа приходила прощаться...

Вадя с ожесточением чиркнул спичкой по отсыревшей коробке.

— Завтра на рассвете?! — Сережа сжал в карманах кулаки.— Значит, мы больше не увидимся?..

От света проснулся Женя Гребенюк.

— Женька, что Наташа тебе сказала? — быстро спросил Вадя.— Как же это так? Еще сегодня утром никто ничего не знал! А почему она нас не дождалась?

Гребенюк сонно почесывался.

— Что-то там у них вышло,— сказал он хрипло.— Они утром и сами еще не знали, что уедут... Наташа ни минуты не хотела ждать... Влетела как сумасшедшая, чуть Сережкину корзину не перевернула.

— А почему моя корзина на середине комнаты? — спросил Сережа, мучительно припоминая, где может быть его клеенчатая тетрадь.— Терпеть не могу, когда трогают мои вещи!

— Ничего твоей корзине не сделалось! — заметил Гребенюк миролюбиво.— Стулья на террасе. Лень было таскать. Наташа только на минутку присела!.. Она мне подарила медальончик...

— Бре-е-е! — протянул Сережа недоверчиво.

— Ничего не «бре»! — Женя сунул руку за пазуху.— Вот, пожалуйста,— «на добрую память»... А я ей дал альбом, что вы мне на именины подарили... — Гребенюк гордо взвесил на ладони легонький медальон.

— А какое право ты имел отдавать ей альбом? — вдруг спросил Вадим, сильно бледнея.— Мы же тебе его подарили!

— Плюнь, Вадька! — попытался остановить его Сережа.

Но Шалыгин с силой отбросил его руку.

— Дай-ка листок бумаги! — сказал он, тяжело дыша.

Сережа открыл свою корзинку. Клеенчатая тетрадь оказалась на месте, но...

— Кто рылся у меня в корзине? — спросил Сережа испуганно.

— Наверно, этот идиот за письмом лазил, он ведь честное слово дал,— сказал Вадим презрительно.

Сережа вырвал листок из дневника, и Шалыгин написал:

«Наташа! Перед отъездом обязательно зайди! Хотя бы в пять часов утра. Вадим».

— Чего ты роешься, Сергей! — сказал он нетерпеливо.— Пошли! Может, Панченки еще не спят, тогда поговорим... А нет — записку в окно бросим.

Но Сережа в третий раз принялся перекладывать вещи в корзине.

— Вадька, Павиного письма нет! — сказал он с тревогой.

— Письмо у Женьки,— отозвался Вадим спокойно.— Пошли!

— Женя, письмо у тебя? — повернулся Сережа к Гребенюку.

— Какое письмо? Не брал я никакого письма! — пробормотал тот испуганно.

— Брось! А где же оно? — спросил Шалыгин.

Женя все еще держал медальон на ладони, Вадя вы-

хватил его и, прорывая марлю, швыриул медальон за окно.

— Немедленно давай письмо! — закричал он, сжимая кулаки.

— Да не трогал я письма... Отцепись от меня, пожалуйста! — всхлипнул Женя.— Сережка, скажи что-нибудь этому сумасшедшему! Честное слово, я письма сейчас даже не видел... Посидели минуточку с Наташей. Может быть, Наташа его взяла? Я уже спал, когда она влетела...

Не успел Сережа пошевельнуться, как Вадим ударил Женю по лицу. Бил он ие раскрытой ладоиью, а кулаком, иаотмашь, самым страшным ударом.

Сережа в ужасе поднес обе руки к лицу. За пять лет он ии разу не видел, чтобы его товарищи дрались.

— Не смей так говорить о Наташе! — прошипел Вадим.— Ты ее подметки не стоишь! И чтобы немедлеино было письмо — иначе я тебя убью!.. Сережка, идем скорее!

— Да они, наверио, спят давно! — пробормотал Сережа, надевая фуражку.

С иеба точно просыпался долго сдерживаемый гром и упали две-три тяжелые капли. Недаром последние дни стояла такая духота. Теперь одна за другой пойдут грозы, ио ни людям, ни баштаиам это не поможет. Июльские грозы в Одессе, как правило, бывают «сухие», а дожди уходят в открытое море.

Слыша за спиной громкие всхлипываиия Женьки, Сережа остановился было, но Шалыгин сильно дернул его за руку.

— Не обращай внимания! — сказал он сердито.— А Наташе надо будет все рассказать про этого типа!

Стало совсем темно. Только изредка неожиданно из мрака выступал то угол дома, то дерево, то телеграфный столб, освещаемый мгновенной молнией.

Дождь уже не накрапывал, но в небе, за тучами, стоял непрекращающийся шум, точно в огромной мельнице мололи кофе. А иногда небо, земля и море озарялись, ио уже не молнией, а ровным иепоиятным белым светом.

Оступаясь в темноте, мальчики добрались до Ясной улицы.

В окиах дома с кручеными панычами света не бы-

ло, ио Сережа понял, что это еще ие конец — Вадим все время сжимал его руку сухой, горячей рукой.

— Обойдем кругом! — сказал он.— Наташина комната там.

Однако и в выходящих во двор окнах отражалось только сияние далеких зарниц.

— Темно. Спят... — пробормотал Вадим. Калитка была на замке, но мальчики немедленно перелезли через ограду. Шалыгин тронул дверь, ведущую на крытую лестницу. Дверь была заперта.— Придется влезть наверх и как-нибудь зашвырнуть записку!

— Вот Наташино окно! Я могу по дикому винограду влезть...— предложил Сережа.— Слушай, Вадим, там даже, кажется, горит ночничок. А может быть, это зарницы отражаются. Только я не знаю — удобно ли?..

— Удобно, давай! Завтра они уезжают. Мне необходимо попрощаться с Наташей!

Сереже тоже было необходимо попрощаться с Наташей, но он промолчал.

— Ты что, боишься лезть? — спросил Вадим насмешливо.

— Я не боюсь, а ие хочу,— сказал Сережа твердо.

Шалыгин внимательно посмотрел на него. И вдруг пробормотал с раскаянием:

— Сережка, прости, я просто скотина — раскомандовался!.. Это Женька, поиимаешь, довел меня черт знает до чего...

Сережа молчал.

— Подождешь меня? — спросил Шалыгин.— Я только влезу, брошу записку и обратно!

Сережа молча кивнул. С Шалыгиным сегодня что-то случилось. Пожалуй, не надо ему противоречить.

Вадим схватился за корявый, сильно дрогнувший ствол дикого винограда и потянулся на мускулах. Мокрые листья мазнули его по лицу, потом что-то больно укололо ладонь. Добравшись до второго этажа, Вадя осторожно ступил на карниз.

Слабый свет в Наташином окне ие был отражением зарниц — на столе в комнате горела обыкновенная лампа-«молния», затенеиная вдвое сложенной газетой. Вадя изловчился и почти лег на карниз, заглядывая в окно. Ни Наташа, ни Ксана Федоровна еще не спали.

Вокруг большого стола сидели люди. Вадим пересчитал их в уме — три, четыре, пять... Наташа вышла, потом вернулась с подносом и поставила перед каждым из сидящих по стакану чая. Люди за столом внимательно разглядывали разложенные на столе крупно исписанные листы. Листов, конечно, три. Склеены они или нет — отсюда не видно... А кто же эти все, находящиеся в комнате?

Все — это Ксана Федоровна Панченко, какой-то человек с узенькой желтой бородкой, Наташа Панченко и четверо немецких солдат!

— Наташа! — вдруг громко позвал Вадим.

Хорошо, что вокруг него все гремело и урчало, и Сережа снизу ничего не расслышал. «Бедный Женька! Ни за что получил пощечину!»

Те в комнате кончили читать. Один из немцев закурил и повернулся к окну.

— Вадька, ну как там? — спросил Сережка пронзительным шепотом.

«Сергей совсем не злится, значит, прошло еще не так уж много времени...» Вадим полез по карнизу и, скользя и оступаясь, взобрался на крышу. Опять загрохотало. Туча, как ком земли, распалась на несколько темных кусков, разделенных тонкими корешками молний.

Внизу Вадим увидел блестящую волнующуюся массу деревьев, правильный квадрат двора и слева — совершенно белое море. Раскачавшись на руках, он спрыгнул на землю.

— Я облазил кругом, дом пустой,— сказал он хрипло.— Они уехали...

— А ночничок?

— Это не ночничок, это вправду отражались в окне зарницы...

— А сказали — уедут завтра утром... — пробормотал Сережа с отчаянием.

— У тебя нет больше бумаги?..— спросил Шалыгин, не вступая ни в какие объяснения. И тут же, ковырнув ногой, поднял белевшую в темноте затоптанную в грязь коробку от папирос «Цыганка».— А карандаш найдется?

Огрызок карандаша у Сережи в кармане нашелся.

Оторвав крышку коробки, Вадя нацарапал на ее обороте: «Я все знаю. Я тебя презираю. Вадим». Надписал сверху «Наташе Панченко» и снова полез наверх.

— Почему вы к Жене не постучали? — открывая мальчикам, спросила Нина Леонидовна.— Завтра мне чуть свет подниматься... И что это за хождение по ночам!

— Мы стучали к Женьке,— оправдывался Сережа,— но он либо крепко заснул, либо не хочет открывать...

— Не хочет открывать, конечно! — пробормотал Шалыгин.

Какие-то отголоски крупного разговора в детской до Нины Леонидовны долетали; ей даже почудилось, что Гребенюк плачет, но у нее не хватило сил проснуться, пока ребята не подняли ее своим отчаянным стуком. Впустив мальчиков, Нина Леонидовна снова свернулась калачиком на своей раскладушке...

Кульчицкой уже снилось что-то, когда снова забарабанили в окно. Какая-то страшная белая рожа с широким, расплющенным носом прижималась к стеклу, и Нине Леонидовне понадобилось минуты две, чтобы распознать, что это ее собственный сын.

— Ну чего вам опять? — спросила она недовольно.

— Мама, Женьки нету! — сказал Сережа с испугом.

— А где же он?..— спросила Нина Леонидовна, накидывая халатик.— Тише, не разбудите только Ольгу Ивановну!.. А кто же за вами дверь закрыл, если Жени нет?

— Дверь закрыла я, и свечу в детской потушила я! — заявила, показываясь в дверях своей комнаты, Ольга Ивановна.— Хорошо еще, что нас не обокрали и что пожара не случилось! Встаю ночью — входная дверь настежь! Иду в детскую — в детской никого! Свеча догорела почти до конца, стеарину на стол натекла целая лужа, рядом — книги, бумаги. Упал бы тут фитилек — и нас уже не спасли бы!

— Где же он? — с беспокойством повторила Нина Леонидовна.— Мальчики, Женя не ходил с вами?

— Евгений гораздо более дисциплинированный, чем

они! — заметила Ольга Ивановна.— Впрочем, до вашего приезда мои воспитанники вообще не пользовались такой свободой! — добавила она язвительно.— Нина Леонидовна, нагрейте мне воды и отыщите чистое полотенце. У меня начинается мигрень... И проследите, пожалуйста, чтобы они не шумели!

Следить за тем, чтобы мальчики не шумели, Нине Леонидовне в ту ночь не пришлось. Пожалуй, она сама провинилась больше всех, уронив в кладовой ящик с гвоздями в поисках фонаря «летучая мышь».

Вадя и Сережа сначала впотьмах бегали под дождем, разыскивая у собственной террасы и у соседних дач Женины следы.

Потом они почти всю ночь бродили уже с фонарем. Если добавить к этому, что они ежеминутно появлялись в дверях или в окне и кричали: «Же-е-ня! Женька, ты пришел?!» — а дворовая собака Веста, оставляя по всем направлениями цепочки грязных следков, с истерическим лаем металась вслед за ними, станет понятным, что Ольга Ивановна в эту ночь от мигрени не избавилась.

Явственные, похожие на глубокие калоши следы в глине вели от террасы Веде к самому обрыву. Мальчики долго бегали по обрыву, потом к ним вышла и Нина Леонидовна.

— Да не волнуйтесь вы — вернется Женя!.. — попыталась она утешить Вадима, когда он, бледный и несчастный, присел рядом с ней на камень.— Но это вам будет наука — вы уж слишком что-то придирались к Гребенюку за последнее время,— добавила она укоризненно.

Вадим только страдальчески свел брови.

— Нина Леонидовна... — начал он, оглянувшись, нет ли поблизости Сережи,— что бы вы сделали, если бы узнали... Ну, что бы вы сделали, если бы... ваша... то есть ваш... Ну, если бы ваш близкий друг оказался предателем?

— Как тебе не стыдно, Вадим? — возмутилась Кульчицкая.— Ну какой же Евгений предатель?!

Шалыгин схватился руками за голову и закачался, как от зубной боли.

— Я совсем не об Евгении сказал «пре-да-тель»! — раздельно произнес он побелевшими губами.

...Прошла ночь. Наступило утро, а Жени все еще не было. Нина Леонидовна ушла в летнюю кухню за своей каморкой готовить завтрак. К столу Ольга Ивановна на террасе не появилась. Мальчики уныло глотали застревающие в горле куски.

После завтрака Вадим отправился расспросить о Жене на соседней даче, а Сережа, запершись в детской, открыл свой дневник.

Но писать было нечего: Наташа уехала!

Жить тоже было незачем.

Сережа уныло перелистнул одну страничку, другую... «Н. П.», «Н. П.» — эти две буквы, как живые, так и выскакивали ему навстречу из строк.

Дойдя до последней исписанной страницы дневника, Сережа вдруг ахнул от неожиданности. Выбежать и догнать Вадю у дачи Шапошниковой было делом одной минуты.

— Вадька! — заорал он изо всех сил, потрясая в воздухе клеенчатой тетрадкой.— Вернись! Женька жив! Вот он пишет!

...В дневнике — тут же вслед за последней трагической Сережиной записью «...осталось десять дней жизни!» — Гребенюк приписал:

Сошли с ума со своей «Н. П.»! Сережка, честное благородное слово — я письма не брал! Но Вадька мне не верит, и я ухожу. А за пощечину я с ним еще рассчитаюсь! Еду к отчиму. Он, кстати, купил мне серебряные часы. Пойду попробую договорить подводу у новой постоялки на Французском бульваре.

И черт с вами, и с вашей «Н. П.», и с вашим Моревинтом.

Ананьевский мещанин

Евгений Афанасьевич Гребенюк.

Это, конечно, было непереносимо — то, что Женька все узнал о Наташе, даже то, что он своими руками трогал вот эту тетрадку, что он осмелился написать «черт с вами, и с вашей «Н. П.»...»

Но все-таки хорошо, что он ничего с собой не сделал!

Вадим тотчас же вернулся.

— Дай-ка! — протянул он руку за тетрадкой.

Но товарищ его отступил на шаг назад.

— Словом, Женька пишет, что он Павиного письма не брал,— сказал Сережа, краснея.— Женька очень обижен и уезжает к отчиму... Отчим, между прочим, купил ему серебряные часы.

Отступив еще на один шаг, Сережа вырвал из тетради все исписанные страницы, разорвал их и пустил по ветру.

— И почему-то подписался «Ананьевский мещанин Евгений Афанасьевич Гребенюк»,— добавил Сережа, пожимая плечами.

Шалыгин задумчиво посмотрел на товарища.

— Он очень ругает меня? — спросил он виновато.— Давай пойдем на постоялку, это рядом! — предложил он.— Сегодня не жарко, может, подводы еще не уехали.

Кульчицкой с мальчиками было по дороге. Переговорив с хозяином постоялого двора, Сережа и Вадим подождали, пока Нина Леонидовна закупит все, что нужно, и донесли до мясной лавки обе тяжелые корзины.

Ходили на постоялку они, оказывается, напрасно: хозяин объяснил им, что подводы обычно уезжают холодком — до рассвета. Приходил ли сюда ночью гимназист лет пятнадцати-шестнадцати, рыжий, румяный, с веснушками, хозяин сказать не мог: «Тут и день и ночь толчется народ, разве углядишь за каждым!»

ГЛАВА ПЯТАЯ

„Чёртова башня"

Домой из постоялки Сережа с Вадимом возвращались расстроенные и почему-то пешком.

— Может, свернем все-таки на «Отраду»? А вдруг они еще не уехали? — предложил Сережа нерешительно.

— Да уехали, уехали! — сказал Вадя со злостью.

А вот и комендатура. На воротах ее красуется свежеотпечатанный приказ «По городу Одессе».

— Ну как, Сережка? — спросил Вадя, делая шаг по направлению к воротам.

Сережа молчал. Он с полуслова понял Шалыгина. И действительно, надо же когда-нибудь начинать! Но сейчас, на виду у всех, это было бы просто безумием... Однако Вадя, беспечно насвистывая, спокойно направился к воротам.

— Вадя,— сказал Сережа тихо,— отложим на другой раз!

Часовой, повернувшись, с любопытством наблюдал за мальчиками.

— Вадька, сейчас опасно,— еще раз попытался отговорить друга Сережа.

Вадя глазами показал назад.

— Трамвай! — шепнул он.

И в самом деле, снизу, из Аркадии, уже сворачивал вагон; он будет здесь — самое позднее — через одну минуту. В этом месте он пролетает как сумасшедший, наверстывая потерянное при подъеме время. Вадька справится.

Подойдя к воротам, Шалыгин сильно рванул бумагу за отстающий угол. Лист с треском лопнул сверху донизу. Вадя со злостью рванул еще раз, спрятал разорванный приказ в карман и, как кошка, повернулся к линии. Через секунду он уже висел на ступеньках передней площадки. Сережа схватился за поручни задней. Он больно ударился грудью, потом — на повороте — спиной. Мимо пронеслось испуганное лицо солдата, будка, выглядывающий из окна офицер, изумленно застывшая женщина...

Мальчики сошлись у выхода.

— Первый! — сказал Вадя, хлопнув себя по карману.— Наберем десяток и пошлем в подарок коменданту.— На Вадиных скулах светились два маленьких белых пятнышка.

Соскочив у Санаторного переулка, мальчики бегом бросились к проходной даче. Все вокруг было спокойно, и, перейдя Малофонтанскую дорогу, они медленно, прогулочным шагом, направились к даче Вальтуха.

— Посидим отдохнем? — предложил Вадя.

И оба уселись в низкую, затоптанную траву у телеграфного столба. Напротив линии трамвая сверкал второй телеграфный столб — весь из металлических реечек, похожий на Эйфелеву башню. Рядом с этим столбом, под навесом, стоял немецкий часовой с винтовкой.

Мальчики сидели молча. Разговаривать не хотелось. Вадя даже закрыл глаза. Сереже показалось, что он дремлет.

Вдруг с «Эйфелевой башни», суматошно махая черно-белыми крыльями, сорвался удод. Пролетев низко над мальчиками, он исчез между камнями забора, оставляя за собой отвратительный удодий запах.

Под забором еле заметно шевельнулась трава. Ага! Вот кто, оказывается, спугнул птицу! В траве, прижавшись к земле всем своим атласным черным тельцем, по-лягушечьи расставив задние лапы, продвигался щенок.

Потом что-то случилось. Это произошло с такой молниеносной быстротой, что мальчики вначале и не поняли, в чем дело. Захлопали черно-белые крылья; издав пронзительный вопль, щенок немедленно отлетел от забора и кинулся назад, ничего, очевидно, не соображая, потому что тотчас же налетел на «Эйфелеву башню».

Прикосновение к такому столбу грозило смертью. Об этом гласила надпись с ломаной молнией и тремя восклицательными знаками. Под русской надписью была свежая — немецкая, тоже с восклицательными знаками, но уже без молнии. И немецкая надпись что-то запрещала. Мальчики поняли только первую строчку.

— Нужно немедленно вытащить щенка! — сказал Сережа, поднимаясь.— Его может убить!

— Вот не убило же,— возразил Вадя равнодушно.— Шерсть, кажется, защищает от тока...

Вообще-то Сережа с уважением относился к познаниям товарищей, они и учились лучше его, да и вообще были старше классом. Но сейчас Шалыгин, несомненно, что-то путал.

— Да что ты, Вадька! — возмутился Сережа.— А черная кошка? А волосы в темной комнате!..

Немецкий часовой угрожающе поднял руку, когда Сережа подошел к «Эйфелевой башне».

— Чудак! — сказал Сережа беспечно.— Собака — хунд!

— Halt! — произнес часовой.

— Ну что я тебе сделаю, чудило! Собаку нужно ведь забрать! — Сережа миролюбиво поглядел на солдата и стал на коленки у столба. Послюнив палец, он, как хозяйка — утюг, попробовал железо.

Часовой щелкнул затвором. Он что-то громко крикнул по-немецки.

Сережа, сунув руку в пространство между реечками, вытащил щенка, несмотря на то что тот отчаянно визжал и искусал своему спасителю руки.

Из мирного деревенского вида домика вышли трое немцев: офицер и двое солдат. Солдаты подошли к мальчикам и одновременно, как по команде, опустили им руки на плечи.

Можно было увернуться, выскочить из-под руки, наконец — укусить солдата или с размаху ударить его головой в живот, но Вадим и Сережа были слишком ошеломлены. Как овечки, дали они себя арестовать и повести в комендатуру.

Вели их той же дорогой, на которой они полчаса назад так удачно избежали беды. На повороте один из мальчиков попытался что-то выбросить из кармана, но оккупант больно вывернул ему руку.

Сережу первым подвели к столу.

Двое солдат мгновенно опорожнили его карманы. Вот на столе лежит сургуч, свинцовое грузило, моток веревки.

Толстый немец что-то говорит другому, молоденькому, и оба хохочут. Сережа разбирает что-то вроде «ташентух» и «руссише швайне». Немцы говорят, что у него нет носового платка и что он русская свинья. Сережа тяжело и густо краснеет: черт его знает, почему он постоянно забывает этот проклятый носовой платок!

Толстый немец, поглядывая в книжечку с золотым обрезом, спрашивает Сережу по-русски:

— Зачем вы стремились к полевому телефону немецкого командования?

Вот тебе и «Эйфелева башня»! Но что будет с Вадимом? Сейчас его тоже обыщут и найдут приказ. Надо все их внимание отвлечь на себя!

— Я не знал, что это полевой телефон,— отвечает Сережа.— Мой товарищ отговаривал меня...

— Следовательно, товарищ ваш знал об этом? — Несмотря на протестующий жест мальчика, офицер делает какую-то пометку у себя в книжке.

— Мой товарищ тоже ничего не знает,— говорит Сережа беспомощно,— но он не так любит животных, как я... Он не советовал спасать щенка...

Но все это напрасно. Очередь доходит до Вадима. Вот он стоит, подняв руки кверху, а солдаты выкладывают на стол содержимое его карманов. У Вади тоже нет носового платка, но немцы уже не хохочут. На столе лежит изорванный приказ. Полный немец что-то говорит молодому. Оба они очень серьезны.

...И вот *это* тянется уже несколько минут.

— Кто научил вас срывать приказы немецких оккупационных властей? — спрашивает толстый немец.

— Приказ сорвали не мы, а один я! — говорит Вадя сердито.— Сколько раз я должен это повторять!

— Вместе рвали! — бормочет Сережа сквозь зубы.— И никто нас не учил. Мы сами знаем,— добавляет он.

Немец что-то записывает.

— С какой целью вы сорвали приказ? — спрашивает он, переглянувшись с молодым.

— Да ни с какой ни с целью! Взяли и сорвали!

— Почему же вы не сорвали объявление о теплых морских ваннах или о том, что сдается дача внаем?

— Ну, это людям нужно... Да мы и не читали всех объявлений!

Немец опять что-то записывает.

Майор Пристлер доволен. Он сегодня может уже не ходить к учительиице русского языка — для практики. Он по-настоящему напрактикуется с этими мальчишками.

Все портит только Бубби Зауэрвайт. Он выкладывает на стол часы и говорит лениво:

— Даю тебе на это развлечение десять минут... А потом, не кажется ли тебе, что эти так называемые «дети» действовали по чьему-либо наущению?

Нет, майору Пристлеру этого не кажется. Уже ие

в первый раз русских ребят задерживают за такого рода хулиганство.

В комендатуре жарко, скучно... До смены дежурства еще полтора часа. Пожалуй, можно будет «попрактиковаться» еще немного, а потом посадить все-таки — для острастки — мальчишек на часок в участок и оштрафовать их родителей.

— Восемь минут! — говорит Бубби Зауэрвайт.— Мне это уже начинает надоедать.

Сережа не понимает, *что* говорит молодой офицер, но он понимает, *как* он говорит. Допрос явно приходит к концу.

— Вадим, ну давай теперь ты что-нибудь! — шепчет Сережа умоляюще.

— Я — сын русского офицера,— произносит Вадя отчетливо.— Руссише официр! Можете справиться: дача Вальтуха, флигель четырнадцать, Веде... Мой отец этого так не оставит!

— Чего ваш отец так не оставит? — с преувеличенной любезностью переспрашивает толстый офицер.— Вашему отцу не мешало бы...

В этот момент кто-то открывает дверь. Сережа слышит собственное свое восклицание так, точно наблюдает себя со стороны. В комнату входит третий офицер, здоровается и присаживается к столу.

Третий офицер — не кто иной, как Сережин старый знакомый, герр обер-лейтенант с дачи «Отрада»!

— Нина Леонидовна, скорее идите в комендатуру! — испуганно крикнула соседка, увидев сходящую с трамвая Кульчицкую.— Я вас уже целый час караулю! Ваша дача на замке — вот ключ.

Нина Леонидовна поставила обе корзинки на землю.

— Да скорее же! — волновалась соседка.— Ольгу Ивановну уже давно взяли. Сказали, чтобы вы явились немедленно! Там ваш Сережа опять что-то натворил.

Кульчицкой хотелось оставить все посреди улицы и побежать бегом, но она нашла в себе силы занести корзины домой и постучаться к соседям.

— Если со мной что случится, вот, пожалуйста, передайте Ольге Ивановне деньги для Сережи.

В то, что с ней может «что случиться», Кульчицкая, честно говоря, не верила. А если она испугалась сейчас, то только потому, что ее вообще пугали всякие неожиданности.

«Когда это наконец прекратится! — возмущалась она, шагая по раскаленной Аркадийской дороге.— Опять, наверно, забрался в чужой сад или заплыл в запрещенную зону!»

Солдат ввел Нину Леонидовну в помещение комендатуры как раз в ту минуту, когда Ольгу Ивановну Веде вызвали к столу. Напротив входа, за большим, крытым зеленым сукном столом, сидели рядом два немецких офицера. Один — полный, в расстегнутом мундире,— майор как будто. Второй — помоложе, розовый и подтянутый, в пенсне без оправы. За этим же столом, поодаль — ближе к окну — сидел третий офицер. Можно было догадаться, что сюда он попал по другому делу, случайно, потому что он все время поглядывал в окно, нетерпеливо постукивая пальцами по подоконнику.

Перед столом остановилась Ольга Ивановна. Кульчицкой было видно только ее спину. У печки, боком к двери, между двумя солдатами стояли Вадим и Сережа.

— По мужу Веде, урожденная Ренненкампф, лютеранского вероисповедания,— отчетливо произнесла Ольга Ивановна и на какой-то вопрос полного офицера так же отчетливо добавила: — Нет, немецким языком, к сожалению, не владею: родителей я потеряла в раннем детстве...

Полный майор все время прихлебывал что-то розовое из стоявшего перед ним стакана. В комнате было очень душно. Перед вторым офицером, помоложе, на столе лежали золотые часы. По всему было видно, что допросом руководит майор.

Немец у окна, занятый рассматриванием собственных ногтей, даже не шевельнулся при входе Кульчицкой. Оба офицера за столом, Ольга Ивановна, солдаты, Сережа и Вадя на секунду повернули головы в ее сторону. Кульчицкая отметила про себя, что полный немец тотчас же застегнул китель на все пуговицы.

Блеснувшие в первую минуту навстречу Кульчицкой стеклышки пенсне, решетки на засиженных мухами

окнах и скучный казарменный запах ремня и пота заставили ее вздрогнуть.

Но уже через минуту, прислушавшись к допросу Ольги Ивановны, Ннна Леонидовна с облегчением перевела дыханне. Мальчики, оказывается, сорвали какую-то бумажку подле комендатуры, а потом, несмотря на предупреждение часового, пытались трогать немецкий полевой телефон.

Нина Леонидовна кашлянула, огляделась по сторонам и сделала шаг в сторону от доставившего ее солдата, как бы желая показать, что она ннсколько не боится. Да она, собственно, не боялась. Кульчицкую пугали только грубые окрики, брань, угрозы, а все, что происходило здесь, не сулнло ей ни того, ни другого, ни третьего.

Про себя Нина Леонидовна решила, что, отвечая группе лиц, необходимо выбрать кого-нибудь одного и что, когда очередь дойдет до нее, она будет обращаться к этому красивому офицеру у окна. И не потому, что она надеялась на его сочувствие, а просто для него, как н для нее, наблюдающнх со стороны, явственнее проступает вся нелепость этой процедуры.

Полный офицер задал в это время Ольге Ивановне какой-то вопрос. По-русски он говорил почти без акцента.

— Не знаю,— ответила Веде, оглянувшись мельком на Нину Леонидовну,—может быть, это и так, но что касается Вадима Шалыгина...

Нине Леонидовне даже издали было заметно, как приободрились мальчики, когда Веде заговорила о Шалыгине — Вадим был ее любимец. Однако окончание фразы Ольги Ивановны Сережу и Вадима явно озадачило.

— ...Я всегда считала, что это мальчик из порядочной семьи, сын офицера... Однако мне и в нем пришлось сильно разочароваться.

И для Нины Леонидовны такое высказывание Веде явилось полной неожиданностью, но при всем том ее порадовало, что Ольга Ивановна, отвечая, тоже обращалась к офнцеру у окна. Значит, какое-то отношение к допросу он все-таки имел.

— Нас интересует именно этот мальчик,— сказал полный офицер, показывая на Сережу.— Что вы можете сказать о его родителях?

Нелепость вопроса поразила Кульчицкую. Вот тут же стоит она, мать мальчика, у нее и следует наводить все интересующие немцев справки. Нина Леонидовна громко кашлянула, но, кроме Сережи, никто и не посмотрел в ее сторону. Она с радостью заметила, что офицер у окна досадливо передернул плечами. Нужно бы, чтобы он вмешался как-нибудь в допрос. Кульчицкая надолго задержала на нем взгляд, и он действительно поднял голову. Но, когда немец коротко и грубо оглядел ее с головы до ног, Нина Леонидовна вздрогнула. Не отдавая себе отчета почему, но в этот момент она безошибочно определила, что из всех находящихся в комнате — это самый опасный для нее и для ее мальчика человек. Что он может им сделать дурного — она еще не знала, но, глянув на сына, поняла, что и Сережа с испугом смотрит на офицера у окна.

Однако, поняв все это, Кульчицкая не испугалась, а продолжала прислушиваться к допросу, стараясь главным образом не пропустить ни одного слова из тех, которыми вполголоса обменивались между собой офицеры.

Вадя стоял бледный, все время порываясь что-то сказать, но часовой каждый раз предостерегающе опускал руку на его плечо.

— Ах, господи! — взволнованно сказала Ольга Ивановна.— Разве я могу отвечать за его родителей! Мне за него платят деньги — и я его держу. Уйдет он — я на его место найду десяток!

Куда делась степенная важность Веде! Сейчас она до того сыпала словами, что майор время от времени протестующе поднимал руку.

Офицер у окна был явно недоволен. Он тихо шепнул что-то полному, и Кульчицкую обдало новой волной беспокойства.

— Предупреждаю,— сказал толстяк,— что за дачу неверных показаний вы будете подвергнуты самому строжайшему взысканию!

— Господа офицеры! — взмолилась Ольга Ивановна, поворачиваясь к окну.— Я не понимаю, почему здесь со мной говорят в таком тоне? Я жена негоцианта, немецкого подданного, который пятнадцать лет на Дальнем Востоке был доверенным лицом фирмы «Альбрехт и

Кунст», а вам, конечно, понятно, что ему приходилось выполнять не одни коммерческие поручения... С этими людьми,— Ольга Ивановна мельком глянула на Нину Леонидовну,— я ничем, кроме квартирной платы, не связана. И я, конечно, не собираюсь с ними церемониться. Она и ее сын постоянно втягивают меня в неприятности...

Кульчицкая вдруг с испугом поняла: только потому, что это нужно офицеру у окна, Веде собирается сказать что-то опасное для нее и Сережи.

И действительно, как бы подчиняясь безмолвному приказанию немца, рука Веде полезла в ридикюль.

Пока пальцы Ольги Ивановны шарили в ридикюле, Кульчицкая мучительно старалась припомнить, что именно из ее жизни известно Веде и что именно она может сейчас сказать.

Наконец Ольга Ивановна нашарила что-то белое. «Носовой платок! — решила Нина Леонидовна с облегчением.— Сейчас расплачется!»

Но, глянув на немца у окна, она опять испугалась. Офицер бросил на Веде быстрый и жадный взгляд и поднялся со стула.

— Bitte[1],— сказал он машинально.

— Вот,— плачущим голосом произнесла Ольга Ивановна,— мне самой это стало известно только на днях...

Приподнявшись на цыпочки, Нина Леонидовна разглядела через плечо Веде знакомую бумажку с обожженными краями. Это была ее «венчальная». Но каким образом она очутилась у Ольги Ивановны? Бумажка была спрятана на самом дне чемодана.

Встретив испуганный Сережин взгляд, Нина Леонидовна весело и ободряюще ему улыбнулась, хотя сердце ее стучало неровно, то и дело перебивая дыхание.

— Я ничего не должна скрывать от вас,— начала Ольга Ивановна.— Я и по собственному почину собиралась отнести бумагу куда полагается... Я ведь сама узнала буквально на днях... Вы спрашиваете, кто его родители? До сих пор я, со слов этой женщины, считала, что муж ее был сельским учителем и умер от туберкулеза в

[1] Bitte (нем.) — пожалуйста.

деревне же... А оказывается, что отец его... — Веде мимо Нины Леоиидовны глянула на Сережу,— отец его был каторжник, политический! Да! И умер в царской ссылке! Вот их веичальиая... А это — свидетельство о смерти...

Нина Леонидовна ие отрываясь следила за офицером у окна и поняла, что тот не удовлетворен. Ои закурил и вместе со стулом повернулся к окну. Этим он как бы подал знак остальным, и комната наполнилась шумом отодвигаемых стульев, звяканьем шпор, громкой нерусской речью.

«Ага, вот, значит, кто постоянно рылся у меня в чемодане! А совсем не Сережа!» — захлебываясь от жалости и нежности, Кульчицкая глянула на сына.

Он стоял рядом со статным Вадей Шалыгииым, маленький, взъерошенный, похожий на чижика. Его обычно свежие и красные губы сейчас побледнели, и это делало его лицо странно чужим.

— У меня есть еще одио письмо, которое я нашла у Кульчицких,— добавила Ольга Иваиовна неуверенно. Она, очевидно, полагала, что «венчальная» и «похоронная» произведут больший эффект.— Может быть, и оно вас не заинтересует, но поскольку вам важно выяснить... Этому письму, очевидно, придавалось какое-то значение — его тщательно подклеили...

Нина Леонидовна видела, как сын ее быстро переглянулся с Вадимом. И она не могла не заметить, что иа скулах Вади засветились его обычные белые пятнышки, а щеки стали розоветь, приобретая какой-то синеватый оттенок.

— Это письмо было отослано из города Рени и каким-то образом очутилось в вещах моих квартирантов,— еще менее уверенно закончила Веде.

Занятая наблюдениями за мальчиками, Нина Леонидовна на минуту забыла о немцах и, бросив случайно взгляд на толстого, немедленно же об этом пожалела.

Поднеся письмо к самому носу и снова машинально расстегнув тесный воротник, майор читал, заметно водя глазами по строчкам. Нине Леонидовне видно было, как он то сжимает, то разжимает челюсти и от этого странно двигаются его уши.

Задержав иа какой-то строке палец, он повернулся

к молодому и вполголоса перевел ему по-немецки длинную фразу. Сережа и Вадя испуганно следили за обоими офицерами. Даже солдаты-часовые с любопытством прислушивались к разговору за столом. Только красивый офицер у окна не выказывал никакого интереса к происходящему. Но, как только письмо было прочитано, он встал, обошел стол и, наклонившись к старшему офицеру, что-то тихо и небрежно сказал ему, глянув мимо Кульчицкой. Полный немец кивнул в ответ головой.

— Можете идти... — обратился он к Веде.— Вы — тоже! — махнул он рукой Сереже и Ваде.— А вы... — повернулся он к Нине Леонидовне, медленно и значительно разделяя слоги,— а вы будьте любезны следовать за господином обер-лейтенантом!

— Мамочка, я подожду тебя! — крикнул Сережа в дверях.

Но Нина Леонидовна, испугавшись, как бы его тоже не вернули, решительно замотала головой.

— Я оставила у Ольги Ивановны для тебя деньги,— шепнула она, проходя мимо сына, хотела еще что-то добавить, но часовой сердито подтолкнул ее к двери.

Глава шестая

Допрос

Выйдя на пыльную Аркадийскую дорогу, Вадим остановился, дожидаясь Сережу. Ольга Ивановна ушла уже далеко вперед, но мальчик даже не глянул в ее сторону.

Сережа долго не выходил. Обеспокоенный Шалыгин снова вернулся к комендатуре. Наконец в дверях появился его взволнованный, взъерошенный друг.

— Маму почему-то задержали!.. — сказал он испуганно.— Подождем ее, а, Вадим?

— Конечно, надо подождать... К Ольке, я надеюсь, ты возвращаться не собираешься?

Сережа смущенно потоптался в пыли. Он внимательно посмотрел на Вадима.

— Эх, нехорошо... Бедный Женька... — сказал он нерешительно.

— Да-а-а,— протянул Шалыгин.— Черт его знает, что у меня за характер!.. Сережка, я, собственно, очень виноват перед тобой... — выговорил он с трудом.— Я ведь был уверен, что его унесла Наташа.

Мальчики расхаживали по дороге, и сейчас Сережа даже остановился от удивления.

Вадим крепко взял его за руку и добавил:

— Ты только не сердись... Я ведь вчера неправду тебе сказал — Панченки вчера были дома...

— Значит, они и сейчас еще не уехали! — закричал Сережа, вырываясь.— Идем! Конечно, они еще не уехали: поезд на Мардаровку уходит к вечеру!

— А Нина Леониндовна?

Сережа покраснел.

— Разумеется, дождемся сперва маму, а потом пойдем к Панченкам...

— Никуда мы не пойдем! — отрезал Вадим.— Сережка,— добавил он с отчаянием,— у них вчера была полная комната немцев!

— Что? Каких немцев? — переспросил Сережа сердито.— А Наташу ты видел?

— Видел. Они читали какое-то письмо. Три больших листа. Я решил, что это Павлино письмо.

— Балда! Письмо же Олька выкрала!

Вадим как-то странно посмотрел на товарища.

— Письмо... да... Но вчера я этого не знал.

— А вдруг Панченки надумают подводой ехать?—пробормотал Сережа тоскливо.— Что же это такое с мамой?

— Ты меня не понял! — почти закричал Шалыгин.— Ты слышишь, что я говорю! Дело не в письме... У них были немцы... Панченко — предательница! Она...

— Ты, знаешь, совсем с ума спятил,— перебил его Сережа сердито.— Хочешь, вероятно, тоже по физиономии заработать! — И раскаялся — такое бледное и несчастное было лицо у его друга.

Ворота комендатуры распахнулись. Двое конвоиров

вывели небольшую кучку арестованных. Сережа поискал глазами, мамы среди них не было. Он с любопытством заглянул во двор комендатуры.

Немец в серой куртке вытащил в эту минуту кляп из водовозной бочки. Вода сильной струей хлынула в ведро, и оно тотчас же наполнилось до краев. Не замечая этого, солдат, глядя на Сережу, сделал какой-то жест рукой. Не поняв его, мальчик подошел поближе к воротам и вдруг узнал немца. Это был один из тех, что сегодня вели его с Вадимом в комендатуру. Солдат что-то крикнул и опять показал рукой.

— Муттер, муттер, мама...— объяснил он.

Но тут же кто-то со скрипом свел обе половинки ворот и, грохоча, задвинул засовы.

— Давай обойдем комендатуру. Он что-то про маму говорит... А Панченко мы, наверно, уже проворонили.

Мальчики побежали было, но Вадя вдруг остановился.

— Ты так-таки ничего и не понял! — крикнул он со злостью.— Панченки — за немцев... Они заодно с оккупантами!

Сережа слишком хорошо знал и Ксану Федоровну и Наташу, чтобы придать значение Вадиным словам.

— Идиот, балда! — прошипел он на бегу.— Приехал из Дофиновки какой-то бешеный... «Ненавижу! Всех уничтожить»! — передразнил он.

Шалыгин оторопело смотрел на товарища.

— А солдата этого ты узнал, Вадька? Как они при офицере толкали нас в спины! А сейчас!.. Не могут быть Панченки за немцев! То есть надо знать — за каких немцев!

— Что руководило вами,— говорил в это время переводчик, глядя прямо в лицо Кульчицкой,— когда вы внушали своему сыну Сергею мысль сорвать приказ его превосходительства господина коменданта города Одессы? И знаете ли вы, что это рассматривается как призыв к сопротивлению властям и карается со всею строгостью германского имперского военно-полевого суда?

Сейчас в комнате остались только Нина Леонидовна, красивый обер-лейтенант и вызванный из штаба переводчик.

Сменившийся с дежурства полный майор, проходя мимо красивой русской женщины, печально пожал плечами: он ничем не мог ей помочь.

Кульчицкая внимательно разглядывала обер-лейтенанта. Она понимала, что у этого человека есть какая-то настоятельная необходимость в том, чтобы нанести ей непоправимый вред, несмотря на то, что до этого дня она никогда его не видела и даже не знала о его существовании.

Но, кроме этого, она еще понимала, что какой бы то ни было ценой ей необходимо вырваться отсюда к Сереже, так как мальчика ни на один день нельзя дольше оставлять у Веде.

И, поняв все это, она, словно не замечая отношения обер-лейтенанта, обращалась непосредственно к нему, минуя взглядом переводчика. И, хотя у нее сильно дрожали ноги, она отвечала не торопясь, заботясь о том, чтобы говорить литературно и гладко. Ей казалось, что это должно сыграть положительную роль. Если бы она заговорила по-немецки, это тоже, несомненно, произвело бы благоприятное впечатление, но Нина Леонидовна приберегала это под конец, надеясь из разговора офицера с переводчиком выяснить что-нибудь такое, что помогло бы ей вырваться отсюда.

— Я-то отлично отдаю себе отчет в ответственности, связанной с нарушением распоряжений властей, но, господин обер-лейтенант, примите во внимание, что ребенок мог этого не знать! И следует ли расценивать детскую шалость как серьезное государственное преступление?

Когда Нина Леонидовна следила за тем, как блондин в черных очках переводил фразу, на лице ее было точно такое же выражение, как в классе, во время урока.

— Лучше сознайтесь! — сказал переводчик, искоса глянув на офицера.

А тот, шагая по комнате, одну за другой прикуривал папиросу от папиросы.

— Уверяю вас, что мне буквально не в чем сознаваться,— ответила Кульчицкая решительно.

— Хорошо,— сказал переводчик,— следовательно, вы отпираетесь? — Он записал что-то на листе бумаги.— Теперь — дальше: отвечайте господину обер-

лейтенанту, состоите ли вы, как ваш муж, в партии социалистов?

«Вырваться отсюда! К Сереже бы скорее!» — подумала Кульчицкая, но чувство ответственности и правдивости снова взяло верх над всем остальным.

— Мой муж действительно был социал-демократом, но я никогда ни в какой партии не состояла... — Сердце Нины Леонидовны колотилось так сильно, что на груди ее заметно поднимался и опускался галстук английской блузки.— И, вероятно, состоять не буду,— подумав, добавила она виновато.

— Хорошо,— сказал переводчик, ставя на бумаге птичку.— Тогда вы, может быть, объясните господину обер-лейтенанту, что́ заставило вас принудить своего сына Сергея похитить тринадцатого июня револьвер у офицера германской оккупационной армии?

Нина Леонидовна испуганно посмотрела на обоих.

— Я в первый раз... — начала она.— Мой сын не вор, вы ошибаетесь! — И вдруг вся кровь бросилась ей в лицо: она вспомнила бесконечные разговоры об офицере с барышней, о револьвере, о лодочнике.— Я ничего не знаю, я даже не понимаю, о каком револьвере идет речь... — сказала она неуверенно.

— О каком револьвере? — переспросил переводчик.— Речь идет о браунинге, который ваш сын совместно с лодочником Леонидом Воронько похитил у господина обер-лейтенанта и который затем был обнаружен при аресте у бунтовщика Фридриха Раабе, подбивавшего к восстанию солдат восьмого Баварского горноегерского полка.

Нина Леонидовна улыбнулась:

— Почему же вы думаете, что это был именно тот самый браунинг?

— Каждый пистолет, револьвер и каждая винтовка имеют свой номер,— пояснил переводчик любезно.— Значит, вы признаете, что принудили своего сына Сергея похитить этот револьвер?

«Ах, какие негодяи!» — Нина Леонидовна выпрямилась:

— Если бы я и хотела выкрасть оружие, я сделала бы это сама, а не подбивала бы на такое дело ребенка! — сказала она возмущенно.

— Хорошо,— сказал переводчик и повернулся к офицеру.

— Покажите ей или дайте ей... — начал обер-лейтенант по-немецки.

Но конца его фразы Кульчицкая не расслышала, потому что страшный удар отбросил ее к стене. Она больно ушиблась боком и локтем и, упираясь в стену руками, съехала бы вниз, если бы второй удар не опрокинул ее на стол.

Нина Леонидовна почувствовала сильную боль в плечах и затылке, хотя ее ударили по щеке. Она зажмурилась и закрыла лицо руками. И немедленно в углу глаза у виска зажегся красивый, радужного цвета шар, а потом второй — у другого виска. В испуге она открыла глаза — шары исчезли, видела она так же отчетливо, как и прежде.

Переводчик опускал обшлаг шелковой сорочки.

— Будешь говорить? — сказал он, близко и сильно дыша ей в лицо.

Нина Леонидовна перевела глаза на обер-лейтенанта.

— В этом помещении нужно обо всем говорить откровенно, как на исповеди,— сказал тот почти добродушно.

Кульчицкая украдкой пощупала лицо. Очень болели скула и челюсть, куда пришелся удар. На зубах скрипел песок. «Что это?» — подумала она с испугом. Но тотчас же вспомнила, что два дня назад ей запломбировали зуб,— очевидно, сейчас выпала пломба.

«Господи, это меня ударили... Меня били!» — подумала она, искусственно вызывая в себе чувство стыда и жалости. Однако ни стыда, ни жалости к себе она не испытывала. И ничего странного в таком ее состоянии не было, потому что Нина Леонидовна точно поняла, что ни оскорбить, ни обидеть, ни разжалобить ее эти двое не могут, точно так же как и она, в свою очередь, лишена возможности их оскорбить, обидеть или разжалобить.

Однако так как всю жизнь она руководствовалась определенными нормами поведения, то, пересиливая боль и дрожь в ногах, Нина Леонидовна спокойно обеими руками оперлась о стол.

— Вы не имеете права избивать арестованных... то есть даже не арестованных, а задержанных,— поправи-

лась она.— Как вам не стыдно! Выйдя отсюда, я немедленно же поставлю ваше начальство в известность о вашем поведении.

Человек в черных очках захохотал:

— До этого времени оберст Шульц успеет дослужиться до чина генерала. Не правда ли, герр обер-лейтенант?

Нина Леонидовна даже и виду не подала, как растревожила ее эта шутка переводчика.

«Ну что ты, глупенькая, да он просто пугает!» — сказала она самой себе, но сердце ее опять мелко и нехорошо забилось и подкосились ноги.

— Прошу вас,— продолжала она спокойно,— поскорее закончить допрос, так как сегодня у меня много дел.

— Вы надолго отдохнете от ваших дел,— сказал офицер и своей тонкой белой рукой сделал такой жест, точно защелкнул портсигар.

— У вас уже не будет больше дел,— неточно перевел человек в черных очках.

Нина Леонидовна закрыла глаза и помолчала. Вспоминая потом этот допрос, она удивлялась, как это только у нее хватило сил и терпения спокойно разными путями выбираться из расставляемых ей ловушек. Если бы ей было на кого оставить Сережу, она, пожалуй, сдалась бы значительно раньше.

— Вы никогда больше не увидите своего сына,— в пятый или в шестой раз сказал переводчик, но потребовалось три с половиной часа допроса, чтобы Кульчицкая поняла, что он не шутит.

— Ну, теперь его высокопревосходительство генерал Браухич должен быть доволен! — сказал человек в черных очках, заглядывая в лицо обер-лейтенанту и посмеиваясь.— Это будет уже одиннадцатая по счету... Мы ему, если понадобится, нагоним целый зверинец...

— Его превосходительству нужен не зверинец, а хорошо подобранные материалы,— оборвал его офицер.— Но, конечно, и из этой придется выжать все, что можно.

Нина Леонидовна вдруг отчетливо припомнила: точно такое же чувство беспомощности и отчаяния испытывала она в ночь на 9 июня в 1908 году в городе Вер-

ном. В ту ночь Верный был разрушен одним из самых сильных землетрясений, наблюдавшихся за последние пятьдесят лет. Куда бы Кульчицкая ни кидалась, отовсюду валились балки, кирпичи и камни. Во дворах, в домах, на улицах — всюду было одинаково опасно.

Однако и тогда чувство отчаяния и беспомощности владело ею недолго. Через час Нина Леонидовна уже успокаивала детей, помогала переносить раненых, а в уцелевшей чайхане наладила питательный пункт.

Когда обер-лейтенант с переводчиком ушли обедать, к Кульчицкой снова приставили двух часовых. Это выглядело несколько комично; Нине Леонидовне случалось не раз видеть, как один немец-конвойный ведет целую группу арестованных.

Часовые тоже обедали. Аппетитно хрустя, они откусывали то по пол-огурца, то по огромной краюхе хлеба.

Солнце уже обошло комендатуру и нещадно палило в окна, когда снова начался допрос.

— Откуда вы получали большевистские листовки, которые распространяли в казармах среди солдат восьмого Баварского горноегерского полка? — спросил переводчик.

...Валились кирпичи, балки и камни. Под ногами разверзалась земля. Нина Леонидовна посмотрела в окно. Ей показалось, что и небо сейчас того особого красно-желтого цвета, цвета землетрясения. Нина Леонидовна отвела со лба мокрую прядь волос.

...Переводчик ее ударил, и, если ему прикажут, он еще раз ударит ее, но он выполняет распоряжения начальства аккуратно и деловито, не вкладывая, однако, в это души. А офицер, о, он будет допрашивать ее шесть, шестнадцать, шестьдесят, шестьсот часов.

Нина Леонидовна уже безошибочно знала, что обер-лейтенант ее ненавидит.

Надо сказать, что Кульчицкая была не очень далека от истины. Может быть, слово «ненависть» и неточно выражало чувства обер-лейтенанта Артура Ритцгоффена к допрашиваемой им русской женщине, но он безусловно желал ей зла.

А желал он ей зла потому, что хотя эту глупейшую историю с похищенным револьвером ему, благодаря берлинским связям, удалось замять, но кое-какие слухи в штаб все-таки просочились. И в этом году он должен будет оставить всякую надежду на получение чина гауптмана.

— Что побудило вас, интеллигентного человека, примкнуть к этой банде убийц, грабителей и клятвопреступников? — спросил обер-лейтенант.

— Для чего вы вошли в эту банду убийц, грабителей и клятвопреступников? — упрощенно перевел человек в черных очках.

Сделал он это, очевидно, для экономии времени, но Кульчицкой показалось, что после того как переводчик ударил ее по лицу, ему стыдно было произнести слова «интеллигентный человек».

— Можно мне выпить воды? — спросила Нина Леонидовна и протянула руку к стакану.

— Нет,— сказал обер-лейтенант.

Нина Леонидовна облизнула губы. Во рту у нее тоже пересохло. «Что же действительно меня побудило?» — спросила она сама себя. И ей захотелось ответить себе самой.

— Они думают о счастье всего человечества... — произнесла она задумчиво.— А это не может не привлекать сердца́.

Обер-лейтенант сидел, ребром приставив ладонь к уху. Переводчик повернулся к нему с неуверенной улыбкой.

— Она говорит слишком туманно! — пробормотал он.

«Туманно»? Да, пожалуй, ему навряд ли удастся перевести все, что мне необходимо сказать»,— с огорчением подумала Кульчицкая.

— Следствием вашим, как я поняла, установлено, что это именно я вела пропаганду среди германских солдат...— начала она по-немецки и вдруг улыбнулась — и офицер и переводчик дернулись одновременно, точно через них пропустили ток.— То, что я знаю немецкий язык, не будет поэтому для вас неожиданностью. А я, как видите, его знаю... Вы спрашиваете, почему люди тянутся к большевикам?

— Я спрашиваю, что побудило вас... — начал офицер.

И Нина Леонидовна остановила его рукой:

— Я поняла ваш вопрос...

Кульчицкая помолчала.

— То, как вы ведете себя на Украине, сыграло свою положительную роль,— пояснила она.— Некоторые нерешительные люди... — тут Нина Леонидовна улыбнулась: она имела в виду самое себя,— некоторые нерешительные люди, только теперь доведенные вами до крайности, загнанные в тупик, поняли наконец, что у них один путь — с большевиками.

Обер-лейтенант поднял руку, а Кульчицкая невольно шарахнулась в сторону, ожидая, что он ее ударит. Но офицер приподнялся с места, чтобы произнести маленькую тираду:

— И вот такой наскоро сколоченной агитацией вы думаете поднять этот сонный многомиллионный народ, этого полярного медведя, сосущего во сне свою лапу?

— Этот многомиллионный народ уже давно поднялся,— ответила Кульчицкая спокойно.— И вы это знаете лучше моего.

Она вдруг с горечью подумала о том, что ее могут расстрелять, повесить,— словом, прекратить это новое и неожиданное чувство уверенности в себе. А ведь если бы Нина Леонидовна могла сейчас увидеть себя в зеркале, она убедилась бы, что по лицу ее блуждает та же чуть лукавая улыбка, с какой она в молодости ускользала проходными дворами от выслеживающих ее шпиков. Героиней, революционеркой Нина Попова никогда не была, но нелегальную литературу ей приходилось прятать не раз.

«Сереженька, прости меня, но маму твою они все равно к тебе не пустят»,— подумала она уже без сознания какой бы то ни было своей вины. А вслух добавила:

— Каждый третий... да что я!.. Каждый второй среди местного населения сочувствует повстанцам. Но обыски и облавы вам не помогут. Невозможно весь народ засадить в тюрьму.

— Заткни свою глотку! — пробормотал переводчик, поглядывая на дверь.

Офицер крупными шагами ходил по комнате.

— Приведи этого — из одиночки! — велел он часовому.

Тот вышел, и через четверть часа двое немецких солдат ввели в помещение, где происходил допрос, третьего немецкого солдата. Погоны были сорваны с его мундира, он был бос и без пояса. Через всю щеку его проходил красный, запекшийся кровью шрам.

— Разжалованный унтер-офицер Фридрих Раабе, знаешь ты эту женщину? — спросил обер-лейтенант.

Нина Леонидовна перехватила голубой недоумевающий взгляд арестованного.

— Не ухудшай своего положения! — добавил офицер.— Установлено, что это именно она приносила листовки к вам в казармы!.. — И взял что-то со стола.— Я буду его бить до тех пор, пока вы не признаетесь, кто снабжал вас этими листовками,— повернулся он к Кульчицкой.

Нина Леонидовна в отчаянии прижала пальцы к вискам. Обер-лейтенант держал в руке узкую канцелярскую линейку с медным кантом по краю.

Фридрих Раабе пожал плечами.

— Не огорчайся, дорогой товарищ! — сказал он по-немецки и глазами спросил, понимает ли она его.

— Не переговариваться! — сказал переводчик.

— Я уже почти не чувствую боли,— добавил Раабе.

И только сейчас Кульчицкая разглядела синяки, кровоподтеки, странно свисающую руку и коробящееся на спине, бурое от крови сукно мундира.

— Мне хуже не будет — я смертник,— объяснил Раабе просто.

И еще раз поглядел на нее очень внимательно. Листовки в казармы приносила высокая, полная, краснощекая женщина. Но та предупреждена, и ей, кажется, удалось скрыться... Эту — с пепельными, почти как у Труды, волосами — он видел в первый раз.

— Так что не волнуйся, товарищ,— сказал он мягко.

— Не переговариваться! — заорал обер-лейтенант и поднял линейку...

Нина Леонидовна видела, как голова Раабе от страшного удара мотнулась вперед, назад... Потом арестованный снова выпрямился.

— Будешь говорить? — спросил офицер, сильно дыша побелевшими ноздрями.

— Да! — произнес Раабе отчетливо.— Да здравствует революция в Германии! — Фраза это была сказана не для обер-лейтенанта и не для человека в черных очках.

Сердце Нины Леонидовны сильно застучало.

— Да здравствует революция в Германии! — повторила она робко.

— Зачислить ее к отправке в партию REX-110,— распорядился обер-лейтенант.

Глава седьмая

Новая жизнь

Для Сережи Кульчицкого и Вадима Шалыгина началась новая жизнь.

Черемушенко, к которым мальчики зашли в надежде переждать там, пока Нину Леонидовну выпустят, уже перебрались в город. У Кольки Черемушенко — переэкзаменовка по русскому, а на даче он, по словам его матери, совсем отбивается от рук. Ехать к Черемушенко в город не хотелось: на даче можно переспать на террасе, да и вообще в городе совсем другие порядки... А кроме того, нельзя забираться далеко от комендатуры — Нину Леонидовну могут выпустить с минуты на минуту.

Поэтому мальчикам пришлось переночевать на базарчике — на рундуке тети Кати, зеленщицы, а на следующую ночь — в пустом выставочном павильоне.

Несколько дней после ареста Кульчицкой Сережа и Вадя были убеждены, что произошло какое-то недоразумение и что Нину Леонидовну вот-вот выпустят.

Однако дни шли за днями, а Кульчицкую не только не выпустили, а, наоборот, перевели из комендатуры в тюрьму — на Третью станцию Среднего Фонтана.

Мальчикам и самим нужно было питаться и, кроме того, носить передачу в тюрьму, поэтому Вадим отправился к Ольге Ивановне за деньгами, оставленными для Сережи матерью. Веде денег Вадиму не отдала.

— Я не знаю, для Сережи ты их берешь или не для Сережи,— сказала она, безусловно для того, чтобы оскорбить Шалыгина.

И, как это ни странно, Вадим, отлично знавший все повадки Ольги Ивановны, все-таки оскорбился.

— Да я, собственно, получала за Сергея такие гроши,— добавила Веде,— что сейчас уже непонятно, кто кому должен.

«Олька», правда, сунула Ваде два узла:

— Возьми, пожалуйста, свои и Сережины вещи — они мне мешают.

Продавая эти вещи, мальчики и просуществовали некоторое время.

Сначала они сбыли Сережину шинель — она была новее, потом «на толчок» пошли Вадины новые ботинки, Вадино белье, Сережино белье, учебники, Вадин альбом с марками, а под конец два комплекта журнала «Вокруг света» за 1915 и 1916 годы.

Вадину шинель решено было пока не продавать, необходимо было чем-то укрываться по ночам. А кроме того, шинель держали для «представительства» и попеременно надевали то Вадя, то Сережа, когда ездили в тюрьму.

Дело в том, что за несколько дней костюмы обоих товарищей пришли в такое состояние, что без шинели в них уже было неудобно показываться на люди.

Обычно Сережа, передав дежурному продукты для мамы, потом еще подолгу караулил под окнами дежурки, и один раз ему действительно удалось в канцелярии увидеть Нину Леонидовну. Ее, очевидно, привели на допрос, потому что по бокам ее стояли часовые. До окошка канцелярии можно было достать рукой, но оно было наглухо закрыто да еще забрано решеткой. Удивительно даже было, как это Сережа разглядел маму за пыльным стеклом.

Мальчик написал на листке бумаги крупными буквами:

«Получила хлеб, скумбрию и помидоры?»

Мама в ответ кивнула головой. Значит, дежурный все передал.

Нина Леонидовна весело улыбнулась сыну. Но это, понятно, ничего еще не означало: это она — для поддержания бодрости духа!

На следующий день у Вадима ни арбуза, ни хлеба не приняли. Дежурный пробормотал что-то и махнул рукой.

Встревоженный этим известием, Сережа немедленно напялил шинель и отправился на Третью станцию. Однако дежурный передачу не принял и у него. Сережа дождался, пока солдат сменится, каждому понятно, что не все немцы одинаково относятся к арестованным. Но и второй дежурный ни хлеба, ни арбуза не взял, а показал рукой — «heraus gehen»[1].

Потихоньку обойдя тюрьму задами, Сережа очутился в пыльном, заросшем травой переулке. Взобравшись на каменный забор соседнего дома, он заглянул в окно второго этажа. Мальчик уже знал, что на первом этаже немцы заключенных не держат.

К Сережиному изумлению, все окна второго этажа были распахнуты настежь, и оттуда несло сладким и отвратительным запахом карболки.

«Дезинфекцию делали, что ли? Может, эпидемия какая-нибудь открылась?» — подумал мальчик с тревогой. В недоумении он постоял на месте.

Напротив, на баштане, женщина собирала тыквы. Выпрямившись, она, защитив глаза от солнца, уже несколько минут наблюдала за мальчиком, а потом поманила его рукой.

Сережа быстро перебежал дорогу.

— Сегодня их еще до света повезли на вокзал. Говорят, в Брест-Литовск отправляют — крепость разбирать... — сказала она.

И, сунув Сереже огромную тыкву, добавила:

— Бери, бери, не стесняйся! Нехай мама дома кашу кабаковую сварит або плацинды напечет... Батька в тюрьме небось — некому зароблять!

---

[1] Выйти вон (нем.).

Известие, что маму увезли из Одессы, поразило Сережу как громом. Вадим даже не решился его утешать.

За два дня до этого мальчики продавали холодную воду «с лёдом», но, несмотря на то что кувшином и стаканами их снабдила тетя Катя, зеленщица, торговля эта оказалась невыгодной. Лед им обошелся в два карбованца, выручили мальчики тоже два карбованца, а кроме того, очень устали и проголодались. Дни стояли еще теплые, но время шло к осени и «холодную воду с лёдом» сейчас покупали неохотно.

Можно было еще помогать рыбакам наживлять сети, насаживая феринку[1] на крошечные крючочки по краям невода. Тут и кормили отлично и выспаться можно было в тепле, но у ребят не было подходящей одежды, а ранними утрами у моря бывало совсем холодно. Озябшими, закоченевшими пальцами много не наработаешь.

Выкапывать же на чужих огородах картошку и свеклу, как это делало большинство беспризорных ребят, Вадим отказался наотрез.

Поэтому даренная тыква пришлась мальчикам очень кстати.

Они питались ею почти три дня — пекли ее ломтиками на горячих кирпичах, а под конец даже ели сырую. Тыквенные семечки оказались не только вкусными, но и сытными. В эту ночь Сережа и Вадя почти не спали от холода. Наутро было решено снять с себя белье, как-нибудь постирать его в море, сбыть на толкучке и на эти деньги поехать к отцу Вадима, в Дофиновку. Не придется такими оборванцами путешествовать через весь город на Пересыпь. У постоялки же Сережа условился дожидаться Вадима.

А события между тем продолжали разворачиваться.

Восьмой разведывательный отдел немецкой оккупационной армии ни днем, ни ночью не прекращал работы.

Иной раз случалось, что за одной и той же датой

---

[1] **Феринка** — мелкая рыбка вроде камсы.

отсюда рассылалось пять, шесть, а то и семь предписаний, прямо противоречащих одно другому.

Например, в документе за № 148/в от 1 августа значилось:

Партизанские отряды, руководимые коммунистами, расширяют зону действий. Из местностей, числящихся под шифром RH-2, RH-39, RH-4, они продвинулись к железнодорожным путям, в связи с чем участились случаи диверсий на железной дороге. Благодаря содействию сагитированных большевиками служащих и рабочих (стрелочников, сцепщиков, ремонтников и т. д.) составы с такими высокоценными грузами, как уголь, руда, зерно, сахар, в результате злонамеренного перевода стрелок загоняются в тупики, где их разгружают повстанцы или предводительствуемые повстанцами местные крестьяне.

При следовании воинских составов нередки случаи предумышленных крушений поездов.

В связи с чем приказываю:

а) Усилить охрану железнодорожных путей, придав каждому батальону железнодорожных стрелков не менее чем по двадцати солдат и одного офицера из кадровых частей оккупационной армии.

б) Ежемесячно проверять личный состав службы тяги, поездной прислуги и подсобных рабочих; в каждом сомнительном случае подозрительных лиц заменять лицами, сугубо проверенными.

в) На линии Балта-Кодыма снять рельсы узкоколейной железной дороги, проложенной в местности, соседствующей с лесным массивом, общей протяженностью в 127,75 километра. Складские и станционные помещения привести в негодность, исключая таким образом для партизан возможность использовать их в своих целях.

г) Для проверки состояния путей впереди товарных и пассажирских составов пускать поезда особого назначения (смотри секретную инструкцию FCK).

Того же 1 августа последовало новое распоряжение, за № 149/в:

Во изменение приказа № 148/в.

В связи с активизацией партизанского движения в Киевской, Подольской и Волынской губерниях за истекшие два месяца

наше командование понесло большие потери в людях и материалах. Посему приказываю в дальнейшем конвойные команды, сопровождающие арестованных на поездах «особого назначения», комплектовать исключительно из штрафных батальонов. В первую очередь подлежат отправке на составах особого назначения партии арестованных, означенные под шифром REX-110 и REX-111.

О содержании приказа предлагалось широко оповестить населеиие.

Кульчицкая, Нина Леоиидовна, русскоподданная, 33 лет, православного вероисповедания, вдова, отбывающая тюремное заключение по делу «Раабе, Майер и др.», была назначена к отправке на строительные работы в город Брест-Литовск в составе партии REX-110.

Следовательно, сведения, сообщенные Сереже на баштане, были вериы. Однако до отправки в Брест-Литовск арестоваиные были предварительно из тюрьмы переведеиы в Александровский полицейский участок — «для сортировки и медициISCого переосвидетельствования», как сообщалось в рапорте.

И в то время, когда Сережа, голодный, усталый, в полном отчаянии, дожидался Вадима у ворот постоялки, мать его, арестованная № 64 из партии REX-110, находилась еще в Одессе.

У Вадима от голода кружилась голова, поэтому он, ие мешкая в зеленных рядах, зашагал напрямик к квасной будке, за которой торговали с рук подержанными вещами.

Проходя «обжоркой», мимо низких столиков с дымящейся жареиой печенкой и рыбой, мимо колыхающегося на железных блюдах холодца, мимо наваленных грудами пирожков, Вадим старался дышать мелко и часто, чтобы не особенно принюхиваться к соблазнительным ароматам. А солнце начинало уже припекать; во рту у мальчика пересохло, в глазах то кверху, то книзу летали черные мушки.

Первый же покупатель, которому Вадим предложил свой товар, пренебрежительно отвел его руку. Вторая, женщина-перекупщица, пересмотрела, правда, каждую вещь, ио и оиа сказала:

— Носи сам, сынок, на здоровье.

Торговля не ладилась, и Вадим, уже в полной безнадежности, свернул к зеленному ряду, то вытаскивая из-за пазухи злосчастное бельишко, то снова пряча его, когда поблизости раздавался свисток «базарного».

Наконец одну пару белья у него приобрела толстая громогласная зеленщица. Отложив несколько огурцов, помидоров и крошечную дыньку, она, поглядев повнимательнее на мальчика, вынула из-под опрокинутой вверх дном корзины, служившей ей скамейкой, захваченную из дому большую краюху хлеба и в бумажке — немного соли.

— Тогда давай уже и вторую пару! — сказал она решительно.— Просто жалко тебя, потому и беру твою рвань.

Белье было застиранное, но совершенно целое и крепкое, стоило оно значительно дороже, чем дынька, огурцы и помидоры, но у Вадима уже не было сил стоять на солнцепеке.

Стиснув зубы и зажмурившись, он завернул свое приобретение в выданную ему женщиной газету.

А теперь еще предстоял длинный путь на Французский бульвар, к постоялке. Съесть хотя бы кусочек хлеба без Сережи Вадим счел бы за величайшее предательство.

Постояв на месте и переборов вдруг охватившую его слабость, мальчик не глядя зашагал вперед, с натугой переставляя отказывавшиеся служить ноги.

Слава богу, длинный Привоз уже пройден, переулок с деревянными балаганчиками — тоже. За Александровским полицейским участком можно юркнуть в проходной двор и этим здорово сократить дорогу.

Оглушительный свисток больно отдался в висках мальчика. Шагавший рядом старичок железнодорожник испуганно шарахнулся в сторону и чуть не сбил Вадима с ног.

— Переждем, чуешь? — шепнул он с тревогой.— Погнали их уже, видно!

Вадим поднял голову. От ворот участка к Привокзальной площади растянулась длинная цепь арестованных, сопровождаемых конвойными. Бледные, исхудалые

женщины и мужчины шагали вперемежку. Мужчины почти все бородатые.

За арестованными, не обращая внимания на окрики конвойных, бежали плачущие женщины и дети.

Вдруг передний конвоир скомандовал что-то, щелкнул затвором, и вся толпа остановилась.

— Ваденька, откуда ты? — сказал над Вадей тихий, испуганный голос.— А Сережа где?

Совсем рядом с Шалыгиным, крайняя в ряду, стояла Нина Леонидовна Кульчицкая.

— Вы здесь?! Значит, вас никуда не отправили! — закричал Вадим обрадованно.

И так как все женщины и дети, бежавшие за арестованными, стали быстро-быстро передавать по рядам — «для своих» — узелки, горшочки и кошелки с едой, Вадим, сильно покраснев, вытащил из-за пазухи свой сверток и протянул его Нине Леонидовне. Но огромный заросший до глаз черной щетиной солдат оттолкнул его руку, и помидоры, огурцы, хлеб и дынька из разорванной газеты вывалились наземь.

— Ничего, ничего,— бормотал старенький железнодорожник, подавая Вадиму подобранные огурцы,— а мы с тобой калиточкой пройдем... Я там одну хорошенькую калиточку знаю... И кран там рядышком — помоешь для мамаши помидоры и огурчики... Швыдче![1] Швыдче, хлопчик! — и потянул Вадима за рукав.— Володьки моего и сегодня нет. Может, к вечеру еще пригонят... Ничего, ничего,— шептал он, оглядываясь на свернувших в другую сторону арестантов,— а мы напрямки раньше их доберемся... Я там одну калиточку знаю...

Они лезли под колючую проволоку, потом, притаившись за будкой, пережидали, пока мимо прошел немецкий патруль; затем старичок вытащил из кармана огромный ключ и действительно открыл им какую-то калитку.

— Володька мой за взрывы сидит,— бормотал старичок на ходу.— Двадцатый год ему... А вот и «кукушка» ихняя, а иначе «смерть на колесах» называется... Неуже-

---

[1] Швыдче! (укр.) — Скорее!

ли же помирать такому парню! — всхлипнул он вдруг.— Только женили его этим летом...

Вадим тревожно оглянулся на своего спутника.

— Почему «смерть на колесах»? — спросил он испуганно.

По эту сторону вокзала Вадим никогда не бывал. На всем широком, шире Куликова поля, пространстве в разные стороны разбегались подъездные пути.

— Швыдче! — скомандовал железнодорожник и нырнул под вагон.

Голова Вадима разламывалась от боли, но он, пересиливая себя, двинулся за старичком.

В тупике, у самой водопроводной колонки, отчаянно дымил маленький черный паровоз, а за ним скрежетал, но не двигался с места коротенький состав из четырех товарных вагонов кирпичного цвета.

— Ну, сполосни же гостинчик для мамаши! — сказал железнодорожник.

Но Вадим прежде всего подставил рот под толстую сильную струю. Потом он обмыл помидоры и огурцы. А потом, не удержавшись, надкусил один давленый помидор и так и не почувствовал, как проглотил его.

— А вот и они! — дернул старичок его за рукав.— Видишь, мы напрямки раньше добрались.

И, забывая о голоде, о боли в висках, о слабости, Вадим через толпу арестантов кинулся было к Нине Леонидовне, но та, улыбаясь сквозь слезы, отрицательно покачала головой.

Арестованных стали грузить в вагоны. Потом «главный» крикнул что-то, и солдаты убрали приставленные к высоким товарным вагонам доски-сходни.

— Подождем трошки... Бавар этот, главный ихний, сменится сейчас... — сказал старичок, вынимая из кармана смешные толстенькие часы.— Зверь, а не человек!.. Видишь, и мамаша твоя говорит: «Подожди». Сейчас смена караула будет — я уже тут все ихние порядки изучил. Ровно в двенадцать смена караула... Не знаю, конечно, кто у него дежурство примет, но бавар этот ни за какие деньги, ни за какие папироски никого до состава не допустит!

Глава восьмая

„Смерть на колесах"

Где-то очень близко пронзительно засвистел паровоз, но Вадим не в силах был открыть глаза. Потом мальчика дернуло так, что он ударился плечом о какой-то крюк и, не проснувшись еще окончательно, полежал несколько минут. Ровный, приятный шум, убаюкивавший его всю ночь, оборвался. Сразу стало жестко лежать, занемел бок, протянуть ноги нельзя было — в ногах его кто-то сидел. Так и не проснувшись как следует, Вадим прищурился от яркого света. Стена напротив него была вся расчерчена красивыми желтыми поперечными полосками.

«Солнце»,— подумал мальчик и повернулся, чтобы проследить, откуда падает свет. И вдруг, вспомнив все, что произошло накануне, с ужасом сорвался с места, больно стукнувшись головой о верхние нары.

А произошло накануне следующее.

Ровно в двенадцать часов, как и предсказал старичок железнодорожник, «главный» действительно сменился. Заросший черной щетиной баварец сдал дежурство молодому носатому ефрейтору.

Дожидаясь отправки своего сына, железнодорожник проводил в путь, как видно, не одну партию арестованных. Ефрейтора этого он, оказывается, тоже знал.

— Идем к нему, он по-русски балакает. Может, пригодится чем мамаше твоей,— подтолкнул старичок Вадима.

Носатый ефрейтор, нисколько не чинясь, тут же запустил руку в его табакерку.

— И бумажку бери, пане,— угощал старичок,— покурим, поговорим!

Может быть, ефрейтор и знал по-русски, но пока что беседа велась на странном, но, очевидно, понятном им обоим языке.

— Ехаль сегодня? Сейчас ехаль? — спрашивал старичок, отчаянно коверкая русские слова.

— Чичас... Ту-ту! — тоненько, точно забавляя ребенка, прогудел ефрейтор. Он показал рукой, как вертятся колеса. И вдруг выговорил ясно и раздельно: — Смерт на кольос... Шреклих![1] — И, вздохнув, печально покачал головой.— Партизан — пу-у! Бабах! — выкрикнул он неожиданно, страшно выкатив глаза.

— Может, «пу-у», а может, и не «пу-у», чего зря парнишку пугать... — пробормотал старик.

Ефрейтор, не понимая, молча смотрел на него.

— Да ты не едешь с ними — тебе начхать!.. — сказал старик с сердцем.— Это весь конвой? Больше не будет? Вифиль зольдат? Зольдат, спрашиваю, много?

Ефрейтор понял и заулыбался:

— Айн вагон — фюнф зольдатен!

— Всего, значит, цванциг,— подсчитал старичок.

— Найн, фюнф унд цванциг,— с готовностью поправил немец.— Локомотив — тоже.

«Пятеро еще на паровозе»,— догадался Вадим. Ему не терпелось вмешаться в разговор.

— Sagen Sie mir bitte, was ist das «smert na kolios»?[2] — спросил он с тревогой.

Железнодорожник понял его вопрос и рассердился:

— Ты спрашивай чего надо! Чтобы мамаше выйти позволили, попроси! Они по одному, по два человека обязательно выпускают — постирать что, грязь всякую вынести або водички для всех заготовить... А про «смерть на колесах» я сам тебе могу тысячу одну ночь рассказать!

По ходатайству старичка Нине Леонидовне и еще одной женщине в голубой косынке разрешили спрыгнуть вниз. Из вагона им потом спустили ведро, а затем часовые задвинули тяжелую дверь.

Нина Леонидовна тотчас же кинулась к Вадиму с расспросами:

— Где вы сейчас? Почему Сережа не пришел?

— Водички! Водички! — жалобно закричали из вагона.

Нина Леонидовна виновато повернулась к водопро-

---

[1] Ужасно! (нем.)

[2] Скажите, пожалуйста, что это такое «смерть на колесах»? (нем.)

водному крану. Однако напарница ее, сполоснув, уже подставила ведро под струю.

— Вы у Черемушенко? — повторила Кульчицкая.— А почему Сережа не пришел?

— У Черемушенко,— пробормотал Вадим и нагнулся завязать шнурки на ботинке.

— Водички! Водички! — кричали из вагона.

Женщина в голубой косынке, натужась, уже поднимала ведро, а к нему из оконца тянулось не меньше десятка рук.

— Деньги Ольга Ивановна отдала?

— Отдала,— уже увереннее ответил мальчик.— Вот я купил вам кое-что в дорогу...— «Бедный, бедный Сережка, как он там!»

Нина Леонидовна аккуратно отщипывала от краюшки по маленькому кусочку хлеба и бережно отправляла их в рот. Крошки, чтобы не рассыпались, она собирала в ладошку.

— Еще дынька, и огурчики, и помидоры есть,— добавил Вадим, старательно улыбаясь.

— А вы как кормитесь? Вместе с Черемушенко? Деньги еще не все разошлись?

И вдруг, приглядевшись к Вадиму, испугалась:

— Да ты-то сам ел сегодня что-нибудь?

— Это дело поправимое,— отозвался старичок железнодорожник, похлопывая по своей сумке с инструментом.— Подкрепимся сейчас!

И вот они вчетвером, усевшись прямо на землю за краном, «подкрепляются».

Нина Леонидовна по-немецки, а железнодорожник Тарас Максимович по-русски с обеих сторон потчуют ефрейтора. Тот совсем размяк: отчасти оттого, что «из русских уст слышит прекрасный немецкий язык», а скорее всего, потому, что трижды прикладывался к фляжке запасливого Тараса Максимовича.

— Свой парень! — похлопывая немца по плечу, говорит Тарас Максимович.— Храбрец! Расскажи, как ты первым в русские окопы с белым флагом полез! Когда братанье началось...

— Может быть, их тоже угостить? — кивнул Вадим на высыпавших из вагонов конвоиров.

Храбрец ефрейтор поболтал у своего уха фляжкой и поморщился.

— И им будет мало, и нам будет мало,— сказал он по-немецки.

А Кульчицкая перевела:

— На всех не хватит.

— Плохой народ... Отчаянный,— пояснил ефрейтор.— Больше половины — штрафники.

— Штрафники?..— так и вскинулся Тарас Максимович.— Нина Леонидовна, айда́ потолкуем с ними... Кто знает, может, и моего Володьку им выпадет везти!

Но Нина Леонидовна не отрываясь слушала рассказ Вадима о житье-бытье мальчиков у Черемушенко.

Живут совсем неплохо. Помогают немного Наталье Ивановне Черемушенко... Вадим по хозяйству, а Сережа готовит Кольку к переэкзаменовке по русскому... То есть Колька уже сдал переэкзаменовку, а теперь Сережка с ним так просто занимается...

«Ой, не похож что-то Сережка на репетитора!» — испугался было Вадим, но Нина Леонидовна и тут не выразила удивления. Впрочем, единственная пятерка у Сергея была именно по русскому языку.

— А почему ты в шинели? Не жарко тебе?

И на этот вопрос у Вадима был заготовлен ответ. Его новый костюм в стирке, он надел старый, а брюки сзади протерлись, пришлось напялить шинель.

Вадины брюки были действительно сзади дырявые.

— А Сережа здоров? Помнит он, что ему поменьше нужно бывать на солнце?..

— Пошли потолкуем с часовыми,— перебил Кульчицкую Тарас Максимович.

— Низкие люди! — пробормотал ефрейтор презрительно.— Дезертир если — я понимаю... Пятый год мучимся... А вон тот, из первого вагона,— вор. Из хозчасти. Своих же солдат обкрадывал.

Нина Леонидовна быстро переводила каждую фразу.

— А высокий? — спросил Вадим.

— Этот не вор, но тоже, знаете, того... — Ефрейтор повертел пальцем подле лба.— Офицера ударил...

Завести, однако, разговор с часовыми Нине Леонидовне не удалось. Солдаты либо отмалчивались, все вре-

мя оглядываясь на своего «главного», либо грубо кричали: «Назад, стрелять буду!» Поэтому, когда сзади снова закричали «Назад!», ни Кульчицкая, ни Тарас Максимович, ни Вадим, не придавая окрику никакого значения, перешли к следующему вагону.

— Назад! Вернитесь! Комиссия! — снова отчаянно закричал ефрейтор. Хмель его как рукой сняло.

Часовые, до этого мирно посасывавшие свои трубочки, моментально кинулись к вагонам. Двое конвоиров, не настелив даже досок, уже подсаживали в вагон женщину в голубой косынке.

— По вагон! По вагон! — рявкнул ефрейтор уже над самым ухом Кульчицкой.— Комиссия! — И за руку потащил ее ко второму вагону.— Мальшик, старик, спрятаться! — обернулся он к Тарасу Максимовичу с Вадимом.— Нет посторонь! Нельзя посторонь!

Но — увы! — прятаться было некуда. А у первой стрелки — там, где рельсы делали поворот,— Вадим разглядел уже небольшую кучку немецких офицеров.

Тарас Максимович нашелся: вытащив из своей заветной сумки молоток, он медленно пошел вдоль пути, то и дело наклоняясь и постукивая по рельсам.

— Бери мою сумку! Будешь мой подручный,— повернулся он к Вадиму.

Но, пока тот решал, сбросить ему гимназическую шинель или не сбросить, ефрейтор не терял времени. Не слушая возражений Вадима, он схватил его в охапку и подсадил или, вернее, всадил в третий вагон и с грохотом задвинул за ним дверь.

Вадим тотчас же с чьей-то помощью пробрался к окну.

— Nur eine Minute! [1] — утешил его ефрейтор, проходя мимо оконца.— Как комиссия туда,— он показал рукой вперед,— ты сюда,— он махнул по направлению к вокзалу. И предостерегающе помахал пальцем — по-немецки — перед собственным своим носом.

Однако прошло уже минут двадцать, а комиссия все не уходила.

Полный, румяный офицер давал какие-то наставления машинисту и кочегару. Потом расспрашивал о чем-

---

[1] Только на одну минуту! (нем.)

то конвойных. Потом, судя по испуганному и виноватому лицу «храброго» ефрейтора, давал ему нагоняй.

Потом офицеры отошли в сторонку. Полный поднял и резко опустил руку. Паровоз дал свисток и как-то тоненько, не по-паровозному, загудел. Вагон рвануло так, что и Вадим и человек, у которого он стоял на плечах, чуть было не свалились вниз. В широкую щель в полу выхлопнуло пыль и дым, и поезд тронулся.

Вадим кричал что-то, барабанил кулаками в дверь, но за грохотом колес вряд ли кто мог его услышать. Утомившись, мальчик присел на нары. Нары в теплушке были настелены в два этажа, и сидеть можно было, только согнувшись в три погибели.

— Ты что, не в свой вагон попал? — осведомился кто-то из арестованных.— Будет остановка — пересядешь.

— Так ему и дадут гулять из вагона в вагон! — отозвался сосед справа.— Это бы каждый захотел! С нами доедет!

— Да я вообще не отсюда... Я здесь совсем случайно... — начал было Вадим, но, заметив, как недоверчиво переглянулись его соседи, сердито замолчал.

— Все мы здесь случайные,— заметил невесело черный цыганковатый парень.

До темноты поезд останавливался пять раз. На каждой остановке Вадим барабанил кулаками в дверь, окликая конвойных, однако никто не отзывался. За целые сутки из вагона всего один раз выпустили старосту с двумя подручными — вынести парашу и набрать в бак свежей воды.

— Хочешь прогуляться — иди помогай! — сказал старичок с парашей, но Вадим гордо промолчал.

— Сейчас большая станция будет — может, кто из начальства попадется,— сказал сосед Вадима по нарам — паренек в матросской тельняшке. И он же, разглядев на перроне офицера, закричал в оконце: — Герр офицер! Ошибка! Ошибка! Как «ошибка» по-немецки? — повернулся он к Вадиму.

Это-то слово Шалыгин знал. Достаточно было, закрыв глаза, представить себе свой собственный «немец-

кий диктант», а внизу — «Drei Fehler»[1] красными чернилами.

— Фелер! Господин офицер, фелер! — еще громче крикнул парень в тельняшке.— Не смотрят даже! — пробормотал он, сердито спрыгивая на пол.— Ишь, морды на наших хлебах нажрали!

Когда на остановках конвойные, разминая ноги, медленно прохаживались вдоль состава, Вадим не оставлял надежды привлечь их внимание...

— Их бин штатский... Свободный! — кричал он в окошко.— Их бин нихт арестант! Дас ист фелер!

Но конвойные безучастно проходили мимо. Никто из них, даже тот, что ударил офицера, не повернул в сторону Вадима головы.

Стояли уже сумерки, когда поезд сделал шестую остановку.

Вадим машинально сунулся к окну, хотя понял уже, что кричать и звать часовых — напрасный труд. Однако, когда прямо перед оконцем выросла долговязая фигура штрафника, ударившего офицера, мальчик не смог отказать себе в удовольствии.

— Schmutziges Schwein, Dummkopf![2] — с ненавистью выкрикнул он прямо в лицо солдату.— Schmutziges, verfluchtes Schwein![3] — И вдруг замолчал.

Оглянувшись по сторонам, немец швырнул что-то в окошко и таким же медленным, размеренным шагом продолжал свою прогулку.

Записку поднял цыганковатый Илья.

— «Товарищи из третьего вагона! Готовьтесь! — с трудом разобрал он в полумраке.— Через три остановки начинается партизанский район. Женщины предупреждены. Пора вынимать доски».

Здесь, в вагоне, Вадиму уже растолковали, и что представляет собой их «смерть на колесах», и что означает «вынимать доски».

— Ты как понимаешь о себе? Храбрый ты, решительный паренек, а? — спросил сосед в тельняшке, когда в третьем вагоне обсуждали записку из первого вагона.

[1] Три ошибки (нем.).
[2] Грязная свинья, дурак! (нем.)
[3] Грязная проклятая свинья! (нем.)

О выдержке, о терпении Вадима безусловно можно еще поспорить, но трусом его, конечно, назвать нельзя. Только как же говорить о самом себе?

Вадим только смущенно пожал плечами.

— Вынимай доски, товарищи! — распорядился Илья. И, так как старичок староста проворчал что-то из своего угла, он тут же успокоил его: — Да это опять только проба, папаша... Хватит тебе волноваться!

Оккупанты были люди хозяйственные и зря инвентарем не швырялись: для переброски арестантов подавались составы, уже почти пришедшие в негодность,— устаревшие паровозы-кукушки, расшатанные, рассохшиеся товарные вагоны... Вынуть две-три доски из пола такого вагона не составляло особого труда.

— Вынимай доски, товарищи! — повторил Илья.

Затаив дыхание Вадим заглянул в разверзшийся черный люк. В лицо ему пахнуло запахом каленого железа, швырнуло сором и пылью. В черноте слабо отсвечивали две голубые полоски рельсов.

— Значит, помним, товарищи: руки — сначала над головой. Падать разом. Потом руки подтянуть к груди, а ноги, наоборот, вытянуть. Главное — не бойсь! Прыгали и с пассажирских, а сейчас с товарного — никакого риску: колеса высокие, под вагона ровный, ничем не зацепит. Главное, чтобы упасть разом!

Старичок староста опять что-то пробормотал из угла.

— Отрезало, потому что плохо упал. Руки раскинул... А я вот и говорю — руки поджимай под грудь!

Сосед в темноте не мог разглядеть белых пятнышек на скулах Вадима, но, похлопав мальчика по плечу, он сказал ласково:

— По первому разу оно, конечно, жутковато... Ничего — привыкнешь. Надо сначала к мысли этой себя приучить! Вот за женщин я немного опасаюсь: юбки у них, блузочки всякие... Как бы не зацепило колесом...

У Вадима больно защемило сердце. Нина Леонидовна! Нина Леонидовна ни за что не решится выпрыгнуть! Ах, почему они не в одном вагоне!

И снова вспомнил Сережу... Неужели же в таком большом, богатом городе, как Одесса, допустят, чтобы человек умер от голода...

— Ну, последнюю перекличку сделаем, товарищи! — объявил Илья.— Список у кого?.. Чего это так помяли? Товарищи, это важный документ. Нужно его беречь!.. «Номер пятьдесят один — Евдоким Калюжный, строгальщик, завод Гена, Одесса»,— зачитал он, подойдя к самому окошку.

— Есть! — отозвался густой бас.

— «Номер пятьдесят два — Осип Рожицын, слесарь, завод «Ропит», Одесса. Номер пятьдесят три — Николай Данковский, инструментальщик, завод Анатра, Одесса. Номер пятьдесят четыре — Климентий Кузько, чернорабочий, завод Эльворти, Елисаветград».

— Есть, есть, есть!.. — отзывались голоса.

— «Номер пятьдесят пять — Нухим Бершадский, подмастерье часового мастера, Одесса. Номер пятьдесят шесть — Акоп Акопян, чувячник, Ростов-на-Дону. Номер пятьдесят семь — Николай Попов, кассир станции Одесса-Главная. Номер пятьдесят восемь — Семен Драгомирюк, матрос с «Александра Третьего», Добровольного флота, Одесса».

— Есть,— сказал паренек в тельняшке.

Список растянулся на четыре больших листа.

— А тебя как записать? — спросил Илья.

— Вадим Шалыгин, гимназист шестого класса Третьей гимназии в Одессе,— произнес мальчик тихо. И, подняв голову, добавил погромче: — Сын офицера.

— Номер пятьдесят девять — Вадим Шалыгин из Третьей гимназии, Одесса, сын офицера,— повторил Илья спокойно.— Записано! А теперь по нарам! Спать! До утра остановок не будет!

Вадиму в эту ночь почти не спалось. А когда на него наплывала дрема, он видел одно и то же: небо в розовых пятнах, море в розовых пятнах. И они с Наташей в лодке. «Но ты все равно хороший! Только не старайся казаться лучше, чем ты есть».

Потом он открывал глаза. По стенам вагона царапали ветки. Лес здесь близко подступал к железнодорожной насыпи. Через три остановки начало партизанского района.

«Значит, порядок такой,— повторял Вадим про себя,— поднять руки над головой, упасть всем телом вперед, поджав руки под грудь, а ноги вытянув».

Уже начало светать, и мальчик разглядел пристальный взгляд соседа по нарам.

— Не спишь? Волнуешься? — спросил Сеня Драгомирюк заботливо.

— Нет, нисколько,— ответил Вадим, но, вспомнив Наташу, поправился: — То есть немножко, конечно, есть... Страшновато... А забавный этот Илья,— тут же перевел он разговор на другое,— поучает так, как будто он уже не раз сам прыгал!

— А он и прыгал,— ответил морячок серьезно.— Его на расстрел везли. Это же Илья Божко, секретарем подпольной молодежной организации в Николаеве был!.. Везли его, а он по дороге вынул доски и прыгнул. Расшиб грудь немного. Партизаны подобрали его, вылечили. Опять поехал в Николаев, вел под чужим именем работу... опять поймали... А ты в молодежной организации?

— В Моревинте? — спросил Вадим.

— Да они по-разному называются. Моревинт у вас в Одессе. В Николаеве — Ревмол, а то еще одни чудаки назвали Сырев — сыны революции.

— А ты сам в какой организации состоишь? — задал вопрос Вадим.

— Я уже член партии. А ты в Моревинте?

— Еще нет, но вступлю обязательно,— сказал Вадим,— если меня примут...

— Надо, конечно,— отозвался моряк убежденно.

— И если мы выпрыгнем удачно,— добавил Вадим, слабо улыбнувшись. И опять с отчаянием вспомнил Нину Леонидовну. Хоть бы у них в вагоне нашлась такая женщина, как здесь Илья Божко!

— Ну, это завтра ночью, не раньше,— сказал морячок.

Однако ни Илье Божко, ни Сене Драгомирюку, ни Вадиму, ни Нине Леонидовне прыгать на ходу поезда не нужно было. Все обошлось иначе.

Когда поезд сделал седьмую остановку, в дверь третьего вагона сильно постучали.

— Выходи! Часовые связаны! Немецкие товарищи нам подмогли! Надо нам поговорить с ними! — крикнул молодой, звонкий голос.— Есть у вас знающие немецкий язык?

— Есть тут один гимназист у нас! — крикнул Сеня Драгомирюк.

— Я плохо знаю, больше тройки никогда не имел по-немецки,— признался Вадим смущенно. И вдруг вспомнил: — Товарищи! Во втором вагоне едет одна женщина, учительница, Нина Леонидовна Кульчицкая. Она отлично говорит по-немецки!

И судьбой было суждено, чтобы Нине Леонидовне выпала честь («и большое счастье», как всегда добавляла она потом) зачитать обращение «К немецким рабочим и крестьянам, одетым в военную форму», то есть, другими словами, к разоруженным солдатам конвоя, сопровождавшего партию арестантов REX-110.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

„Выпечка восточного теста"

В комнате стоял чердачный запах нагретого дерева и пыли. Собственно, это была не комната, а часть стеклянной террасы, отхваченная кирпичной перегородкой. Сюда же выходило устье огромной русской печи... Кладка была свежая. И перегородка и печь были сложены недавно и даже еще не оштукатурены.

Обилие стекла придавало помещению сходство с аквариумом. Подтверждая это сходство, по зеленому, низкосортному стеклу по всем направлениям стайками летали пузырьки — точно следы, оставляемые проплывающей рыбой. Мысль об аквариуме, очевидно, первой приходила на ум каждому заглянувшему внутрь, потому что и сейчас полный чернобородый мужчина, приложивши руки к вискам, разглядел движущиеся внутри фигуры и крикнул:

— Эй вы, подводники, откройте!

К двери тотчас же пошел высокий, худой студент.

Чернобородый, войдя, критически оглядел помещение.

— Ну, как наши дела? — спросил студент.

— А вывеска готова? — вопросом на вопрос ответил чернобородый.

— Только что закончил — сохнет! — Студент с гордостью перевернул прислоненную к стене фанерную доску. На ярко-синем фоне неба краснобородый турок, сидя, конечно, по-турецки, протягивал девушке грузинского типа что-то вроде небольшой подушки.

Рассмотрев еще раз свое произведение, студент вдруг огорченно покачал головой. Из ящика с красками он вытащил мастихин[1], подправил что-то, и подушка стала походить на хлебец. На девушку и турка, кроме того, с неба градом падало огромное количество булочек, бубликов и саек. Внизу витиевато, на восточный манер, вилась надпись: «Выпечка восточного теста О. Ариана».

— Помещение, с одной стороны, отличное,— похвалил чернобородый, бегло глянув по сторонам.— Все на виду, никому и в голову не придет... Так, значит, я и двое подручных пекарей? Маловато... А там наладили?

— Порядочек! — Студент, шагнув на середину террасы, приподнял крышку люка.

— Вот этим-то меня это помещение и соблазнило,— пояснил Ариан.— Тут, видно, раньше был небольшой винный погребок... Только нужно лучше замаскировать...

Обходя свою «Выпечку восточного теста», Ариан похлопывал ладонью по стенам, по печи. Кладка печи была неумелая, выпирало брюхо.

— Разрешение получил? — спросил студент.

Осторожно развернув платок, Ариан вынул бумагу под стеклом и в рамочке.

— Уже и окантовали,— сказал он.— Фимочка, это нужно будет повесить на видном месте! Ну, теперь мы пудами будем муку возить! — добавил он, сердито щурясь.

Через несколько дней задержавшиеся до осени дачники с удивлением обнаружили, что в их районе рядом

[1] Мастихин — нож, которым пользуются художники при работе масляными красками.

с новым постоялым двором появилась новая булочная. Там всегда можно было достать к чаю чего-нибудь вкусного и гораздо дешевле, чем у Иевлева. Но Иевлев, пекарь с Французского бульвара, поднатужась, конкуренцию выдержал. Ему пришлось сбавить по полкопейки на сайках с изюмом, но он свое наверстал на весе.

На четвертый день после открытия в «Выпечку» под вечер заглянул долгожданный гость — вартовый: что, мол, это за новшество?

Осмотрел помещение — все честь честью, в красном углу висит икона, перед ней теплится лампадка, на видном месте прибито разрешение на право выпечки и продажи хлеба.

— Вы что же, тоже нашу веру сполняете? — спросил он, оглядывая нерусские лица пекаря и его подручного.

— Армяне-григориане,— непонятно ответили ему.

У фонаря вартовый разжал кулак и рассмотрел кредитку. Взятку армяне-григориане дали, как полагается, по-христиански. Вартовый оглянулся на яркий фонарь у пекарни Иевлева. «На него тоже надо насесть — за четыре месяца дал сто карбованцев и в ус не дует»,— подумал вартовый и вдруг оступился.

На дороге, у обочины, лежал человек: мертвый, пьяный — не разберешь. Вартовый осторожно огляделся по сторонам. Если дать свисток или позвонить в ближайший участок, история будет на полночи. А ему сменяться сейчас. Вернувшись, он осторожно постучался в окно «Выпечки».

Впустили его не сразу. В темноте он не разглядел, как сильно дрожали руки Ариана, когда он открывал дверь.

— Тут лежит какой-то пьяный, видно — из ваших,— сказал вартовый неуверенно.— Подберите, чтобы не было неприятностей.

Ариан вернулся в пекарню.

— Пронесло! — вздохнул он с облегчением.— Костя, Фимочка, тут возле нас валяется какой-то пьяный... С одной стороны, это даже хорошо!.. Вы меня понимаете? А с другой стороны, нужно убрать его подальше.

— Пойдем уберем «с другой стороны»,— подмигнул Фимочка второму подручному — Константину.

И оба, опуская засученные рукава, вышли в темноту.

— Да это совсем еще мальчишка,— определил Фимочка, бережно поддерживая голову потерявшего сознание человека,— и ничуть он не пьяный. Константин, снесем-ка его в аптеку напротив да вызовем «скорую помощь».

«Скорая помощь» прибыла в рекордно быстрый срок.

— Ничего серьезного с мальчишкой не случилось,— определил молодой врач, приведя в чувство пострадавшего и снова ныряя в карету.— Вероятно, перекупался слишком.

Спасенный огляделся по сторонам и снова закрыл глаза.

— Да что вы, доктор, сейчас уже не купаются... Он голодный просто,— понимающе вглядываясь в истощенное лицо мальчика, сказал Фимочка.— Доктор, куда же вы? У нас ведь не частный дом... Куда мы его денем в пекарне? Это и с санитарной стороны нехорошо...

Доктор пожал плечами.

— Поехали! — крикнул он кучеру.

Тогда на козлах, рядом с кучером, пошевелилась фигура в белом халате.

— Сергей Иванович, а может, возьмем хлопчика до больницы? — спросил женский голос умоляюще.

— У нас еще четыре вызова, едем! Не задерживайте нас, Клячко! — строго сказал врач.

Но женщина уже свесилась с козел.

— Где эта ваша пекарня? — спросила она Константина.— Я завтра, как сменюсь, наведаюсь к вам... Господи, беда с этими детьми...— добавила она, пытаясь в темноте разглядеть лицо мальчика.

«Новое дело! Она наведается! — подумал Фимочка.— Нам сейчас такие визитеры прямо-таки необходимы!» Но возразить не успел: карета «скорой помощи» уже умчалась. Мальчика снова пришлось тащить к «Выпечке». В пекарне все уже было на месте. Ариан сам выгреб печь и подмел пол. Против ожидания, он даже не рассердился.

— Слабый парнишка! — сказал он, разглядывая мальчика.— Ничего, на восточном тесте поправится! А нам мальчик, с одной стороны, просто необходим. Как скажете, товарищи?

Спасенный парнишка, как только его накормили и уложили на печке, заснул крепким сном.

— Цэ у вас тут вчора хлопчика «скорая помощь» подобрала? — спросила высокая, красивая девушка, уже по-осеннему повязанная полушалком, распахивая рано утром дверь пекарни Иевлева.

Пекарь с досадой повернул к ней красное от печи лицо.

— Нету у нас тут никаких парней, только девки! — сказал он сердито.

— Да що вы мени кажете, знаю я добрэ, що в пекарне коло аптеки! — настаивала девушка.

— Ну ищи его, если мы спрятали!

— Посмотрите за углом — там еще одна пекарня есть,— объяснила сострадательная дочка Иевлева.

Девушка перешла дорогу.

Дверь рванули так, что на пол полетела штукатурка. Константин быстро задвинул кипу бумаги под кровать.

— И чего лезешь, не спросясь! — сердито крикнул Фимочка.— Чуть крючок не сорвала! — Но, разглядев вчерашнюю девушку, подобрел.— А мы твоего хлопчика уже на работу приспособили.

— Он мой такой само, як твой! — отрезала девушка, боком переступая высокий порог, и вдруг, ахнув, уронила на пол узелок. Бублики и яблоки покатились в разные стороны.— Сережа! — крикнула она изо всех сил.

— Франя! — так же отчаянно закричал мальчик, бросаясь к ней.

— «Встреча Стенли с Ливингстоном в дебрях Африки»,— сказал Фимочка, смущенно шмыгая носом.— Дадим им нацеловаться, Костя, мы здесь лишние.

— Отыскали вы наконец Паву? — допытывался тем временем Сережа.

Нет, Павы Франя не отыскала. Он сам («если не брешет», как выразилась Франя) искал ее, на деревенский адрес письмо прислал.

— Я знаю,— сказал Сережа волнуясь.— А там,

в письме этом, он написал что-нибудь о Геншке и о Рожкове?

Франя удивленно посмотрела на мальчика. Фамилию такую — Геншке — она смутно припоминала, но Пава о Геншке ей не писал. Велел только старое письмо, то, что принесли на Новосельскую, обязательно уничтожить...

«А я вот письмо не уничтожил!» — подумал Сережа с раскаянием. Это было для него как нож в сердце...

— Значит, Пава вас не нашел? — сказал Сережа с огорчением.

— Так, видно, хорошо искал! — отрезала Франя сердито.

Как ни хотелось Сереже расспросить Франю поподробнее о Геншке, какой он хотя бы из себя, но сейчас было слишком много лишних ушей.

Через полчаса Франя уже знала о том, как Кульчицкую оккупанты арестовали за «политику», что Сережа с Вадей остались на улице, что Вадим ходил к Веде за деньгами, которые оставила для Сережи Нина Леонидовна, но что «Олька» денег не отдает, что она вообще оказалась немкой и предательницей.

— Что немка — это еще ничего. Из немцев тоже хорошие люди бывают,— возразила Франя,— а вот что женщина она плохая, это да! Так до сих пор мне мои шесть рублей не вернула. А сюда ты как попал? — спросила Франя.

— Вы сами видели — подобрали меня... Франечка, только вы обязательно разыщите Вадима!.. Он пошел продавать белье на толчок... Может быть, его арестовали.

Узнав, что мальчики продавали еще и холодную воду «с лёдом», Франя даже всплакнула.

— А як же гимназия?

— В гимназию не хожу — там надо платить... И потом... посмотрите на мой костюм!

С костюмом на самом деле что-то случилось: либо он сильно сел от частых стирок по «рыбацкой» системе, либо Сережа сильно вырос за лето. Скорее всего, последнее. Штаны теперь доходили ему до половины икр, и мальчик сильно смахивал на Тома Сойера.

— А до Черевушенко почему ты не пошел? — спрашивает Франя.

— Мне и здесь хорошо... Вадим видел Кольку. Отца

его, кажется, тоже немцы арестовали. Наталье Ивановне теперь не до меня!

— Господи, и чего этим немцам надо! — бормочет Франя.— Откуда они взялись на нашу голову?.. А куда же маму увезли?

— В Брест-Литовск, кажется... Крепость разбирать... Ее обвиняют в большевизме...

— Цыц, дурной! — шепчет Франя, оглядываясь на Фимочку с Константином, и, повышая голос, добавляет: — Вот убейте меня, а я не поверю, чтобы така добра жинка, как Нина Леонидовна, та була в коммуне!

Фимочка и Константин не могли не слышать всего этого диалога'

— Слушай, друг Сергей,— сказал студент, подходя к мальчику и ласково поблескивая на него черными маленькими глазками.— Ну, теперь ты уже наверняка останешься с нами... И Вадима твоего мы разыщем, не беспокойся... А вы, барышня, где работаете? — повернулся он к Фране.

— Да я кухарка сроду, вот Сереженька знает... А сейчас працюю у той «помочи», хай им черт! — с досадой ответила Франя.— Нет, справди, приедут, приведут людыну в чувство — и тикать! А хиба ж цэ справедливо? А что тот, бедолага, хворый, або грошей нет у него, або голодный — цэ им байдуже[1]. Хорошо тому докторови, бо вин сам — як вчетверо канат! А яка же цэ «помочь» на самом деле!

— Рассуждение резонное, а, Константин? А как это вы про коммунистов выразились? — спросил Фимочка, еле сдерживая улыбку.

— Выразилась, бо правда... Дэ они все теперечки? Порубаны, постреляны, по тюрьмам... А диточки малые пооставались.

— Ин-те-рес-но! — произнес Фимочка, переглядываясь со вторым подручным.

Через неделю Франя принесла плохие известия. Побывала она у Веде. Ольга Ивановна не впустила бывшую прислугу даже на террасу. О деньгах она и не заикнулась. Куда Вадя делся, Ольга Ивановна сказать не могла.

---

[1] Байдуже (укр.) — безразлично.

— И больше прошу меня не беспокоить,— заключила она.— У меия сейчас бывают такие люди, что я не могу знаться бог зиает с кем.

Мечта Веде, оказывается, сбылась. У входа дачи красовалась табличка: «Домашиие обеды О. И. Веде» и ниже «Nur für Herren Offizieren»[1].

— Куда же делся Вадечка? Может, одии до папы подался? — размышляла Франя вслух.— Нет, ие такой это мальчик, чтобы оставить Сережеиьку в беде!..

Ованес Вартанович Ариаи пообещал мальчику иавести справки о Нине Леонидовне Кульчицкой.

— Ее,— сказал он,— разыскать будет даже легче, чем Вадима Шалыгииа. Уж в чем, в чем, но в неаккуратности оккупантов обвинять иельзя. Канцелярия у них работает! — сказал хозяин «Выпечки».— А раз так — мы всегда имеем возможиость раздобыть сведения из этой канцелярии. Только иаберись терпеиия, Сергей!

И Сережа набрался терпения.

Шли дии, похожие один иа другой.

Только после 15 сеитября иачали разворачиваться события. События, собствеино, начали разворачиваться иемного раньше, ио у Сережи ие хватало силы духа предупредить об этом хозяев «Выпечки».

На 13 сентября пришлось воскресенье. «Выпечка» не работала. Однако все три хлебопека были в сборе. Сережу послали покараулить у калитки.

Ои долго сидел иа камеииой скамейке, пока ие продрог. Тогда, засуиув руки в карманы, он стал быстрым шагом прогуливаться мимо калитки. Тут-то и остаиовил его Иевлев, пекарь с Французского бульвара.

— Греешься, парнишка? — спросил ои добродушно.

— Греюсь... Говорят, в этом году ранняя зима будет...

— А что это у тебя в карманах битком иабито?

Сережа удивился серьезному лицу пекаря, когда тот ухватил его за руку.

[1] Только для господ офицеров (нем.).

— Руки у меня в карманах — ничего больше! — смеясь, сказал мальчик и повертел перед глазами пекаря озябшими, красными пальцами.

— Ви-ижу, что ру-уки,— протянул Иевлев.— Только не нравятся мне что-то твои руки... Не пекарские!

— Ну, какой я еще пекарь... Я пока только еще сметку обметаю или мешки в пекарню ношу, когда муку привозят,— приврал для солидности Сережа.

— Крашеные твои мешки, руки пачкают,— сказал вдруг Иевлев.

Мальчик молча посмотрел на свои руки.

— В краске, говорю, у тебя руки, пекарь,— глядя Сереже прямо в глаза, повторил Иевлев.

Восковки на пишущей машинке пробивались где-то в другом месте. Как их доставляли и как доставляли в «Выпечку» бумагу, Сережа не мог понять. Вероятнее всего, с мукой, потому что ни Ариана, ни Фимочки, ни Константина Сережа никогда не видел с какими-нибудь пакетами.

В «Выпечке» восковки только «прокатывались».

На небольшой ручной валик наливали краску, аккуратно размазывали ее кисточкой, а затем один за другим прокатывали полупрозрачные листки с пробитыми насквозь буквами.

На пишущей машинке зараз можно отпечатать на папиросной бумаге восемь, от силы — десять штук. Через восковку прокатывали один за другим сто, двести, а то и триста экземпляров.

Делал это кто-нибудь один в погребе, при зажженной лампе. Двое других в это время наверху возились с тестом. На всякий случай из погребка вел запасной выход на обрыв, прямо в кусты одичавшего жасмина, а за обрывом уже начинался ход в катакомбы.

Сереже прокатки никогда не доверяли. Он должен был только следить за валиком — хорошенько обтирать его и после прокатки убирать станок. Ариан строго-настрого велел ему быть аккуратным.

— Валик бери тряпочкой. Руки мой бензином, а потом горячей водой с содой. Вон котел круглые сутки кипит зря. А то еще могут обратить внимание.

И вот внимание *обратили.*

Все еще красный до ушей, Сережа стоял у калитки,

глядя вслед удаляющемуся Иевлеву. Пекарь, правда, человек, видно, не злой. Да и что ему до рук Сережи? Сказал так себе просто, а, конечно, у страха глаза велики. Но все-таки день-два где-то в глубине, подсознательно, в Сереже еще сидело легкое беспокойство. Потом оно рассеялось.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

День рождения

15 сентября Сережа Кульчицкий всегда дожидался с нетерпением — это был день его рождения.

Сейчас, однако, занятый своими новыми делами и обязанностями, мальчик, конечно, и не вспомнил бы о нем, если бы не Франя.

Ованес Вартанович первый предложил отпраздновать этот день «как следует», а Фране только того и надо было.

14-го вечером она явилась со своими обычными кульками и свертками. Все еще сидели за столом, похваливая украинский борщ, сваренный Фимочкой. Надо сказать, что признанию за Фимочкой исключительных кулинарных талантов способствовало то, что в «Выпечке» горячее ели один раз на день.

Франя принесла муки, сахару, масла, яиц и яблок — для пирога.

— Завтра будете хозяйничать на свободе,— сказал Ариан,— в «Выпечке» до вечера никого не будет.

За последнее время «Выпечка» часто пустовала. Оставшиеся раз-другой без булочек к чаю, раздосадованные покупательницы вернулись к Иевлеву. Все реже и реже мелькали в пекарне шляпки или газовые шарфики. В «Выпечку» валил другой народ.

Сереже теперь то и дело приходилось приглядывать за лошадьми, пока подводчики с заткнутыми за голенища кнутами втаскивали в пекарню тяжелые мешки или обшитые рогожей кошелки. В ночь на 15-е Сережа слышал сквозь сон стук подъехавшей телеги. Потом он опять вздремнул, проснулся от грохота свалившегося корыта и уснул снова.

Но сон уже был легкий, заячий.

— Двенадцать,— слышал он чей-то шепот,— центрального боя четыре. А это не знаю, сгодится ли?

— Все сгодится! — сказал Ариан.

Очень хотелось взглянуть на ночного гостя, но осень рано началась в этом году, от окон с отвалившейся замазкой тянуло уже почти зимней стужей, а на печке было тепло и уютно. Вздохнув, мальчик только перевернулся на другой бок.

В окошко стучали тонкие ветки железного дерева, и, прищурив глаза, при некотором усилии воли и памяти можно было вообразить, что это вот — затянутое марлей окно детской, напротив шумно дышит Женька Гребенюк, а рядом лежит Вадя. Сейчас скрипнет дверь, и мама потихоньку от «Ольки» принесет им горячих булочек.

Утром 15 сентября Сережу ждал сюрприз.

На столе, аккуратно застланном белой бумагой, были разложены подарки. Сереже прежде всего бросилась в глаза книжка Фенимора Купера «Следопыт».

«Читай и мечтай!» — было написано через всю первую страницу размашистым Фимочкиным почерком.

Не меньше радости вызвал и новехонький самодур[1].

— Осень на дворе, однако бычок идет еще,— смущенно краснея, сказал Константин. Пекарь был похож на большеголового сердитого мальчика, и краснел он совсем по-мальчишески.— Ты, Сергей Андреич, не обижайся, я потом тебе что получше подарю!

Самый практичный подарок сделал Ариан: от него Сережа получил отличный черный полусуконный костюм.

— Неинтересный, с одной стороны, подарок — сам

[1] Самоду́р — особая удочка для ловли рыбы.

понимаю,— сказал хозяин «Выпечки»,— но на другое капиталов не хватило.

— Спасибо, ей-богу, я даже не знаю...— начал Сережа и вдруг быстро отвернулся к окну. «Боже мой, как долго и старательно готовилась мамочка к этому дню!»

К двенадцати часам, когда пекарня опустела, явилась Франя, опять с пакетом, но на этот раз уже не с гостинцем.

— Платье свое праздничное принесла. Надо же потом переодеться, як упораюся!

И вот наконец Франя «упоралася» — управилась.

Стол накрыт той же белой бумагой, но Франя по углам вырезала ее красивыми сквозными фестонами. В баночке из-под меда красуются астры. Под букетом огромный пирог с румяными буквами «С» и «К» (Сережа предварительно нарисовал их Фране на бумажке).

Бумажной же салфеточкой накрыт второй пирог — поменьше. На нем искусно вылепленная цифра XV, выполненная тоже по Сережиному чертежу.

— Нехай большой остается на вечер, а цей съедим,— сказала Франя.— Ты, Сереженька, иди посиди трошки коло калитки, а я переоденусь.

Львиную долю обеда Франя тоже оставила на вечер.

— Що я, не бачу разве, як воны работают и як воны едят! Вон Фимочка вже як чахотка стал!

Сережа со «Следопытом» под мышкой отправился на улицу...

Вначале скамейка казалась ему слишком холодной. Ветер все время дул с моря, бросая в лицо мелким сором. Сквозь осеннюю листву на странице книги больно рябили солнечные пятна. Потом все это мальчик перестал замечать. Прижавшись к стволу дерева, из зарослей лиан выглянул человек с соколиным пером в волосах.

В эту минуту кто-то опустил Сереже руку на плечо. Мальчик поднял глаза от книги. Перед ним стоял пекарь Иевлев.

— Стой-ка, стой, не беги,— сказал Иевлев.— Что, караулишь?

Только теперь Сережа из Аризоны вернулся к действительности.

— Господин Иевлев,— сказал он весело,— я сегодня деньрожденник!

— У вас, видать, каждый день — день рождения! — проворчал пекарь.— Вчерась гляжу — ваш черный меняет пятьдесят карбованцев на папиросы... Да ты не рвись, и тебя видел в аптеке — обратно пятьдесят карбованцев... Заметил я тебя хо-о-рошо, хоть ты ко мне спиной оборотился!

— Может быть, не помню,— сказал Сережа.

— Припо-омнишь! Тут-то я и смекнул. С чего бы это, думаю, у подпекаря да руки в типографской краске?

Теперь Сережа на самом деле рванулся из рук Иевлева, но тотчас же обмяк, слабея от испуга.

— Пустите меня, дядя Иевлев,— сказал он тихо.

— «Пусти-ите»? — протянул пекарь ехидно.— А ты что же думаешь, Иевлев — самый дурной? Иевлев ротом воду носил — себе дом лепил, а сейчас на Иевлева четыре холуя работают... Иевлева хоть в землю зарой — он все одно на тот бок, в Америке, наверх выроется! Иевлев большевичков пережил, хоть они его в разор ввели... А вы небось думали: обойдемся без Иевлева. Нет чтобы по-соседски в кумпанию взять. Поскупились барыши делить!.. Да ты не рвись, не рвись так, голубь, тут должен один человек прийти...

Кусты за Сережиной спиной, позади калитки, тихо шевельнулись, и он явственно расслышал, как кто-то, тихо ступая, пошел к «Выпечке».

«Засада! — подумал мальчик с отчаянием.— Кричать? Вырваться? У такого не вырвешься!»

— Ишь, сердце как колотится,— сказал пекарь,— аж сюда слыхать!

— Пустите! — тихо сказал Сережа.

— Вы думали — Иевлев дурак, Иевлева не надо в кумпанию, мы, мол, себе без него миллионы кредиток напечатаем... А Иевлев возьми да вот вашу фальшивую фабрику и открой!

Сережа вдруг громко захохотал. Пекарь, очевидно, решил, что в «Выпечке» печатают фальшивые деньги.

Из-за угла показалась дочка Иевлева, а за ней неохотно ступал старый знакомый — вартовый.

— Ваше благородие,— крепко держа Сережу, закричал Иевлев.— На месте преступления! Тен, значится, штампуют кредитки, а этот караулит.

— Доказательство имеешь? — лениво спросил вар-

товый. В его районе действительно была фальшивопечатня, и с нее, собственно, и шел в малофонтанское отделение «Державной Варты» основной доход.

— Доказательства налицо: караулит каждодневно. Притом при поимке пытался вырваться. Покажь руки!.. У какого пекаря, скажите, руки в такой гадости будут?

Вартовый скучно глянул на Сережу.

— И чего быть таким настырным? — сказал он вяло.— Ну руки, ну так что? У мальчика обязательно чтобы тебе руки чистые были. А то, как хотишь, мне все равно: идем обыск делать.

Каменная ограда соседней дачи, кусты, переулок, сверкающий битым стеклом и окурками, все это вдруг, качнувшись, поплыло перед Сережиными глазами. Обыск! Это, значит, найдут погребок, валик, восковки! Господи, господи, господи!

— Как бычка на бойню тащу!..— сказал Иевлев, зажмуриваясь от удовольствия.— Ваше благородие, так смотрите же, в случае чего, меня в долю!.. Отворяй помещение! — гаркнул он, рванув дверь.

Крючок отскочил. Дверь распахнулась. Глазам вартового и понятых предстала «Выпечка», полная пара. Еле различимая в этом пару Франя, раскрасневшаяся подле печки, возилась со скалкой подле огромного, вмазанного в печь котла.

Сережа ничего не понимал. Меньше часа назад он оставил Франю в чисто убранной пекарне, собирающуюся переодеваться в новое платье.

— Ой, боже мой,— крикнула девушка испуганно,— цэ вы?! А я вже думала — цэ хозяин вернулся!.. Напугали же вы меня...— продолжала она слабым голосом.— Сядайте, будьте ласковы. Ось я скамеечку оботру... И чего пугаться, скажйте, а я прямо аж трусюся вся!

Сережа смотрел на нее во все глаза. В котле что-то кипело, пенилось, вздуваясь огромными черными пузырями. Вартовый осторожно опустился на скамью. За ним, подумав, присел и Иевлев.

— Чего же это ты трусишься? — спросил Иевлев, подталкивая вартового локтем в бок.

— Ой, я думала — хозяин приехал!..— продолжала

Франя уже спокойнее.— Так он, ничего не скажешь, хороший человек. Тильки мы с племянничком,— Франя кивнула на Сережу и понизила голос до шепота,— колы його дома нэма, вещи в краску принимаем. Все равно казан даром целый день кипит. Ну, хозяин лается, что в пекарне не дозволено... Что руки черные... А що ему наши руки, мы с хлопчиком до теста и не касаемся. А казан вымою с песком — он будэ як новый.

И Франя с натугой повернула что-то в котле.

— А сегодня я вже самой соби платье покрасыла. Высушу, выглажу — будэ як новенькое...

Вартовый, крякнув, разгладил усы.

— Ну? — спросил он, поглядев на Иевлева с дочкой.

Та, не выдержав, фыркнула в полушалок.

— Ступай до-мой, ко-ро-ва! — раздельно и грозно произнес пекарь.— Иди, говорю!.. А с тем — до свиданья,— добавил он, берясь за шапку.

— А вы почекали бы трошки! Может, чаю выпили бы? Та пирожка до чаю? Цэ ж мий племянничек деньрожденник сегодня!

Иевлев от чая отказался и откланялся.

— Тоже мени шпик! Чи вы бачили такого шпика? — иронически кивнул ему вслед вартовый.— С него шпик, как, извиняюсь, из чего-то пуля!.. Так это, значит, племянничек ваш будет? А вы сами, извиняюсь, будете дамочка или барышня?..— спросил он, кулаком разглаживая усы и подсаживаясь к Фране поближе.

Этого случая скрыть от хозяев никак нельзя было. Нужно было рассказать и о грязных руках и об Иевлеве, но Сережа так трусил, что Франя взяла на себя переговоры с Фимочкой и Константином. Ариана она сама немного побаивалась.

— Уж заступлюсь за тебя как-нибудь,— успокаивала девушка Сережу, когда они наконец выпроводили засидевшегося вартового.

Сережа не давал Фране покоя, все время расспрашивая о подробностях.

— Значит, вы подошли тихонечко сзади и все услышали? — допытывался он, вертясь на месте и хохоча от удовольствия.

— Ну да, пошла тебя звать к обеду, бачу — он тебя за руку тянет и про какую-то там краску бурмотит... Стой, думаю, а я же на окне якуйсь краску в бутылочке бачила... Та краску ту — в казан! Та платье новое — в казан!

— Как же вам не жалко было такое хорошее платье испортить?

— Как не жалко! Жалко было платья, но как же иначе?

Заступаться за Сережу Фране почти не пришлось. Вернулись Фимочка и Константин уже поздно вечером, оба усталые и озабоченные. Константин тотчас же лег спать, а Фимочка, мимоходом отщипнув кусок пирога, одним ухом выслушал Франю.

— Да, да, осторожность не мешает... — ни к селу ни к городу рассеянно пробормотал он.— А ну-ка, Франя, держите! — и из-под мешков с мукой вытащил небольшой холщовый узел.

В узле что-то звякнуло. Франя взялась за углы, а Фимочка, торопясь, стал выкладывать на стол обоймы с патронами, патроны врассыпную, пустые обоймы, стреляные гильзы и опять обоймы.

— Франя, не поможете ли вы мне перебрать все это? Пустые гильзы — стреляные — кидайте в ящик. Понятно?

— А вже ж... А те, що нестреляни, може, в обоймы позакладати? — хозяйственно спросила Франя.

Сережа от удивления открыл рот.

— Если успеете... — Фимочка мигом слетал в погреб.

— Потушить свет, может быть? — спросил Сережа, поглядывая на окна.

— Все равно...— махнул рукой Фимочка.— Костя, вставай, двадцать минут прошло!.. А ну-ка, Франя, сюда керосину немножко! — говорил Фимочка, ловко швыряя в печь охапками бумагу.— Эти листовки устарели уже: наступление началось!

И Франя, как будто она всю жизнь только то и делала, что жгла устаревшие листовки, плеснув в печь керосином, деловито чиркнула спичкой.

Константин, свесив ноги с лежанки, охнув, с трудом соскочил вниз.

— Больно? Перевязать, может быть? — озабоченно спросил Фимочка.

— Ничего, сойдет!.. Франя, а ты Сережу сможешь где-нибудь приютить? — спросил Константин.— Здесь ему оставаться нельзя!

— Возьму его к себе,— подумав, решила Франя.— Хозяйка у меня вредная... Но ничего — уговорю.

— Знаешь, ты дурака не валяй! — сказал вдруг Фимочка, проследив, как Константин, сильно припадая на одну ногу, ковыляет по комнате.— Давай перевяжу немедленно, а то потом будет с тобой возня, если загноится...

— Як що треба, то и я можу перевязаты,— сказала вдруг Франя, вытирая руки.— Я же в той «помочи» трохи придывылась...[1]

— Делай свое, Франя...— сказал Константин.— И чего ты девушку задерживаешь? — сердито повернулся он к Фимочке.— Я прямо-таки удивляюсь на тебя, Ефим Абрамович, до чего ты несерьезный человек! Был, кажется, еще с Арианом уговор, чтобы Франя взяла Сергея — и поскорее домой. Кажется, известно тебе: она человек частный, ни в чем не замешанный... А вдруг сюда немцы нагрянут!

Результат разговора был, однако, самый неожиданный. Франя, одернув на себе кофточку, вдруг поднялась с места.

— А хай грянут! — сказала она спокойно.— Тильки так дальше жить уже не можно! Ваши оккупанты вот дэ у меня сидять! — Она похлопала себя по затылку.— Як воны над бидными людями знущаются![2] У нас на Петропавловской повесили одного. Не знаю за що — ну, цэ ихнее дело... А теперь его жинку забрали и били, а она дитё скинула... Уж на що наш народ терплячий, а и то терпець урвался!

— Еще как урвался! — пробормотал Константин угрожающе.— Ну, Франя, хватит растабарывать... Забирай Сергея — и ходу отсюда!

---

[1] Придывы́лась (укр.) — пригляделась.
[2] Знуща́ются (укр.) — издеваются.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

„Коль разлучаются двое"

Вспоминая впоследствии все, что произошло с ним за последние месяцы 1918 года, Сережа не раз задумывался над тем, что, не вернись Ариан в тот вечер в «Выпечку», его, Сережина, судьба, возможно, сложилась бы совсем иначе.

Франя уже отрезала «на дорогу» кусок пирога, завернула в бумагу Сережину обновку — подарок Ариана; уже, обтерев губы, серьезно и истово поцеловалась с Константином и Фимочкой, даже потихоньку перекрестила их издали; Сережа уже тоже потянулся к ним прощаться, как вдруг мимо окна промелькнула какая-то тень.

— Все! — пробормотал Константин.— Ариан! Так нас сейчас отжучит, что чертям тошно будет...

Опасения Константина, однако, не сбылись — Ариан и не подумал никого «жучить».

Сережа никогда не видел владельца «Выпечки» в таком хорошем расположении духа, как в этот день — 15 сентября.

Входя, Ариан даже напевал себе что-то под нос.

— Который час? — спросил он только, озабоченно глянув в окно, а сам, не дожидаясь ответа, прошелся по комнате, собирая мешки и заталкивая ногой под кровать валяющиеся на полу патроны.

— Четверть десятого! — отозвался Константин с сердцем.— Товарищи, так невозможно: или это детский приют, или это штаб! Человек нас с половины девятого ждет...

— Человек этот будет здесь с подводой сейчас и сам все заберет! — перебил его Ариан весело.— Сережа, ты, кажется, мечтал увидеть кого-нибудь из партизан? Так вот сейчас здесь будет один человек... С подводой...

Это до того было не похоже на Ариана, который ни-

когда не говорил ничего лишнего, что даже Фимочка и Константин с удивлением оглянулись на него.

— Товарищи,— произнёс Ариан торжественно,— этот человек сегодня совершил, с одной стороны, невозможное: прорвался через немецкий заградительный отряд с груженой подводой. К «усатовцам»! — добавил он, поворачиваясь к Сереже.

Сережа даже побелел от волнения. «Усатовцы» — это были жители усатовских хуторов на Жеваховой горе, подле Одессы. Они первые сколотили небольшой повстанческий отряд, действовавший против немцев. Помогало «усатовцам», несомненно, и то, что подле самого Усатова находились брошенные каменоломни, которые подземными ходами сообщались с катакомбами, разветвлявшимися под всей Одессой.

Редкий день на базарах не рассказывали чего-нибудь нового о подвигах «усатовцев». То со слов очевидцев сообщалось, как партизаны отбили у немцев пушку, то как четверо человек уволокли в катакомбы троих немецких офицеров, то как в кафе Робина «усатовцы», поставив у двери стражу, отобрали все оружие у перепившихся оккупантов.

— Маленькая информация,— объявил Ариан, оглядывая всех смеющимися глазами.— Это для поднятия духа остающихся. Сто четырнадцатый Бранденбургский полк разоружил своих офицеров и в полном составе перешел на нашу сторону. Только надо сказать: вояки они слабые. Больше их домой тянет... Впрочем, с одной стороны, четыре года вдали от родины...— добавил он тихо.— Немцы-коммунисты, конечно, будут сражаться! А остальные... Пускай едут на родину, там они, пожалуй, нужнее.

За окном продребезжали колеса, и почти тотчас же кто-то громко забарабанил в дверь. Константин выглянул в окно.

— Не лошадь, а клад! — сказал он с удовлетворением.— Смотри, он слез, а она сама заворачивает.

— Он? — спросил Сережа у Фимочки, бросившегося отворять.

— Он самый! — крикнул Фимочка на ходу.— Чего стучишь так? «Выпечку» всю нашу развалишь!

В смутном свете маленькой керосиновой лампы Сере-

жа разглядел невысокого, широкоплечего человека, боком шагнувшего через порог.

— Готово все? — спросил он, чуть шепелявя.— А я сегодня к вам с ночевкой... Приготовьте что надо, я только смотаюсь на Ново-Рыбную. Через час обратно.

— На Ново-Рыбную и я могу съездить трамваем,— сказал Фимочка.— Пиши записку.

— Записку не годится,— сказал приезжий.

— Там Саша Рудаковский сейчас,— вмешался Ариан.— Может, обойдутся без тебя?

—Саша? — обрадовался партизан.— Тогда, конечно, обойдутся.— Он скинул кожух и сейчас стоял спиной ко всем, крепко затягивая на себе пояс.

Сережа старался рассмотреть его поверх Фимочкиного плеча.

— А если кто собирается трамваем ездить, пускай поторопится. Потому как сегодня, не дай бог, все одесские трамваи, случа́ем, станут. У нас про это сведения имеются,— сказал приезжий, засмеявшись, и повернулся к Сереже.

Несмотря на то что человек этот сильно похудел со дня их последней встречи, Сережа узнал его тотчас же. Это был слесарь Федор Иванович, выручивший мальчика в поезде по дороге в Мардаровку.

Сережа от огорчения длинно вздохнул: он ожидал увидеть совсем-совсем другого человека. Если бы мальчика спросили, кого он надеялся увидеть, он, пожалуй, затруднился бы ответить.

Может быть, ему мерещился опоясанный пулеметными лентами матрос с крейсера «Алмаз» или красивый, похожий на витязя в зеленом шишаке красногвардеец с прошлогоднего плаката...

— Не признаешься? Ну, стало быть, я зря тебя тогда в поезде зайцем возил! — сказал слесарь улыбаясь.

Только теперь Сережа понял, почему он не узнал Федора Ивановича сразу по голосу. Сейчас у слесаря не хватало нескольких передних зубов.

Спокойно, точно припоминая урок, Федор Иванович, чуть подняв глаза кверху, добавил:

— Сергей Андреевич Кульчицкий! Так я говорю?

Сережа остолбенело глянул на него.

— У нас информация хорошо поставлена,— сказал

слесарь, хлопнув мальчика по плечу.— Посылают тебе,— начал он, подмигнув Фимочке и Константину,— твои товарищи Вадим и Наташа поклон. И еще, кроме них, одна женщина, которая живая и здоровая и на свободе... Письма́, к сожалению, не захватил — нам, в наших делах, писем не полагается... Кланяется тебе Нина Леонидовна Кульчицкая — родная твоя мать!

Сережа забыл о Фране и сейчас оглянулся, ища ее глазами.

Франя уже не стояла у печки, а, опустив глаза, сидела за столом, спокойно сложив перед собой сильные, стройные руки.

— Франечка, вы слышали — мама на свободе! — крикнул Сережа, чувствуя, как у него подкашиваются ноги.— Франечка, не сердитесь, но я сейчас не пойду с вами! — продолжал он виновато — и вдруг испугался: Франя плакала.

Из-под ее опущенных ресниц быстро-быстро бежали мелкие слезы. Она, не вытирая их, сидела прямо, даже не шелохнувшись от Сережиного окрика.

— Господи, Франя тут! — ахнули за спиной Сережи, и, больно толкнув мальчика, слесарь Федор Иванович шагнул к столу.

Франя продолжала плакать, закрыв лицо руками.

— Франечка! — повторил слесарь упавшим голосом, отнимая ее руки от лица.— Франечка, наконец мы с тобой свиделись!

Он опустился на пол у стола... Франя, столкнув его голову со своих колен, как кошку, продолжала тихо плакать.

— Франечка, я еще среди лета в Одессу за тобой приезжал... И в Александровке тебя искал, и в Кохановку к братове́ [1] твоей ездил... И на отруба до Костыленчихи ходил...

— А Нюську Костыленчиху возил до Ананьева? — спросила Франя хрипло, все еще не отнимая рук от лица.

— Ну, Франечка, ей-богу, что ты за человек, как тебе только не срам! Нюськин же батька в тюрьме, она ему передачу возила...— Слесарь обнял Франю за плечи, но она с силой толкнула его в грудь.

---

[1] Братова́ (укр.) — золовка, жена брата.

Сережа испуганно оглянулся на Фимочку и Константина: «Чего он хочет от Франи, этот Федор Иванович?..»

А слесарь, взяв обе Франины руки в руку, уже насильно уселся за стол рядом с нею. Сережа с удивлением увидел, как Франя, вытерев глаза уголком косынки, облокотившись на руку, повернула к нему взволнованное и радостное лицо.

— Значит, не забув за мэнэ, вояка? — спросила она тихо и, взяв голову Федора Ивановича в обе ладони, заботливо оглядела его, как оглядывают вещь.— Фу, беззубый та поганый! Ой, и люблю же я тебэ!..— закрывая глаза, прошептала она устало. Потом, опомнившись, оглянулась по сторонам.— Срам какой — целый театр при людях устроили! — и попыталась подняться.

Но слесарь вынул железную гребенку у нее из волос, и ее темные блестящие косы, мягко стукнув, упали на стол.

Встретив растерянный Сережин взгляд, Франя так же растерянно улыбнулась.

— Цэ ж мий Павло, Сереженька! — сказала она, всхлипнув.— Пять лет на него чекаю... Ей-бо, не знаю, на що ему такая старая дивка сдалася!

За окном уже было темно и непроглядно. Где-то невдалеке, в конце переулка, постреливали.

Самое страшное было то, что обе наружные стены «Выпечки» были стеклянные, но, кроме Сережи, никто, кажется, об этом не думал.

Константин, порывшись под скамьей, выставил на стол плоскую фляжку.

Франя снова застелила стол бумагой, снова выложила на тарелку пирог и, пошарив по углам, поставила рядом с фляжкой чашку с отбитой ручкой.

Потом все пели красивые русские и украинские песни.

— А давай, Франя, твою! — предложил Пава.— Давно уже мы ее не пели!..

— «Колы разлучаються двое»,— сильно и чисто выводила Франя, скорбно поднимая брови «хаткой» и улыбаясь всем сквозь слезы.

— «За руки берутся воны»,— подхватили Фимочка, Ариан, Константин и Пава.

По тому, в каком порядке вступали в строй голоса

мужчин, понятно было, что эти люди собираются за столом не в первый раз и уже давно спелись.

— Мальчишке больше не надо,— сказал Ариан, когда Константин стал во второй раз обносить всех чашкой.

— Ну, за всех нас! — провозгласил Константин напоследок и сам допил последнюю порцию.

— «И плачуть и важко зитхають»,— вела дальше Франя, горестно перекладывая голову с одной ладони на другую.

— «И плачуть и важко зитхають...» — грустно и торжественно повторяли за ней басы.

Франя опять прощалась со своим Павой. Он опять уезжал от нее, и слезы бежали у нее по щекам, и от волнения перехватывало голос.

Друзья еще долго не вставали из-за стола.

— Эге, уже светает! — сказал вдруг Пава и решительно поднялся с места.

Через минуту он показался в дверях в красивой шубе с каракулевым воротником и в каракулевой же шапке. Франя, бросившись к Паве, со стоном уронила голову ему на грудь.

— Не плачь, Франечка, видишь, каким я барином еду! Эх, зубы золотые не успел вставить! Была бы опасность какая-нибудь — я мальчишку с собой не брал бы. Увидимся скоро.

— Слушайте, товарищи, а почему бы Гнатенко и не взять с собой Франю, а? — предложил Фимочка.— Это, как говорит Ариан, с одной стороны, даже удобно... Шуба роскошная. Стекло. Мыло. Красивая девушка. Мальчик. Никому и в голову ничего дурного не придет...

Все посмотрели на Ариана. Франя — ни жива ни мертва — застыла в дверях. Пава, вытащив из кармана серебряный портсигар, непослушными пальцами пытался взять из него папиросу.

— Ну что ж, товарищи! — произнес наконец Ариан.— Это не с одной стороны, а со всех сторон очень удобно!.. Да она и там, на месте, насколько я ее понимаю, даром хлеб есть не будет,— заключил он.

И все вздохнули с облегчением. Только Константин пробормотал что-то невнятно.

— Чего? — на ходу спросил Пава.

— Совсем ты осиротил нас, Гнатенко,— пошутил

Константин невесело.— Да уж ладно, езжай с удобствами... Эх, Франечка, Франечка, не оценила ты меня по себестоимости!

Сережа выскользнул вслед за Павой на улицу.

— Федор Иванович, то есть Пава, а мама моя знает?..— начал он.

— Расспрашивать в нашем деле не полагается,— коротко сказал слесарь.— Сказано: мама твоя живая и здоровая. А обо всем остальном узнаешь от нее... А тут еще одна твоя знакомая,— добавил он улыбаясь.— Динку не узнаёшь?

«Да, верно, это же Динка — лошадка Бориса Макаровича!..» Но сейчас Сереже было не до Динки.

— Еще один вопрос, Пава, ну один только,— взмолился мальчик.— Скажите только, каким образом Вадим там, у вас, очутился?

— А это на целую ночь разговор... Приедешь — все узнаешь.

— Чего мечешься? — спросил Фимочка, столкнувшись с Сережей в дверях.— Эх, не с Константином ты сшибся! Наступил бы ему на ногу — и конец тебе!.. Помогать хочешь?.. Тогда вытаскивай потихонечку ящики со стеклом! — крикнул студент уже с улицы.

И Сережа сделал наверняка не меньше десяти туров — к телеге и обратно. Он торопился, чтобы еще успеть помочь Константину с Арианом, которые выносили бренчащие холщовые узелки и длинные, похожие на покойников, туго запеленатые в парусину свертки.

Однако Сереже не повезло. Когда он очень удобно пристроил в сене последний ящик с ламповыми стеклами, Ариан добродушно похлопал его по спине.

— Отдохни... С одной стороны, простудиться можно — ты потный, а вам скоро выезжать.

— Я не устал! — сказал Сережа умоляюще.— Ованес Вартанович, можно я еще вам помогу?

— Герой прямо! Ну, пойди к Гнатенко, он покажет тебе, куда мыло укладывать,— сжалился над ним Ариан.

И до самого отъезда Сережа таскал тяжелые и неудобные ящики с мылом.

Итак, все попрощались еще раз и с минуточку посидели «перед дорогой». Потом Пава, перетянув груз бе-

чевкой, сам взялся править. Франя уселась рядом с ним, а Сережу пристроили сзади на мешках.

— Может, тебя тоже привязать, Сергей Андреич? — хмуро пошутил Константин и, торопливо нагнувшись, пощупал, мягко ли мальчику сидеть.

— Не щупай, не щупай, как на перине твой Сергей Андреич доедет,— отозвался Пава. (Что, у него на затылке глаза, что ли?)

— А стекло кто в солому напихал? — спросил вдруг Константин сердито.— Что ему так всю дорогу вверх ногами и ехать?

— Да он же сам и напихал... Ничего, пострадает до постоялки. На Николаевском шляху все равно придется остановку делать,— отозвался Пава,— Дника у меня не кормлена и не поена.

И Сереже, безусловно, пришлось бы страдать до постоялки, если бы не Франя.

Девушка раз-другой оглянулась, и, несмотря на то что оба раза встречала напряженно бодрый Сережин взгляд, она вдруг покачала головой и, перегнувшись назад, на ходу повозки, с натугой передвинула что-то. Потом она сгребла сено, проткнула в нем два глубоких колодца и своими руками сунула Сережины ноги в эти колодцы, подоткнула со всех сторон кожушок, поправила что-то за Сережиной спиной, и мальчику сразу стало тепло и удобно. Слова, которыми изредка обменивались между собой Пава и Франя, доносились до него уже сквозь дрему.

— Федор Иванович, то есть Пава, а я письмо ваше Ксане Федоровне доставил! — вспомнил вдруг мальчик и тут же прикусил язык. («Эх, проговорился! Теперь Пава поймет, что письмо вскрывали,— иначе как бы он узнал о существовании Ксаны Федоровны».)

Слесарь, однако, ни о чем не спросил.

— Знаю,— только сказал он минуту спустя.— А ну-ка, Франя, давай «бессарабскую»! — повернулся он к девушке.— Как это мы про нее в «Выпечке» не вспомнили! — И, обхватив одной рукой Франю за плечи, а другой чуть пошевеливая вожжами, затянул: «Фруиза верди»...

Хорошо поют в Бессарабии! Сережа знал много молдавских песен. Почти каждая имеет припев «Фруиза вер-

ди» — «лист зеленый». Лист зеленый ореха, лист зеленый винограда, лист зеленый боярышника. Сейчас Франя с Павой пели «Лист зеленый черешни» — «Фрунза верди дин череш».

— Как выедем на грунт,— сказал Пава на повороте,— поменяешься с Франей местами. А то еще, может, встретим кого...

Сережа не расслышал, что возразила Франя, но Пава повторил твердо:

— Поменяетесь! Не станет Омелько Гнатович свою супругу на козлах возить!

И, когда повозка свернула на мягкую грунтовую дорогу, Франя действительно поменялась с Сережей местами.

— Ты не свались только,— сказала девушка заботливо.— Да придержи ты ребенка рукой! — прикрикнула она сердито.

«Ребенка»! — повторил Сережа про себя с горечью.— Ой, ничего-ничего вы не знаете, милая, дорогая Франя!»

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Друг генерала Крауса

Искоса Сережа поглядывал на Паву. Сбоку ему была видна только высокая скула слесаря да разбегающиеся от глаза во все стороны морщинки с въевшейся в них копотью.

Значит, это и есть Франин Пава? Сережа до сих пор не мог привыкнуть к этой мысли, и слесарь все еще двоился в его глазах.

Один человек писал: «Напамить прыбывания Бисарабие» и диктовал письмо в госпитале, а другой держал связь с партизанами Одесщины и был начальником над Фимочкой и Константином и, кто его знает, может, и над самим Арианом!

Сережа сейчас даже позавидовал Жене Гребенюку и Вадиму: они отлично знали Паву. Ходили к нему в железнодорожные мастерские, а летом ездили вместе на рыбалку... А Сережа попал к Ольге Ивановне только в 1914 году, когда Паву забрали уже в солдаты.

— Что вы окончили, Павочка?.. То есть, где вы учились? — тотчас поправился Сережа, потому что Франя сердито толкнула его в спину.

Слесарь, не отвечая, смотрел на дорогу. И мальчик порадовался, что за грохотом колес Пава, очевидно, не расслышал его вопроса.

— Кругом учился! — сказал вдруг Пава.— Где только можно было... У себя, в Бессарабии, пять недель в церковноприходское бегал. Потом матка забрала — дома помогать нужно было... В Одессе, в больнице, как мне в мастерских руку придавило молотом, одна фельдшерица, спасибо ей, четыре действия показала... — Пава улыбнулся.— Словом, на студента экзамена не сдадим, но коечего знаем... Больше всего, пожалуй, по тюрьмам учился,— добавил Пава уже серьезно.— Политические — они народ артельный, компанейский, много повозились со мной... — Улыбка, как луч, прошла по его лицу.— Думаешь, не справлюсь? — спросил вдруг слесарь.

Сережа густо покраснел: он действительно только что вот подумал, что Пава может «не справиться».

Из разговора в «Выпечке» мальчик уже понял, что Пава сейчас едет с подложными документами уполномоченного Одесской городской управы. Удостоверение его подписано самим градоначальником Мустафиным. И шуба у Павы самая настоящая «буржуйская». Пава даже колечко с камешком на мизинец надел... Но все-таки... Да и молодой он слишком...

Тут в разговор вмешалась Франя.

— Чтобы он каким-нибудь там Ивановым или Петровым писался, может, и не справился бы... — сказала она, не обращая внимания на Сережины умоляющие жесты.— «Гакает» он по-хохлацки... Так я говорю, Пава?

— Верно! — отозвался слесарь. Он нисколько не был обижен Сережиными сомнениями.— А я ведь не Иванов и не Петров, а «Пацюк Омелько Гнатович». Тоже, видно, не дуже панского роду!.. Не бойся за меня — я один год у гласного думы, Семененко, в младших дворниках

служил. У него на Нарышкинском спуске домина в четыре этажа, а он свою фамилию еле-еле нацарапать может... Как думаешь, Ефросинья Даниловна, справлюсь?

— Ты да не справишься! — сказала Франя уверенно.— Только бы по дороге с таким грузом не сцапали...

— Мама твоя была седая или не была? — спросил вдруг Пава с явным намерением переменить разговор.

Однако смысл его вопроса дошел до мальчика только несколько минут спустя.

— Мама... седая? — переспросил Сережа удивленно.— Откуда вдруг моя мама седая?

— Значит, посивела товарищ Кульчицкая,— сказал Пава задумчиво.— Да, посивела трошки... А так она — ничего, молодцом! — И, смеясь глазами, добавил: — Нет, это просто как в театре: «в замке» мы сидим бедуем, что людей у нас мало, а тут — здравствуйте! — они всей компанией и прикатили! Все политические в полном составе. И это Нина Леонидовна им дорогу показала.

— Отчего же вы смеетесь? — спросил Сережа подозрительно.

— Смеюсь, а что же мне, плакать, по-твоему?.. Ейбогу, все политические с трех уездов. Мы, если бы и захотели, их так быстро в одно место не собрали бы... Спасибо немцам — подмогли. Они даже одного уголовного прихватили, а он у них буханку хлеба спер и удрал на переезде. Только желтые они все были, как после тифа...

— А мама?

— Мама, говорю, молодцом. Стрелять вот только боится, да этого ей и не нужно — мы ее по медицинской части приспособили... А ты, Сергей, не спи, не спи,— добавил Пава,— скоро остановка!

Длинная, похожая на сарай заезжая постоялка была полна народу. Уже вечерело, и хозяйка, чтобы пересчитать деньги, зажгла маленькую лампочку с закопченным стеклом.

Глядя на свет, Сережа у самого порога споткнулся о чей-то мешок — тут же, у дверей, на земляном полу, кружком сидели болгаре. Слесарь кивнул одному из них. Тот снял шапку в ответ. Еще не приглядевшись как следует, Сережа уже почувствовал, как у него заколотилось

сердце: ои узнал и лицо в редких оспииах и голубоватый, малозаметный узор татуировки иа груди.

Вслед за Фраией с Павой протиснулись еще трое. Места в заезжей было мало, и, пока те крестились иа иконы, Сережа быстро шагиул к столу. Фраия с Павой пристроились иапротив иего.

— Видят, кажется, что своя кумпаиия сидит, иет, обязательио им надо до этого стола!..— проводив Фраию виимательиым взглядом, сказал сидевший под самыми образами человек в улаиской, с желтым околышем, фуражке.

Хлебнув из стакаиа водки, он, поморщившись, понюхал корку хлеба и, продолжая начатый разговор, повернулся к почтительно слушающим его соседям:

— Такой уж у меня характер... Может, это до меия совсем и ие касается, ио я терпеть ие люблю беспорядку... В степу пройду — обязательно посмотрю, где зерио рассыпаниое, в хате — где сор по углам ие заметен... Твоя колбаса? — спросил ои, огляиувшись на пария в синей рубахе.— Люблю, поиимаешь, домашиюю еду: покупиое и дорого и здоровью вредит.

— Угощайтесь! — сказал пареиь, пододвигая узелок.

— Про то, какое я есть лицо,— миогозначительио глядя иа чуть покрасиевшую Фраию, продолжал человек в улаиской фуражке,— мы об этом сейчас говорить ие будем. Я, допустим, сейчас иахожусь в отпуску, штатский, можио сказать, человек.— Он пьяно качиулся в сторону.

— Гуляйте! — сказал подслеповатый мужичок, иаливая его стакан до краев.

Опустив в стакаи толстый палец, человек в уланской фуражке долго ловил в водке соломиику, ие поймал, иахмурился и вдруг, повериувшись к Паве, строго спросил:

— Что везете, добродию?

— Ламповое стекло и мыло — железнодорожникам. Для ускорения дела,— ответил Пава.— Послаи за топливом из управы. Бумажку сам его превосходительство, градоначальиик Мустафин, подписал.— Развязывая свой узелок, Пава добавил: — Угощай, Фраия, что же ты!

Сережа с огорчением проследил за тем, как кусок пирога исчез в толстых пальцах его соседа.

— Разрешите погреться? — добавил Пава, протягивая руку к зеленому запотевшему штофу.— С нашей стороны за вторым дело не станет.

Человек в уланской фуражке неохотно пододвинул ему стакан.

— Ламповое стекло? — переспросил он.— А то я тоже знаю один случай...

— Гуляйте! — сказал подслеповатый и, выждав, чтобы слесарь выпил, снова налил все стаканы до краев.

— Ты слушай, когда старше тебя лицо рассказывает! — одернул его человек в уланской фуражке.— Так вот — вез как-то один старый дед гарбу сена, а в сене — глечики, макотры, крыночки... Везет от села до села, кричит: «Бабочки, глечики, макотры, бабочки!» Ну, как говорится, мурло, мужик мужиком... А потом возле Киева его споймали, а у него под сеном, понимаешь, глечики!..— заметно хмелея и обводя всех тяжелым взглядом, сказал человек в уланской фуражке.— Под сеном у него... пулемет разобранный...

— Дыви![1] — восторженно ахнул парень в синей рубашке.

— ...пулемет разобранный, наганы, трехлинейки! — грозно повернулся к нему рассказчик.— Вот тебе и «дыви» — для красной сволочи оружие!

— И вы же самй его и споймали? — почтительно осведомился подслеповатый.

— Я или не я — это другой разговор. Я это к тому, что в настоящее время — Мустафин не Мустафин,— но кажную подводу надлежит осматривать!.. Чего лоба не перекрестишь? — вдруг строго крикнул он Сереже.— Са́дишься за стол — обязательно лоб крести! Сестричка вот або тетенька не научила! — не то укоризненно, не то ласково повернулся он к Фране.

— Устал хлопчик с дороги... — отозвалась Франя виновато.— А вы что же не едите? — и снова пододвинула человеку в уланской фуражке пирог.

— Вы на меня не смотрите, что я в головном уборе,— с полным ртом пояснил тот невнятно.— Я, допустим, человек контуженый.

Загремела цепь у ворот, кто-то проскакал мимо окна,

[1] Дыви́ (укр.) — смотри.

на минуту заслонив небо, и вдруг, перебивая вялый свет лампы, в окно ударил луч электрического фонаря.

Мимо двери прошло много людей.

— Сюда, добродию! Хозяйка — что надо! — сказал простуженный голос.

Не тронув клямки, кто-то сильным ударом ноги распахнул дверь. Человек в уланской фуражке повернул лампочку — и на порог упал скучный свет. Сережа разглядел высокого, плечистого хлопца в красивом синем жупане и смушковой папахе с красным верхом. В заезжей все молчали, разглядывая человека в дверях. Он тоже стоял молча, чуть покачиваясь на высоком пороге.

— Что за люди? — спросил он наконец, снимая с себя папаху и выбивая ее о косяк двери.

Во все стороны полетела радужная пыль — перед вечером пал туман.

По бритой шишковатой голове вновь прибывшего от затылка к виску шел голубой недавний шрам. Длинный оселедец спускался с его макушки за правое ухо.

Звякнув шашкой о порог, человек шагнул в заезжую и снова напялил на себя папаху.

— Что за люди, говорю? — повторил он сердито.

— Из личной охраны его ясновельможности генерала Стельницкого,— приосанившись, сказал человек в уланской фуражке.— Прибыл в отпуск в родимые места... А вы кто будете?

— Это какого же Стельницкого? С третьего украинского корпуса? — пробормотал приезжий, садясь к столу.— Гетманец? И чего это вы вси до того гетмана, як воши до кожуха?.. Олии ни у кого нету? — И нога об ногу снял с себя сапоги.— Вот беда — задник ногу намýлив...[1] Масла ни у кого, говорю, нету?.. Хозяйка,— крикнул он за перегородку,— а ну-ка, мне рюмочку масла, живо!

Сонная хозяйка, сердито шаркая ногами, вышла, щурясь на свет.

— Кажному по рюмочке... — начала она, почесываясь, и вдруг, разглядев гостя, замолчала.— Бежи, Костык, до бочоночка,— зашептала она за перегородку,— наточи дяде в лафитничек олии.

— Ну то-то,— сказал приезжий.— Тряпочку дай!.. —

[1] Намýлив (укр.) — натер.

кинул он, принимая от хозяйки стаканчик. И, налив масло на белый лоскуток, приложил его к пятке.— Теперь будэ краще! — сказал он, повеселев.— То як видпуску гетман дае? — повернулся он к гетманцу.— Не нуждается в охороне?

В самом вопросе не было ничего обидного. Но по тому, как приезжий прищурился и, локтями врозь, оперся о стол, повернув к гетманцу веселое и злое лицо, Сережа понял, что затевается ссора. За соседним столом люди, оставив еду, притихли.

Гетманец, вынув изо рта недожеванный кусок колбасы, озадаченно молчал.

«Сейчас начнется, сейчас начнется! — думал мальчик.— Ну вот и чудесно!» Он очень испугался, когда гетманец заговорил о старике с глечиками.

— А я, знаете, ни до чего не мешаюсь... Что с гетманом, что без гетмана — одно счастье,— махнул рукой человек в уланской фуражке.— А вы самй с откуда будете? — спросил он почтительно.

— Мы — люди прóсти, не ясновельможни,— сказал приезжий,— але с нами сам его высокопревосходительство генерал Краус за ручку здоровкается... Про генерала Крауса слыхал?

— Слыхал обязательно — генерал от инфантерии Краус, с немецкого штаба, наш головной начальник... Он же над нашим генералом Стельницким поставлен...

Человек в папахе, все так же щурясь, оглядел гетманца с ног до головы.

— Наплевал он на вас с вашим генералом Стельницким! — сказал он зло.— Ваши гетманцы всэ бильш по городам ховаются: мужикив боятся... А мы... — человек в папахе, поставив между босых ног шашку, крепко налег на нее грудью,— мы мужикив не боимось! Нехай мужики нас боятся!.. Так, хлопец, чи не так?

Сережа не увидел, а угадал легкое движение Франиных губ.

— Так, конечно! — подтвердил он.

— Который мужик сознательный, тот свою пользу всегда понимает... Вот у батька нашего два млина и крупорушка. Неужели же красной сволочи задаром отдавать?

Гетманец сочувственно вздохнул.

— Ты, хлопец, пана Петлюру бачив колы-нэбудь? — спросил друг генерала Крауса.

— Нет,— громко проглотив слюну, ответил Сережа.

— Ничего, як трохи пидростэш, та выйдэ с тебэ до-обрый казак, я тебэ аж до самого пана Петлюры прыставлю!

«Ага, вот, значит, какие они, петлюровцы!» — с любопытством и ужасом подумал Сережа.

— А то що за люды? — вдруг строго спросил петлюровец, уловив неодобрительный шепот в углу, где сидели болгаре.— Чего таки чёрни? Турки чи жиды?

— Вот и я это самое говорю! — обрадованно подхватил гетманец.— Терпеть не люблю всяких этих народностей! Что молдаване, что жиды, что болгары — одна шатия... А я вот вам сейчас одну кумедию докажу... Эй, вы, кто-нибудь один с вас — иди до стола! Кто с ваших хорошо по-русски умеет?

Болгаре переглянулись, но никто из них не тронулся с места.

Гетманец посмотрел на человека в папахе. Тот перетянул на шее шнур и выложил на стол наган.

Огонь лампы острыми язычками стоял в неподвижных глазах петлюровца. Сережа вздрогнул. Петлюровец улыбнулся, показывая красивые волчьи зубы. И, как бы в ответ на эту улыбку, с полу поднялся один из болгар и шагнул к столу. Проходя мимо Павы и Сережи, он не глянул даже в их сторону.

— Ну, то-то... — сказал человек в папахе, скучнея.— Давай свою кумедию! — повернулся он к гетманцу.

— Болгарин? — спросил тот.— Ну-ка, руки по швам, отвечай по форме: какого года, с откуда, в каких частях служил, всэ честь честью, як полагается.

— Бóлгарин. Станков Тодор. Восемьдесят пятого года. Хутор Господинова... Матрос первой статьи, уволен в бессрочный с крейсера «Светлана».

— А теперь скажи ты мне, как по-вашему будет слово «бумага»? Ну, что пишут на ней?

Болгарин, медля, оглянулся на своих. Они, вытянув шеи, прислушивались.

— Книга,— сказал он наконец.

— Бумага — книга! Ну, не кумедия?.. А теперь скажи мне, как по-вашему будет слово «ружье»?

— Пушка,— ответил болгарин неохотно.

Человек в папахе коротко хохотнул. Оглянувшись на него, гетманец залился долгим, пронзительным хохотом.

— Абы русское слово перековеркать! Вот банабаки! — махнул он на болгарина.

Тот шагнул было назад.

— Стой! — сказал петлюровец грозно.— Ваша ясновельможность, давай дальше!

— Стой, когда тебе говорят! Ну, теперь скажи мне, как по-вашему будет «дамочка замужняя»?

Редкие оспины на лице болгарина потемнели.

— Булю, булка,— сказал он, не поднимая глаз.

— Ну, не кумедия, скажете? Женщина по-ихнему булка! Ой, не могу! Ха-ха, хе-хе-хи-и! — мотая головой и ложась на стол от смеха, завизжал гетманец.— А глубокие, извиняюсь, калоши по-ихнему «долбоки калоши»... Что, может, неправда? А ты свою булку любишь? — Привстав с места и подмигнув петлюровцу, он что-то тихо сказал болгарину.

Проехав по столу, упала и потухла лампа. Негромко ударил выстрел, и тотчас же за перегородкой пронзительно взвизгнула хозяйка. В темноте на полу, хрипя, сцепились несколько человек, а под потолок ушел сизый заметный дымок.

Однако прежде всего этого Сережа увидел, как коротко и точно вылетел вперед кулак Тодора Станкова, а гетманец повалился назад, подламывая хилые ножки стола.

— Идем!..— Франя потянула Сережу за рукав.

Навстречу им из темноты нежно заржала соскучившаяся Динка.

— Бегом! Бегом! — хриплым шепотом сказал кто-то сзади.

Сережа оглянулся. За ним стоял Пава. Франя юркнула под телеги.

— Ну, где же ты, Франя?..— сердито шепнул Пава.— И тот чего-то возится! Ну, нехай догоняет! — проворчал он, все еще тяжело дыша. Оглядываясь, Пава разобрал спутанные вожжи.— Эх, не было бы вас!..— добавил он с досадой.— Взял на свою голову!

От заезжего двора спустились не вниз, а, объехав задами, свернули вправо. На повороте Динка испуганно

шарахнулась: в подводу прыгнул кто-то четвертый. Пава стегал лошадь, все время оглядываясь. С трудом повернули еще раз по вязкой земле и выехали на неширокую дорогу.

— Люди óранку[1] кончают! — робко шепнула Франя, сильно втягивая в себя воздух.

— Ну, друг,— поворачиваясь к четвертому, сказал слесарь с укором,— не ожидал я от тебя такого дела!

— Виновэн,— тихо сказал человек.

И по голосу Сережа узнал Тодора Станкова.

— Шутишь, взяли бы тебя, так про все твои фокусы доведались бы. Всех твоих... да что я говорю — всю Дофиновку из-за тебя поперехватали бы.

— Брали уже меня. И вот ничего не доведались — выпустили.

— Сейчас бы не выпустили! Ты же парень хитрый. Хитростью с ними надо...

— Не хитрости сейчас у меня в голове, другарче[2],— сумрачно сказал болгарин.— Про Маню мою слыхал? Два года по докторам возили, и вот — не помогло...

Потом долго ехали молча.

— Видите, как спелись! — вдруг сказал Пава с сердцем.— Петлюра, помнишь, все против оккупантов кричал. Кулаки хлеб от немцев прятали... А теперь, смотри, Краус — их головной начальник!.. Раньше все они грызлись между собой,— пояснил Пава, сердито щурясь.— Добровольцы царя поставить хотели, против немцев шли. Гетманцы — за щиру Украину, за помещиков то есть, Петлюра — за кулаков... А сейчас, видят, и с немцами и между собой они как-никак договорятся. Советская власть пострашнее — вот они и спелись... Жив еще? — спросил Пава, тронув в темноте Сережино плечо.— Не спишь?.. А что это погони нету? Передрались они все там, что ли?

— Не будет! — виновато сказала Франя.— Павочка, ты не сердись уже, но я у них чисто вси постромки ножом поперерезáла... Это я, как под телеги лазила...

---

[1] Оранка (укр.) — пахота.
[2] Другáрче (болг.) — товарищ.

— Эх, комиссару какому-нибудь такую жинку, а не мне! — отозвался Пава растроганно.

Потом долго ехали молча.

— Тут я слезу,— сказал на переезде болгарин,— кукурузой доберусь... А в постоялки вы больше не заезжайте.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Самое главное

— В постоялке не в постоялке, а покормить Динку еще разок все-таки придется! — говорит Пава.

Это Сережа слышит уже сквозь сон. За два дня пути они несколько раз останавливались подле обыкновенных хат, а один раз — у паровой мельницы пана Гонсиоровского. И всюду сгружали то узелки, то кошелки, то длинные, зашитые в парусину тюки. Это и называлось «кормить Динку». С Франей Сережа уже не раз менялся местами, но на передке, несмотря на кожушок, очень продувало, и к вечеру мальчика обязательно пристраивали сзади, на мешках. Франя и сейчас заботливо укутывает его ноги сеном.

— Ну, теперь груза меньше... Удобнее сидеть? — весело спрашивает девушка.

Сейчас, правда, за Сережиной спиной уже не обваливаются бренчащие узлы, но сидеть все-таки не стало удобнее: по днищу повозки, весело перекатываясь от борта к борту, все время снуют какие-то круглые штуки. И Сережа вынужден каждый раз с опаской поднимать ноги. От этого болят икры и ноет поясница.

— На Кохановку поедем? — спрашивает Франя.

— Не по маршруту Кохановка,— отзывается Пава,— крюк большой... Но ты у меня, Ефросинья Даниловна, с постромками этими заслужила вполне!

— Я не потому... — говорит Франя смущенно.— На Кохановку народу меньше. А у Мардаровки немцев

всегда до черту! Да ведь и там, в Кохановке, Павочка, люди тоже ждут не дождутся...

— Да уж знаю... — И Пава ни с того ни с сего, бросив вожжи, обхватывает Франю и крепко целует.— Да спит он, ничего не видит,— замечает он на укоризненный Франин шепот.

Сережа не спит. Он даже изредка открывает глаза и проверяет, куда они едут. Вот баштан, шалаш. Сторожа не видно — только тлеет огонек цигарки. Снова баштан, снова шалаш... Кругом — ни деревца, ни кустика, голая степь... Значит, все-таки свернули на Мардаровку. Хорошо — ближе к маме!

«К маме?» — укоризненно спрашивает чей-то голос. Сережа отчетливо слышит этот голос, но он все-таки еще не спит. Наташина голова с длинными свесившимися черными косами так низко наклоняется над ним, что можно коснуться этих кос рукой. Однако даже во сне Сережа не решился бы протянуть руку.

«Как по-твоему — Наташа хорошая?» — спрашивает он маму. «Очень хорошая!» — говорит Нина Леонидовна серьезно.

Потом, неуклюже подпрыгнув, из соломы вспархивает птица киви. Значит, кости у нее внутри все-таки полые? И много голубей... Федька Рубан передает Сереже шест с белой тряпкой...

Подводу сильно дергает.

— Тпрру! Приехали! — говорит Пава.

Из открытой двери низенькой хатки на дорожку коротко падает свет. Он не доходит даже до ворот. В свете этом отчетливо видна каждая травинка, каждый камешек, бугорок земли. От кустика подорожника падает тень, как от развесистого дуба.

— Давай, давай! — говорит Пава и подхватывает Сережу под мышки.

Цепляя ногой за ногу, мальчик идет на свет.

Хлопнула дверь.

Сереже указывают место на твердом топчане, и он снова засыпает. Снится ему лето, костер. Гарью пахнет так сильно, что мальчик открывает глаза.

Прямо над своей головой он видит огромную дыру с ясно проступающим камышовым скелетом потолка. Дымом ест глаза.

— Чай готов! Поднимайся, паныч! — кричит Пава весело.— Неси с подводы картошку!

— Какую картошку? — говорит Сережа сонно.

А Пава громко смеется:

— Ты что — забыл? Всю дорогу под ногами каталась — Франя в дырявый мешок насыпала.

Сережа, покраснев, быстро сбрасывает ноги с топчана. Ему кажется, что Пава и Франя, пересмеиваясь, шепчутся у него за спиной.

«Пусть докажут! — думает Сережа с отчаянием.— Может быть, я потому и поднимал ноги, что боялся раздавить картошку!»

На дворе сильно потеплело. Ветер мирно распахивает Сережин кожушок. Где-то неподалеку похрустывает сеном и переступает по доскам Динка. Млечный Путь такой яркий, что от него светло, как днем. Только он то разгорается, то пригасает — как будто по звездам ходит ветер.

У Сережи сразу становится легче на душе. «Ну, боялся, и что из того! — думает он уже совсем спокойно.— А главное, какой же я осел! Снаряды-то сейчас совсем не круглые... Это когда-то были круглые ядра и пули».

Возвращается он, таща на спине почти полный мешок картошки. Когда Сережа открывает дверь, кто-то опрометью бросается в угол. Но Пава тотчас же вытаскивает упирающуюся девочку из-за печки. Господи! Да это Домочка — Франина племянница! Сережа оглядывается по сторонам и тут же, бросив мешок, бежит к двери. Конечно, вон лес, а там на горбочке — ветряк... Это Кохановка! Значит, они поехали не на Мардаровку, а со столбовой свернули на Кохановские отруба.

— Ну, знакомься с барышней,— говорит Пава.

Сережа хочет объяснить, что они с Домочкой знакомы еще с лета, но девочка молчит. Хозяйка и гость равнодушно подают друг другу руки.

— Эх ты, Домна Павловна! — говорит Франя с укором.— Мамы нету, так ты и потолок подмазать не можешь!

Домочка оглядывается на Сережу и только потом отвечает:

— А я ночую у тети Клавы... Мама не велели в хате убираться.

Стол уже накрыт. От закопченного, перевязанного проволокой чайника идет синий чад: у ручки и у носика тлеют тонкие угольки — чай сварен в печи, на соломе. Молоденькая хозяйка поставила на стол зеленые стаканы, хлеб с отломанной верхушкой и даже немного рыжего сахарного песку в блюдечке. От него душно и ядовито пахнет чем-то очень знакомым, только Сережа не может припомнить чем... Крапивой как будто или болиголовом?..

После четвертой чашки Сережа вдруг кладет голову на стол.

— Заморился сильно? — спрашивает Пава.— А я хочу еще тебя послать по селу с Домочкой... Нехай обойдут, знаешь, те хаты,— поворачивается он к Фране.— Надо же раздать людям последиее... Нехай соберут народ...

Сережа чувствует, как сон идет от пяток по костям, приятно ломит руки, ноги, плечи... Глаза закрываются сами, но мальчик покорно встает из-за стола. Его чуть шатает в сторону, и он опирается о печку, глядя на топчан.

Маленькая сухая ручка трогает Сережу за руку.

— Лягай спать! — говорит девочка тихо. А погромче: — Я сама пойду, титка Франя, на что он мне нужный!

Домочка накидывает полушалок и, придерживая его подбородком, сует ноги в рыжие огромные сапоги.

— Ночь на дворе. Не боишься? — спрашивает Пава улыбаясь.

— А что мне ночь? Звезды — все видать,— отвечает девочка, спуская закатанные рукава.

— Упрямая она у тебя! — говорит слесарь одобрительно.— Боевая! А то — захватила бы с собой кавалера, а?

— Крепко он мне нужный! — повторяет Домочка сухо, но тотчас же оглядывается на Сережу, чтобы тот понял: она совсем не сердится, а просто жалеет его.

— Ну, твое счастье — лягай спать, кавалер! Не принимает тебя барышня... Ух, и упрямая же она! — повторяет Пава.

Сережа встречается с Домочкой глазами. Ему немножко стыдно, но все-таки очень хочется спать. Ничего Пава не понимает — Домочка совсем не упрямая. Это у

нее сейчас такое выражение, потому что она подбородком придерживает на груди платок. Но она совсем не упрямая...

Виновато попятившись к топчану, Сережа укладывается, даже не сняв кожушка.

— Ботинки бы скинул... — откуда-то издалека нерешительно говорит Домочкин голос.

«Нет, она замечательно добрая, Домочка, Франина племянница!»

И просыпается на следующее утро Сережа с этой самой мыслью.

Домочка действительно по-настоящему добрая. Если бы она не подняла Сережу на рассвете, мальчик проспал бы самое главное. Она так и сказала:

— Ой, вставай скорее! Тут сейчас самое главное будет! Потом ляжешь — доспишь... На, поешь хлебца с сахаром. Только сперва сполосни глаза водичкой и перекрестись, а то — грех!

Утром Сережа постарался рассмотреть Домочку как следует. Она очень вытянулась за лето. Брови у нее в точности как у Франи. Даже смешно, когда тетка и племянница стоят рядом. И глаза у Домочки большие — не то серые, не то карие. А кончики ресниц рыженькие — выгорели на солнце. Но главное то, что она добрая.

— Домочка, напрасно ты тогда не поехала со мной и Борисом Макаровичем... — начал было Сережа.

Но, улыбаясь всем своим гладким, свежевымытым личиком, Домочка торопила:

— Бежим, а то скоро кончится!

Празднично было справа от хаты. Туда солнце прорвалось первыми, еще холодными малиновыми лучами. Там все сверкало и пылало, а больше всего — вода во врытой в землю длинной колоде, косынки на женщинах и бредущие через двор гуси...

Слева от хаты стояла голубая, стеклянная, почти еще ночная тень, а над расщепленной грушей висел прозрачный коготок молодого месяца. И слева и справа было полно народу. Кругом, на сколько хватал глаз, пестрели человеческие головы. В цветастых украинских и черных

болгарских платках, в смушковых шапках, в картузах, в косынках... Много было и защитных форменных ушанок.

Сбросив свою богатую неудобную шубу, держа в руках шапку, Пава выкрикивал что-то в толпу, и от этого вблизи его было плохо слышно. К старой гарбе, на которой стоял слесарь, цепочкой, непрерывно двигались люди. Одни отходили, подходили следующие, как на страстной неделе к причастию.

Женщины аккуратно доставали торбы или кошелки и бережно пристраивали свое приношение на досках. Мужчины смущенно клали буханку хлеба или кусок сала и отходили торопясь.

— Все равно оккупант заберет,— говорил иной, точно оправдываясь.

— Я только шестнадцать хат обошла, а смотри — сколько народу собралось! — говорила Домочка сияя.— И с того боку люди пришли.

— Подбросим им немножко продукции — они теперь до конца продержатся!.. — кричал слесарь в толпу.— Благодарю крестьянство от имени Одесского губернского повстанческого комитета!

— Тильки крестьянство, а за рыбалок забулися? — весело отозвался молодой женский голос из толпы.

— За копченую и соленую рыбку — большое спасибо! А особо — за оружие благодарю рыбаков от имени Одесского губернского повстанческого комитета! — махнув шапкой в толпу, повысил голос Пава.— Особая благодарность за херсонскую пушечку и за очаковские пулеметы!.. Что касаемо немцев, то немцам, товарищи, приходит конец! Сильно мы их потеснили под Николаевом, а тут еще у них у самих, в Германии, революция заворачивается... Только, товарищи, надо понимать, не каждый немец революции этой рад будет... Небось наши Значко-Яворские да Леонтовичи не сильно революции радовались...

— А пан Малаховский так обрадовался, что у него аж все чисто молоко покисло! — крикнул кто-то из толпы. «Сыр и масло» Малаховского славились на всю Одесщину.

— Есть и у немцев свои Значко-Яворские, и Леонтовичи, и Малаховские,— продолжал слесарь.— Но им, как

ни считай, а все одно конец приходит. Только, товарищи, не надо забывать: осенняя муха — самая злая... Немецкие Леонтовичи да Яворские под конец сильно кусаться будут. Но я им тут немножко лекарства от ихней злости привез...

Сережа волновался. Он как будто чувствовал себя ответственным за Паву. Ему казалось, что говорить нужно лучше, красивее и даже понятнее. Но в толпе, очевидно, думали иначе. Когда Пава улыбался — по рядам, шелестя, проходил смех. А когда слесарь становился серьезным или печальным, женщины в толпе начинали сморкаться в косынки или подолы.

— Наша задача, понимаешь...— Слесарь, вытащив из кармана карту, повел по ней прокуренным ногтем.— Задача наша небольшая и нетрудная, и мы должны с ней справиться уполне. Основной удар принимает Одесса-Главная, Одесса-Малая, Товарная, Дачная и так далее — по железной дороге — до станции Мигаево. А наше дело заступить немцам гужевые — Балтский и Николаевский шляхи — и не допустить их на соединение с петлюровцами. Ни одной немецкой пушки, ни одного пулемета или винтовки мы, товарищи, упустить не имеем права! Я думаю, вы все, товарищи, знаете, что нейтральная зона уже давно находится, как говорится, под контролем красных отрядов. Но, товарищи, это уже не отряды, а это уже настоящая Красная Армия! И она с боями продвигается к югу. Днем раньше, днем позже, но они будут здесь!

— Доки солнце взыйде...— горько вздохнул кто-то в толпе.

Пава как ужаленный повернулся в ту сторону.

— Будет!..— повторил он и даже скрипнул зубами.— Что же от нас требуется, товарищи? Наша задача — стойко продержаться до этого момента. И в народе дух поддержать. Мы уже ученые, знаем: сперва мобилизация, потом эвакуация... Так вот задача наша — не дать людей Петлюре, не дать людей добровольцам, оружие и хлеб сберечь для своих... И отдыхать нам, дорогие товарищи, еще не придется,— сердито щурясь, продолжал Пава.— В Румынии, за кордоном, сидят французы с добровольцами и во сне видят, как мы немцев вытолкаем, а они, нам в благодарность, французский десант с моря приго-

нят... Но это мы еще посмотрим. И на французов с добровольцами, и на англичан, и на всех прочих Красная Армия управу найдет! Нехай высаживают войска — нам их оружие во как сгодится! А пока с немцами нужно кончать. Командование над отрядом примет Гомонюк Филипп... Мы им как-нибудь покажем, дорогие товарищи, и сало, и пшеницу, и братские могилки...

— И Куцорюбенку! — крикнули из толпы.

— И Куцорюбенку, и Рудого, и Кучеренко, и многих других известных и неизвестных мучеников за дело свободы! Что касаемо оружия, то и об этом у меня есть разговор: кое-что распределим... Списки приготовили?

Согнутый вдвое старик подал Паве несколько неодинаковых обрывков бумаги.

— Вернигора Яков,— громко прочел слесарь по списку.

— Есть! — крикнули в толпе, и из рядов, смущенно улыбаясь, вышел красивый парень.

— Пока — центрального боя получай. Шестьдесят патронов. Будет что получше — сменяем...

— Середа Иван!..

— Осипенко Гнат!..

— Хромченко Васыль!..

И каждый из названных, улыбаясь или хмурясь, бережно принимал из Павиных рук оружие.

— Зализнычий Павло! — крикнул Пава.— Тебе только берданка досталась... Будет что получше — сменяем... А тут еще, может, кому нужно — сто двадцать патронов к японской винтовке.

Из толпы вышла пожилая спокойная женщина, а минуту спустя — молоденькая, за ней следом.

— Зализнычий Павло в лихорадке лежит. Меня послал, я матерь ему буду... Можете довериться...— сказала пожилая.

Слесарь оглянулся.

— Можно дать! — крикнули из толпы.

— Вот, мамаша... Только я недаром про муху осеннюю объяснял...— сказал слесарь смущенно.— Если немцы у тебя эту берданку обнаружат, они тебя немедля заберут в комендатуру.

Женщина, получив одностволку, выжидательно молчала.

— А если еще патроны в хате, не дай боже, на́йдутся,— серьезно добавил Пава,— они тебя, мамаша, просто повесят или расстреляют!

Женщины, отойдя в сторону, коротко посовещались.

— Давайте ваши сто двадцать патронов,— скороговоркой выпалила молоденькая.— Цэ — для Костыка, ихнего меньшего, мужа моего... Он в отъезде сейчас... У нас винтовка японская в садочку зарытая...

— Можно дать! — крикнули из толпы.

...На семейном совете было решено, что Франя Домочку возьмет с собой, в лесничество.

— Сережа, а ты запрягать умеешь? — спросил Пава после полдника.— Хочу вас троих отправить в лесничество. Или... двоих? — добавил он, оглянувшись на Франю.— Может, поедешь со мной? Я сейчас как уполномоченный честь честью подводу на станцию затребую! А?

Сережа видел, как румянец так и обжег Франины щеки. Опустив голову, она молча погладила Павину руку и наконец сказала:

— Нельзя, Павочка, меня тут все знают... Почему это я вдруг с Пацюком на станцию заявлюся?

Сереже и жалко немного, что Франя не поедет с Павой, но, с другой стороны, он рад. Умеет ли Домочка запрягать — еще неизвестно, а вот Сережа запрягать, к сожалению, не умеет. С Франей, конечно, будет спокойнее.

Но, точно читая его мысли, Пава добавил:

— Не знаю, какой кучер из Сергея, но, может, он в «Выпечке» присмотрелся: каждый день подводы прибывали. Хлопец толковый, справится! — и, круто повернувшись к Фране, предупредил: — Ты только не мешайся. А то вы всё «ребенок», «ребенок»! Нехай приучается понемногу. За кучера на этот раз Домну возьмем, а запрягать хлопец сам должен.

Сереже и приятно это доверие и чуть-чуть страшновато. Он молча смотрит в окно на хату с заколоченными окнами напротив. Значит, кулаки эти так и не продали ее еще до сих пор?

Что-то со скрипом поскреблось о стекло. За окном стоит Домочка. Не дослушав даже Павиных слов, она выскользнула за дверь. Сережа тотчас же успокаивается: Домочка не даст его в обиду. Она покажет ему, что

и как нужно делать. Да и не такой уж длинный путь от Кохановки до лесничества. Больше перепрягать не надо будет.

...Домочке пришлось два раза объяснять, пока Сережа усвоил наконец эту немудреную науку. И все-таки, когда он, уже самостоятельно затянув все ремни и похлопав запряженную лошадь по золотистому крупу, скромно повернулся к девочке, та смущенно отвела глаза.

То ныряя под брюхо Динки, то проскальзывая под ее недовольной мордой, Домочка объясняла терпеливо:

— Ни, цэй же ремешок треба сюда — в петэльку, а той — под низ. Ой, Юрко наш сколько раз меня учил, а я, как безрукая, все задом наперед делала!..

Вернувшись из сельского правления, Пава рассказал, что все подводы мобилизованы немцами «под солдат», которых перегоняют куда-то к Одессе.

— Заворошились! — добавил Пава, сердито усмехаясь.— Ну, Ефросинья Даниловна, придется тебе подождать, пока ребята меня до станции довезут!

Пава, оказалось, лошадей не достал, но большое дело сделал: добился у местного немецкого начальства разрешения вывезти в Одессу целый товарный состав с топливом.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Ананьевский мещанин

Когда впряженная в повозку Динка повернула уже к воротам, Пава, стоя на пороге хаты, поманил Сережу пальцем:

— Читал когда-нибудь такие объявления? Это ребята со столбов посрывали... Молодцы... А я и не думал, что мне такая большая цена!

— Юрко наш с товарищами не то десять, не то двенадцать таких бумажек пожгли,— объяснила Домочка скромно.— Хлопцы обещают ни одной на столбах не оставить... А эту для дяди Павы сберегли!

Сережа с любопытством взял из Павиных рук бумажку.

Немецкие власти доводили до всеобщего сведения, что за поимку бежавшего из тюрьмы преступника Павла Ивановича Гнатенко (Федора Ивановича Кандыбы тож) лицу, доставившему арестанта в любое сельское правление, будет на месте выплачена награда в пятьсот карбованцев. Лицу, только указавшему местопребывание Гнатенко-Кандыбы, выплачивается премия в двести пятьдесят карбованцев.

Дальше перечислялись особые приметы преступника и возможные районы действия его шайки.

— Не журыся, Франя, не поймают они меня!..— засмеялся Пава.— Ну, работнички, поехали! Подбросите меня на станцию и вернетесь за Франей... Ты, Франя, никуда не ходи — жди их... Сегодня к вечеру, в крайности — завтра утром, они за тобой вернутся...

Этой дорогой на станцию Сережа никогда еще не ездил, поэтому Домочка, то и дело показывая кнутом, объясняла:

— Ой, эта самая лучшая дорога! Здесь никого не встретишь... Вон там яма белая под горкой... Это известь люди когда-то жгли, еще до войны... Сейчас забросили... А вон — балочка. Здесь в прошлом году красные засели и гайдамаков гранатами забросали... На дубу этом,— Домочка перекрестилась,— немцы дядю Трохима Бондаря повесили. Три дня не давали снимать... А это вон — крупорушка. Стояла два года пустая... А сейчас купила одна Гребенючка с Ананьева. Это у нее уже третья мельница...

Сережа с любопытством оглядел высящуюся за забором похожую на рыцарский замок башенку.

— А Гребенючка сама здесь бывает?

— Да вот не была еще до сих пор. Здесь немцы...— начала Домочка и замолчала.

— Что ты? — спросил Сережа.

Но Пава легоиько троиул его за плечо

— Не журыся, Домочка, может, проскочим,— пробормотал ои.

Ворота крупорушкн раскрылись — вернее, нх, снльно напнрая грудью, раскрыл парнншка в вышитой рубахе, при жнлете, в брюках иавыпуск. Сережа ие разглядел его как следует, потому что тотчас же, заслоняя его, из ворот выехала краснвая лакированная бричка.

Важно откииувшись иазад и чуть креня брнчку набок, в ней восседал очеиь толстый человек в драповом пальто без шапки. На коленях у него было постлано полотенце, обеими рукамн он прндерживал большую икоиу в богатом окладе. Рядом с ннм сидел священинк в шелковой лиловой рясе, с большим сверкающнм крестом на груди.

— Касперовская божия матерь! Святнли крупорушку, вндно,— прошептала Домочка и перекрестнлась.— А иароду инкого иету... Этот толстый — второй муж той самой Гребеиючки...

Правил лошадьми молодой пареиек, а рядом с ннм иа козлах сидел иемецкий солдат с вннтовкой.

Мощеиый разворот перед крупорушкой был слншком узок — и Домочка, давая дорогу бричке, свериула Диику в жнденькнй овес.

Пава снял свою каракулевую шапку, Сережа тотчас последовал его примеру.

Парнишка, открывавшнй ворота, что-то крикнул, и немец с вннтовкой повериулся в его сторону.

— Ой, кажется, дружок твой сейчас заработает пятьсот карбованцев! — выговорил Пава однными губамн.

Сережа перевел глаза иа парнишку у ворот и нисколько ие удивился, узнав Женю Гребеиюка. У иего только снльно задрожали рукн, когда ои встретнлся глазами со старым товарищем.

На какую-то минуту все застыло: толстяк в брнчке, священиик, паренек на козлах, солдат с вннтовкой, Женя Гребенюк, краснвые серые лошадн в яблоках, Пава, Домочка, Диика. А может быть, Сереже только показалось, что все застыло.

Потом «муж Гребенючки» любезно кнвнул головой, а брнчка, оставляя мокрый зелеиый след в серой прндо-

рожной траве, вежливо вильнула в другую сторону и покатилась вниз по мощеному спуску.

Домочка тоже тронула было Динку, но Пава положил ей руку на плечо:

— Вставайте, разомнем кости немного,— и первым спрыгнул с повозки.

Женя Гребенюк шагнул к нему, глядя мимо Сережи. Пава кивнул головой.

— Узнал? — спросил он усмехнувшись.

— Узнал!..— так же усмехнулся Гребенюк. И вдруг, вынув из кармана серебряные часы на золотой цепочке, заботливо приложил их к уху.— Я их здорово стукнул сегодня,— объяснил он, точно оправдываясь.— Ну, здоро́во, Сергей!

— Здоро́во,— пробормотал Сережа смущенно.

— Как жизнь?

— Ничего.

— С Вадимом как простился?

Сережа промолчал.

— Энпе свою потом еще видел?

Сережа промолчал.

— Ну ладно!..— Гребенюк, сунув руки в карманы и насвистывая, направился к воротам.— Ой! — сказал он вдруг испуганно.— Посмотрите-ка... Пава, а это не за вами?.. Давайте-ка все к нам на крупорушку! Я ворота на замок закрою! Тут больше никого нет...

— Ворота не спасут! — отозвался Пава.

По дороге в карьер скакал верховой, держа в поводу другого коня. Скакал изо всех сил, так что комья засохшей грязи летели во все стороны.

— Да, за мной, видимо,— решил слесарь и вдруг, присвистнув, повернул Сережу за плечи вправо.

По проселочной дороге, на задах, много ниже крупорушки, двигался небольшой немецкий отряд. Уже можно было разглядеть сизый блеск штыков.

Верховой, не доезжая до крупорушки, спрыгнул с лошади и бросился к подводе.

— Товарищ Гнатенко! — кричал он, как будто Пава был от него на расстоянии версты.— Тильки вы поихалы, как с Александровки пригнали связного. Немцы отступают и зараз заворачивают сюдою. Сядайте на коня, товарищ Гнатенко. С-под офицера конь, ей-бо, що

не вру! Филька Гомонюк, що вы его знаете, уже идет з людями дорогой, а рудаковцы на конях их с того бока перестренут.

Сережа глянул на высокого ярко-рыжего коня, а потом на Паву. Не всякий сразу так тебе и вскочит на такую лошадь.

Пава подошел к подводе.

— Дай-ка мою сумку, Сережа,— сказал он,— только поосторожнее с ней, не тряси сильно... Евгений,— повернулся он к воротам,— не знаю, как мне с ними всеми быть... Мне уже дальше ехать не придется... Женя, перепрячь ты у себя эту парочку пока что. И лошадь! А?

Гребенюк посмотрел на Паву, на Сережу, на дорогу и с удовлетворением вздохнул.

— Ну, слазь, Сережка! — крикнул он.— И даму свою забирай!

Тогда, ловко поставив ногу в стремя, Пава вскочил на завертевшегося на месте коня.

— Ступайте на крупорушку все! — крикнул он сердито, видя, что Сережа, Женя и Домочка еще стоят на дороге.— Домочка, Сергей, если все благополучно будет, ворочайтесь за Франей! А ты, Евгений, Динку покорми... Небось ячменю у вас хватает...— и вдруг наехал на Гребенюка конем.

— Тпруу! Куда! — закричал тот испуганно.

Но Пава, свесившись с седла, ласково потрепал Женю по рыжим, пылающим на солнце волосам.

— Стеночки держитесь! Стеночки...— бормотал в темноте Гребенюк.— Тут перил нету.

Они долго лезли по железной винтовой лестнице, то и дело кашляя от мучной пыли и от пыли вообще. У Сережи уже начало чуть посасывать под ложечкой, когда Женька распахнул маленькую дверцу и они очутились в круглой большой башенке. Отсюда как на ладони была видна степь версты на четыре вокруг.

Все трое тотчас же бросились к окну с полувыбитыми стеклами.

— Ух ты! — ахнул Гребенюк, сильно стуча каблуками об пол.— Уходят немцы! Ей-богу, сворачивают! Ку-у-

да нашим — не догонят! Эх, товарищ Гнатенко, Павел Иванович, чего вы раньше смотрели?

Действительно, недлинная змея немецкого отряда, вытянувшись, уже сворачивала к столбовой дороге.

— Ей-богу, Сережка, он сумасшедший! — сказал вдруг Женя беспомощно.— Чего он с коня слазит? А куда тот, второй, делся? Ей-богу, он или больной, или дурной...— бормотал Гребенюк, тяжело дыша.— И чего, спрашивается, лезть? Не видел человек немцев, что ли?

Сережа с забившимся сердцем смотрел, как Пава, спешившись, кинулся к одинокой низкой вербе, сохнувшей у дороги. Издали было непонятно, заметили его немцы или не заметили, и вдруг Пава, широко размахнувшись из-за дерева, швырнул что-то навстречу отряду.

Сильным ударом выбросило землю перед мордами лошадей, короткий грохот стукнул по окнам и прокатился по дороге.

Пава еще раз размахнулся — и прямо из-под копыт гнедой лошади правофлангового офицера ударило синее и белое пламя, а лошадь опрокинулась, увлекая за собой седока.

И немедленно вербу всю точно положило набок — так защелкали пули в ее листве.

На Паву побежали двое солдат с ружьями наперевес.

Слесарь размахнулся еще раз — и Сережа, вскрикнув, закрыл лицо руками: обоих немцев и Паву тотчас же прикрыло густым, черным дымом.

— Пропал! Докомандовался! — всхлипнул Женя.— И нас оставил здесь одних на погибель,— сказал он плача.— Еще эту девчонку навязали! Ой, боже мой, боже ж ты мой!.. Нет, живой,— вдруг взвизгнул он,— живой! К лошади бежит, ей-богу!..

Сережа ничего не мог понять. Немецкие ряды, смешавшись на мгновение, уже построились снова, как будто ничего не произошло. Офицера, видно, подобрали, только конь бился в темной сверкающей луже.

— Ну, ты видел такого сумасшедшего! — бормотал Женя, стискивая руку Сережи холодной, потной рукой.— Прямо не знает, что делает человек!

Но Пава, очевидно, знал, что делал. Пронесшись стрелой через дорогу, он, отделенный от немцев крупорушкой, остановил коня на пригорке, прямо под окном

мельницы. А из-за пригорка уже дымила пыль и поднимались люди.

— Ну, теперь мы пропали,— сказал вдруг Гребенюк хрипло. (И Сережа с удивлением увидел, как на Женином лбу мелкими бисеринками выступает пот.) — Пишите завещание, Сергей Андреевич! Пропали мы, как муха на палочке... А ты, как тебя зовут?

— Клячко, Домна...— ответила Домочка, подавившись от неожиданности.

— Ну, нехай мама твоя пирожки печет и кутью варит,— сказал Гребенюк мрачно.— Видите, чехол с пушки снимают? Что же вы думаете, они вам в куклы играться будут?

В хвосте отряда строились рядком три пулемета, возле пушки возилась кучка людей.

— Ну, Евдокия Тарасовна Гребенюк, кончается ваша крупорушка! — сказал Женя, приседая на пол.— Садитесь, несчастные, сейчас из пушки бабахнут!

Но немцы выпрягли лошадей, забили кляп в дуло и, повернув орудие, оставили его на дороге. Сейчас на таком близком расстоянии пушка им только мешала.

— Ну нет, там у них, я видел, еще одна есть. Это, видно, дальнобойная... Вы только паники не делайте, и все будет в порядочке! — пробормотал Женька смущенно.

Сережа невольно засмеялся. Поглядывая на Домочку, Гребенюк засмеялся тоже.

Немецкие пулеметы прикрывали отступление. Сережа снова повернулся к пригорку. Пава стоял, вытянувшись на стременах во весь рост.

— Вот сейчас кончат его, ей-богу! — снова забормотал Женя в отчаянии.— И чего лезет на гору! Вот командовать любит человек!

— Так он же и есть командир!..— сказал Сережа со злостью и тут же об этом пожалел.

Гребенюк стоял с белым, залитым слезами лицом и со стиснутыми на груди руками.

— Давай! Давай! Давай! — быстро покрикивал слесарь охрипшим голосом.

Сережа глянул и испугался его лица. И все-таки Пава

был сейчас действительно красивый — такой, каким когда-то Фимочка описывал связного «усатовцев».

— Да-ва-а-ай! — еще раз крикнул Пава изо всех сил.

«...а-а-а-о-о-о!» — вдруг прокатилось над степью, и над откосом показалась светлая полоса.

— Вот и всё! — прерывисто вздохнув, сказал Гребенюк.— Конец немцам! Амба!

Обернувшись, Сережа увидел в зеленом мутном стекле позади себя быстро приближающуюся со стороны степи дымящуюся полоску. Через минуту уже можно было различить фигуры лошадей и белые пятна лиц всадников.

Сизый дымок над ними обернулся вдруг в нестерпимый блеск, и Сережа закрыл глаза.

— Молодец Гомонюк! Сколько сабель раздобыл! Ну, теперь уже немцам конец! — повторил Женя.

Сейчас уже и Сережа понял, что немцам пришел конец. Пушки их молчали. Пулемет прошелся раз, два и смолк. Опять раз, два — и тихо. И вдруг Сережа вздрогнул.

Где-то очень близко дробно, так что заныли зубы, со стороны партизан откликнулся «максим».

— Вот машина, ей-богу, красота! — встрепенулся Гребенюк.— Эх, безобразие, люди воюют, а мы здесь как дураки торчим! И еще эта обуза! — сердито махнул он на притихшую Домочку.

Дыр-дыр-дыр-дыр! — дребезжало недобитое оконное стекло, и даже зубам было щекотно от дрожащего воздуха. Если на гребень положить папиросную бумагу и играть на нем, бывает точно такое же ощущение.

И вдруг, грохоча по короткому мощеному спуску, мимо крупорушки к станции ринулись тачанки, верховые, пешие. Немцы бежали, бросая по дороге оружие.

Пава рванул поводья и, высоко вздернув завизжавшего коня, тоже повернул к станции.

— Кто на конях — в погоню!

— В по-го-о-ню! — пронеслось над степью.

— Эх, лошади у наших паршивые!..— с досадой сказал Гребенюк.— Что, Сережка, здóрово передрейфил, а?

Румянец мелкими пятнышками начал возвращаться на его щеки.

— Клячко Домна, а ты шить умеешь? — спросил он уже как ни в чем не бывало.— У меня рукав под мышкой лопнул. Где-то там внизу у мамаши моей и нитки, и иголки, и ножницы есть.

Сережа все на свете, кажется, отдал бы, чтобы высказать Жене на прощанье все, что он думает. Но, к сожалению, оратор он был плохой.

— Значит, так...— пробормотал он.— Спасибо, словом... А то... поехал бы с нами, Евгений, а?

Женя покачал головой:

— Нет, ничего не получится!

— Не бойся, и часы твои будут в сохранности, и цепочка золотая...

— Это американское золото. «Томпак» называется.

— А то... поехал бы, а?

— Я же объяснил тебе — я не герой, а ананьевский мещанин... Будь здоров! И ты, Клячко Домна, будь здорова!

— Спасибо вам большое! — сказала Домочка тихо.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

„Лесная каммуна"

Франя ждала ребят только к утру, назавтра, и очень удивилась, когда у ворот ее остановилась повозка.

Пока Домочка рассказывала тетке о происшествии у крупорушки, Сережа все поглядывал на Франю. Когда девочка дословно привела Павину фразу «Кажется, дружок твой заработает сейчас пятьсот карбованцев», Франя сердито всплеснула руками:

— И як же это можно говорить такое! Я же Женечку четыре года знаю!

И все время, пока шел рассказ о крупорушке, о верховом с запасной лошадью, о гранатах, Франя как опу-

стила ресницы, так и просидела, не шелохнувшись, больше часу. Только над ее красивыми вишневыми губами обозначились крохотные усики — на них капельками выступил пот.

Потом, покормив Сережу и Домочку, задав Динке овса («Диночка, цэ тоби от Жени гостинчик!»), Франя в минуту собралась в дорогу.

Путь от Кохановки до «замка» Сережа знал отлично, да и за разговорами он прошел почти незамеченным. Говорила, в основном, Домочка. Она рассказывала Фране о своей маме, о Юрко, который «на хорошем счету у начальников», то есть у партизан. Сейчас Юрко с большим отрядом идет к Одессе. Марфа Клячко, оказывается, за четыре месяца только два раза наведывалась домой, в Кохановку. «Да они,— говорят,— до Волыни доходят!» Домочка сжимала руки и улыбалась.

Впереди темной черточкой протянулась тополевая аллея — въезд в «замок». Однако, легонько тронув вожжи, Домочка свернула с шоссе на неширокую лесную просеку.

— Нина Леонидовна же не тут,— обернулась она к озадаченному Сереже.— В «замке» Борис Макарович с Анной-Марией только остались, а в лесничестве — другой доктор, Марк Аронович, тоже очень хороший... Ксана Федоровна — в помощницах у него. И Нина Леонидовна...

— А разве мама умеет в госпитале? — удивился Сережа. Он как-то пропустил мимо ушей сообщение Павы о том, что Нину Леонидовну «приспособили по медицине».

— Нина Леонидовна все умеют,— сказала Домочка укоризненно.— До них больные больше, чем до Ксаны Федоровны, просятся... А еще им на помощь в коммуне Соня-санитарка... Только кухарки у них нету...

— Видно, мне и придется быть за кухарку,— отозвалась Франя.

— А Вадим? — спросил Сережа. У него от волнения даже что-то пискнуло в горле.

Домочка, обернувшись, внимательно поглядела на него.

— И Вадим, и Наташа здесь... А Федя Рубан остался с Борисом Макаровичем.

...На скрещении двух просек забит невысокий столбик с цифрами «8» с обеих сторон. Это означает «восьмая лесная делянка». А вот наконец и бывшая контора бывшего Кохановского казенного лесничества.

Высокая глухая каменная стена, усаженная сверху битым стеклом, глухие железные ворота. Сейчас они распахнуты настежь. Контора — это обыкновенный дом с двумя пузатыми колоннами у крыльца, но потому, что ни цветка, ни занавески не видно в больших, пасхально промытых окнах, здание напоминает школу или больницу.

Вдруг маленькая фигурка в белом халате, мелькнув мимо окон, побежала навстречу подводе, спотыкаясь на кочках.

«Мама!» — хотел было крикнуть Сережа, но только глотнул воздух.

Он спрыгнул на дорогу.

Так бывает, когда с большой высоты бросаешься в воду. Вдруг исчезли все звуки, и только оглушительно ревет кровь в висках и ушах. Сережа закрыл и снова открыл глаза. Подводное ощущение продолжалось, а потом забор, дом, деревья, промерзшая к вечеру трава — все это почернело, а откуда-то сверху беззвучно откололся пылающий угол неба и, вертясь, стал спускаться вниз...

Сережа сжал кулаки так, что ногти вошли в ладони. Через силу он шагнул вперед, прорываясь сквозь черноту и тишину. Он и не знал даже, что прорывается сквозь обморок.

— Господи, Сереженька! А худущий! А длинный!.. — сказал мамин (мамин!) голос. Она, плача, обняла его.

Ветер толкнул их друг к другу, и вдруг все лицо мальчика закрыло ее летящими, щекочущими волосами.

— А ты почему это подстриглась? — спросил вдруг Сережа грозно.

Нина Леонидовна молча тряхнула короткими волосами. (Где же эта ее седина? Ах, вот тут немножко, на висках.)

— И какая-то ты слишком хорошенькая стала! — добавил мальчик без улыбки.

...Целовались все без разбора. Сережа по нескольку раз переходил из одних объятий в другие. Обнимали его и целовали и мужчины, и женщины, и какие-то две мокроносые девчушки.

Крепко стиснув, поцеловал его Вадим Шалыгин. Наташа закинула ему руки за шею и, разглядывая, не отпускала несколько минут, а потом тоже крепко-крепко его поцеловала.

Нина Леонидовна терпеливо стояла в стороне. Потом мать с сыном ушли от всех в кладовую — это была довольно приличная, немного темноватая комната. Там они опять целовались и даже немного поплакали.

Нежно приглаживая отросшие, выгоревшие на солнце вихры Сережи, Нина Леонидовна терпеливо отвечала на все его вопросы:

— Мы вместе с Вадимом добрались сначала до «замка», а потом Борис Макарович переправил нас сюда. Здесь — подальше от оккупантов... Федя Рубан? Бывает, но не так уж часто... Нет, латыни он не учит. Не до латыни ему сейчас!.. Вадим с Наташей? Нет, не ссорятся. То есть они всегда в состоянии войны, но это ведь не всерьез. Просто оба они совершенно не умеют уступать... Домочку здесь отлично знают и любят. Она несколько раз привозила весточки о своей матери — Марфе Клячко. А сейчас Домочка останется здесь. Нечего ей одной в пустой хате делать! Юрко ведь сейчас тоже где-то далеко... И знаешь, Сереженька, дед Дудник — у нас. Он чего-то не поладил с отцом Виталием, ушел из школы...

А под конец Нина Леонидовна, чуть покраснев, сказала:

— А о самом главном ты меня не спросил, сынка!

И так как мальчик с недоумением смотрел на нее, Кульчицкая, еще больше покраснев, вытащила из нагрудного кармана красную книжечку.

— О! — сказал Сережа.— Давно?

— Месяц завтра будет... Мне все казалось — не пора еще мне... Но я, конечно...— выговорила мать, волнуясь и прикладывая руки к вискам,— постараюсь. Это Ксана, Анна-Мария и Павел Гнатенко настояли...

— Вот бы папа был жив! — сказал Сережа.

Пожалуй, если бы Сережа не прожил двух месяцев

в «Выпечке», он не так скоро привык бы к размеренному трудовому и разумному быту «коммуны».

Франя уже неделю спустя отозвалась об обитателях восьмой делянки следующим образом:

— Цэ вжэ така коммуна у нас — хорошие люди приживаются, а лентяи отлетают, як сухой лист.

Прослыть «сухим листом» было неинтересно. Да и мудрено было в лесничестве лентяйничать — здесь всем хватало дела. Работы и у ребят было много, но работа у них была какая-то особенная.

Воду возить нужно было не из колодца, а из тихого кристального лесного ключа. Дрова доставляли тоже из лесу. Даже огород в «коммуне» был лесной. Работы на огороде, правда, к Сережиному приезду были уже закончены: свеклу и картошку выкопали, а ничего больше доктору Винницкому весной посадить не удалось.

Раз в неделю в лесничество из «инфекционного» доставляли бинты и медикаменты. Так как официально считалось, что и в лесничестве оборудовано второе «инфекционное» отделение валегоцуловской больницы,— бинты, йод, морфий и гипс нужно было доставать и привозить тайком.

На обязанности ребят лежало принимать свежие бинты, а также стирать и кипятить бывшие в употреблении.

Наташа помогала при перевязках, Вадим ездил за продуктами, Домочка хозяйничала с Франей на кухне.

Раздавать еду «лежачим» тоже поручалось ребятам. Из-за этого, пожалуй, и происходили главные стычки: каждый норовил попасть в палату — ведь любой раненый партизан мог рассказать столько интересного!

— Вот здесь ежедневно нужно протирать пол влажной тряпкой,— объяснила Наташа, введя Сережу в первую палату.— Сейчас тут — легкораненые. А вообще в первую палату кладут до или после операции.

Стараясь не приглядываться к желтым, синевато-бледным или раскрасневшимся от жара лицам, Сережа осторожно шагал между койками.

— А это зачем? — остановившись, спросил он удивленно.

В углу палаты, повернутая к окнам, стояла большая черная классная доска. И, как у самой настоящей классной доскн, подле нее внсела тряпка и был заготовлен кусок мела.

На доске краснво, с нажнмом, было выведено: «Песковка».

— Ваднм старается,— чуть ироннческн пояснила Наташа.

Взявшнсь за тряпку, Сережа машннально прннялся стнрать надпнсь.

— Осторожнее! — испуганно закрнчала Наташа.— Это наша газета!..

Может быть, н существовалн другне способы извещать обнтателей лесннчества обо всем, что пронсходнт в мнре, но в «коммуне» до ннх не додумалнсь.

Частн Красной Армнн, выйдя за пределы нейтральной зоны, с боямн неуклонно продвнгалнсь к югу. Среди раненых постоянно шлн споры, где в настоящее время находнтся регулярная армня, а однажды дело дошло даже до дракн.

Вот Ксана Федоровна н распоряднлась тщательно проверять поступающне в лесннчество сведения, а затем запнсывать на доске названня отбнтых у немцев нлн у петлюровцев городов, сел и местечек. Это тоже лежало на обязанностн ребят.

В первый же день Сереже былн показаны все достопрнмечательностн «коммуны» — стеклянная, полуразрушенная галерея вокруг дома, пол в столовой, наполовнну паркетный, наполовнну крашеный, н толстые — лнстового железа — ставнн на окнах.

В 1905 году, во время крестьянскнх волненнй, господнну казенному лесннчему, оказывается, прншлось выдержать настоящую осаду: восставшне крестьяне пыталнсь сжечь дом, но не сожглн. На память об этом пронсшествнн н остался латаный пол н заказанные в том же, 1905 году железные ставнн.

Всем хотелось дежурнть в палатах нлн вознть нз лесу дрова н воду. Убнрать в палатах н дежурнть на кухне желающнх почтн не было. Чаще всего эта работа доставалась Домочке.

Хотя девочка сноснла безропотно все, что выпадало ей на долю, Ксана Федоровна объяснила, что каждый

из членов «коммуны» обязан уметь справляться с любой работой. «Незаменимых у нас быть не должно!» — сказала она спокойно, но внушительно. После этого ребята раз в неделю стали устраивать собрания, на которых и распределяли дежурства.

Когда никаких срочных и важных дел не было, дети играли в шашки, в «волк и овцы», в «поддавки» или, если шашек под рукой не было, в «на что похоже?». О, эта была чудесная игра, вывезенная из Одессы!

Женя Гребенюк в свое время немало фантиков получил от рассеянного Сережи и даже от находчивого Вадима.

«На что похоже?» — спрашивал он, проходя мимо окон с бутылями бродящей на солнце вишневки. Отвечать нужно было немедленно, без пауз. Рекомендовалось вопрос этот задавать, когда товарищ нагнется завязать шнурок от ботинок или вообще занят другим делом. Женька так и поступал.

«На раненый палец!» — тут же орал он хохоча. И действительно, горлышко бутылки, завязанное марлей, все в пятнах вишневого сока, очень походит на раненый забинтованный палец.

Домочка отлично усвоила эту игру.

«На что похоже?» — спросила она как-то Наташу, мо́я ноги в тазу. И так как та от неожиданности помедлила с ответом, Домочка сказала с торжеством: «На молодую картошечку!» — и в доказательство пошевелила большим пальцем ноги.

Хорошо перед вечером забраться к Фране на кухню.

Тепло. Темно. Только по стенам над плитой ходят багровые серпы света. В плите что-то ухает и рассыпается, и тогда таинственно и необъяснимо сами передвигаются на кружка́х кастрюли...

Уже осень, но под потолком сердито гудят зажившиеся в тепле мухи. Ежедневно, перед вечером, Франя, вооружившись двумя полотенцами, завесив окно и распахнув дверь во двор, принимается со свирепым видом «гонять мух». А в уголке, на большой русской печке, уже дожидается компания: Анна-Мария, приехавшая с каким-нибудь поручением от Бориса Макаровича, подводчик со станции, двое-трое «ходячих» и ребята.

Сережу клонит ко сну, но вот кто-нибудь заводит интересный рассказ или затягивает песню, и мальчик через силу открывает глаза.

Рядом, сердито перешептываясь с Наташей, стругает что-нибудь Вадим. К их постоянным стычкам Сережа уже привык.

Часто случается, что кто-нибудь из ребят, утомившись за день, засыпает, разморенный теплом, на печке. Обнаружив среди ночи в кухне такого соню, Франя, поворчав для проформы, укрывает его попоной или кожухом. Утра уже холодные — с инеем, а иногда даже и с тонким ледком на лужах.

В это утро Сереже особенно трудно было проснуться.

— Сереженька, иди, твоя очередь! — кричала над самым его ухом Соня-санитарка.

«Господи! Сегодня действительно я в первый раз должен принимать раненых!» Мальчик быстро спустил ноги с печки.

Украдкой бросив взгляд на подъехавшую к самому крыльцу подводу, Сережа вздохнул с облегчением: седоков на этот раз было только двое. И они не лежали, а сидели.

Женщина с Кохановских отрубов, уже не раз доставлявшая раненых в лесничество, но до сих пор не привыкшая к виду крови, испуганно и неумело пыталась помочь им сойти с повозки.

Тяжелораненых Сережа боится. От Наташи и Вадима он уже знает, что раскисать ни в коем случае нельзя. Разговаривать с этими людьми, мертвенно-бледными от потери крови или от боли, нужно так, точно ничего страшного с ними не произошло. Спокойно, деловито, чтобы незаметно было, что ты их жалеешь. Когда раненый делает что-нибудь не так, хорошо даже на него прикрикнуть. Тут же, у подводы, дежурный должен записать в рапортичку имя, отчество и фамилию раненого, а также — адрес и фамилию того, кого нужно будет оповестить. Это — на самый худой случай.

Очень трудная обязанность! Хотя надо сказать, что сами раненые к опросу относятся спокойно. «В случае чего,— не раз слышал Сережа,— дадите знать жинке (или матери) туда-то и туда-то».

— Теперь полагается записать все сведения о вас, это во-первых, а во-вторых, сообщите, кого нужно будет оповестить,— спокойно произносит Сережа, изо всех сил сжимая в карманах кулаки.

Эх, далеко ему до Вадима и даже до Наташи! А он-то воображал, что после «Выпечки» ему будет чем похвастаться перед товарищами.

Сережа вынимает рапортичку и, явно подражая кому-то, небрежно постукивает карандашом по перилам лесенки.

Молодой, красивый, но весь заросший курчавой рыжей бородой партизан легко, без посторонней помощи, спрыгивает с подводы.

— У меня, сказать, не ранение, а одни пустяки. Давать знать никому не придется,— говорит он улыбаясь.— Перевяжут, и я сегодня же пешком отправлюсь... Я больше насчет порошков... Трясет меня сильно!

В партизанских отрядах чуть ли не каждый четвертый валялся в малярии.

Так как Сережа, с рапортичкой наготове, преградил ему путь, раненый, все еще улыбаясь, сообщил:

— Пиши: «Минюк Федор Федорович». А знать, в случае чего, дадите в Шатиловку, Шатиловской волости, Елисаветградского уезда... Видишь, с каких мест приехал к вам сражаться!

— Родичи, значит... — тихо отозвался второй раненый, тоже без посторонней помощи выбираясь из повозки. Этому, однако, было потруднее. Охнув, он перебросил через грядки телеги раненую ногу.— А у меня жинка из Шатиловки,— обрадованно повернулся он к Минюку.— Пиши, хлопчик: «Город Ананьев, второй участок — Боруля Яков». Туда же и знать дадите... — добавил он застенчиво,— Марфе Боруле... А ты с какого же бока Шатиловки? — снова весело спросил он Минюка.— За речкой, видно, живешь? Что-то я тебя не припомню...

— Что же ты, товарищ Боруля Яков, на зиму глядя, голову побрил? — спросил рыжий Минюк.— Ты говоришь «родичи»? Родичи, товарищ, это те, что за одно дело кровь проливают, а что с одного села — это еще не факт!

— Оно, конечно, так,— хмуро пробормотал Боруля, еле шевеля синими, искусанными губами. И, до тех пор

пока его не вызвали к доктору, он больше не проронил ни слова.

Минюку первому сделали перевязку.

— Дают отпуск на все четыре! — весело объявил он, выходя из операционной.— А тому гололобому плохо,— кивнул на дверь.— Ногу, наверно, будут резать!.. Лечим тут на свою голову! — добавил он зло.— Имеет бумажку от Рудаковского... Начхал я на эту бумажку! Я бы, сказать, всех этих гололобых — и с оселедцем и без оселедца — перестрелял к черту!

— Неужели вы думаете... — начал Сережа испуганно.

— Что я думаю — это мое дело!.. — сказал Минюк сердито.— Где тут аптека ваша? Ты вот сам лучше думай побольше!

Сережа стоял красный и пристыженный.

— Получил? — осведомилась Наташа.— Не понимаешь ничего, так и не вмешивайся!

— Да прекрасно я понял,— оправдывался Сережа.— Я уж тут немного начал разбираться.— И так как Наташа приготовилась, очевидно, что-то добавить, он с досадой поднял руку.— Да знаю, знаю: голова бритая... А как же Максимчук-младший? И разве только у петлюровцев головы бритые?

Максимчук-младший, поправлявшийся после тяжелого ранения в грудь, был любимцем «коммуны». А ведь в свое время петлюровцы его насильно мобилизовали, а он в полном «сичовом» снаряжении перешел потом под начальство своего брата-партизана, Максимчука-старшего.

— Как бы то ни было,— сказала Наташа задумчиво,— когда Марк Аронович закончит операцию, нужно обязательно с ним поговорить... А то правда — мы и не проверяем никогда раненых... Мало ли чего они о себе наговорят!.. Вадим,— обратилась она к подошедшему Шалыгину,— и нечего, правда, было Сереже вмешиваться!

— При чем здесь Сережа! — отозвался Шалыгин сердито.— Ты уж хотя бы к нему не придирайся, пожалуйста!

Сереже не хотелось, чтобы из-за него ссорились его друзья, тем более что он понимал: Наташина строгость

иапускиая. Вчера ои слышал, как иа кухие Наташа сказала Домочке: «У иас все ребята хорошие... А Сережа наш какой молодец стал!»

Переговорить с доктором в этот деиь не удалось. Перед обедом привезли иовую партию раиеиых, и ими занялись не только ребята, но и все, кто в этот день был на ногах. Тут-то Минюк и завоевал всеобщее расположеиие: иесмотря иа раиеиую руку, он таскал носилки иаравне со всеми. Доктор Винницкий с удовлетвореиием отметил его сообразительиость: достаточио было показать Мииюку, где какое лекарство лежит в аптеке, как он потом уже безошибочно приносил требуемое. А мальчики, хоть и считалось, что они зиают латынь, путали больше всех.

Деду Дуднику Мииюк полюбился по особой причине, и после обеда дед с час уговаривал партизана не пускаться в дорогу «на иочь глядя». Дело в том, что после перевязки рыжий бородач помог деду распилить в сарае толстенную плашку. Все были очень рады, когда Мииюк наконец согласился остаться в «коммуне» еще на один деиь.

— Стрелок, сказать, я пока еще плохой,— заметил он, печально разглядывая свою забинтоваиную руку,— ио здесь, иа хозяйстве, даром сидеть ие буду.

Дед Дудиик решил использовать Минюка для починки крыши: ои, мол, с одиой рукой справится почище, чем другой двурукий.

День этот начался великолепно. Утром ребята, воспользовавшись подводой, доставившей раненых, умудрились четыре раза съездить в лес по воду и иалили все три бочки — это помимо обычной своей работы.

Крышу сарая уже почти залатали. С утра иад деляикой точно погромыхивал весенний гром — это дед Дудиик с Мииюком ворочали иа крыше листы железа.

Настроеиие у всех было отличное, и вдруг в столовую вошел дед Дудник, с сердцем прихлопиув за собой дверь.

— Говорит: дали бы ему яйцо и стакан спирта, он завтра уже был бы здоровый! — сказал дед растерянно.

— Какое яйцо? Почему спирта? Кто говорит? — посыпались со всех сторон вопросы.

— Да вот схватило человека, еле-еле его с крыши дотащил,— объяснил дед вздыхая.— Послал меня за порошками... Но лучше всего, говорит, распустить сырое яйцо в стакане спирта...

Наташа тотчас же бросилась к аптечке за хинином — у бедного Минюка начался приступ малярии.

Потом мальчики, держа партизана за горячие и потные руки, повели его к крыльцу. В первой палате были заняты все койки. Последним сюда доставили после операции Якова Борулю.

— Положим Минюка пока в столовой, а? — предложил Вадим.— Он говорит, что у него ненадолго. Он даже думал, что уже не будет больше приступов, думал — уже вылечился...

Минюка, не раздевая, уложили на диван. Трясло его так сильно, что под ним, как живые, ныли и стонали пружины. Жалко было смотреть на его вдруг осунувшееся и пожелтевшее лицо.

Дед Дудник притащил больному собственную свою подушку и накрыл его своим кожухом.

Выпив хинину, тяжело укрытый, Минюк наконец затих.

— Вот, даже кашу не доел человек! — с огорчением сказал дед Дудник, передвигая по столу котелок.

— Приступ должен скоро пройти,— успокаивал всех Вадим.

Но день все-таки был испорчен.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Боруля и Минюк

Боруля лежал в первой палате и тихо переговаривался с соседями. Опасения Минюка оказались напрасными — отнимать гололобому ногу не пришлось.

Сережа, проходя по палате, с любопытством задержался у последней койки. Боруля рассказывал о себе.

— Уже февраль на носу был,— говорил он с трудом, то и дело облизывая пересыхающие губы,— а меня наш пан Кононенко велел в волости высечь. А тут про революцию разговоры пошли... Я человек, конечно, неграмотный, у меня в руках больше сила...— Заметив недоверчивый взгляд соседа, Боруля пояснил: — Какая сила — надо понимать! Драться на кулачки я к тебе не полезу... Но из дерева я тебе что хочешь вырежу або выпилю... Ну, думаю, революция — это хорошо. Большое облегчение бедному народу будет... А тут, смотрю, года не прошло — гетмана поставили...

Сосед скрутил цигарку и сунул ее Боруле. Тот дрожащими руками выбил кресалом огонь и, затянувшись, продолжал:

— А тут, понимаешь, понаехали всякие агитаторы... Большевик один хорошо говорил — мне понравилось... Понаехали к нам и петлюровцы... То да сё — мы, мол, за бедный народ стоим. Против немцев и панов. «Это что же, вроде большевиков?» — спрашиваю. «Большевики, объясняют, за рабочих больше, а петлюровцы — за мужиков». Ну, думаю, это как раз то, что мне нужно! — Боруля вдруг всхлипнул.

— Кури, ничего,— сказал сосед участливо.

— Записался я в ихний отряд. Выдали мне чеботы, свиту, голову побрили. Хвост этот — оселедец — курям на смех оставили... Его уже мне потом ребята в лесу отстригли... Только вижу: сражаться нас совсем не с немцами и не с панами гонят, а опять же с Красной Армией. Я и сбежал от них ночью. Сам товарищ Рудаковский меня проверял — село наше уже под красными.

В первой палате было совсем темно. Светились только огоньки самокруток. Вдруг так резко скрипнула дверь, что Сережа вздрогнул.

— Сережа, иди-но сюда! — сказала, входя, Домочка.— Боюсь я: что-то не то с этим Минюком! — и за руку потащила мальчика в столовую.

В тишине отчетливо было слышно тяжелое дыхание больного. Вдруг Минюк повернулся так грузно, что под ним жалобно ахнули пружины. Выпростав из-под кожуха руку, он с силой выбросил ее вперед. Наткнувшись на спинку дивана, рука, точно сломившись, повисла до самого пола.

— Что — опять припадок? — спросил Сережа с огорчением.

— Слухай-но! — сказала Домочка испуганно.

Сережа прислушался, однако даже дыхание больного стало как будто затихать.

Сереже надолго запомнился этот вечер, и это хриплое дыхание, и бледное в неверном свете лицо Домочки. Луна должна была взойти где-то с этой стороны, и окна, выходившие в сад, слабо порозовели.

Больной чуть заметно заворошился под кожухом.

— Ну и зачем ты меня сюда притащила! — сказал Сережа недовольно.— Боруля такие интересные вещи рассказывал!..

Мальчик повернулся было уходить, как вдруг Минюк — тоненько и неразборчиво — быстро-быстро произнес какую-то фразу. Сережа низко наклонился над диваном.

— Mütterchen! Mütterchen![1] — приподнявшись, жалобно выкрикнул Минюк и снова упал в подушку.

— Чего это он вдруг... по-немецки? — растерянно спросил Сережа, оглядываясь на Домочку, но та только сильнее сжала его руку.

— Das ist aber eine billige Propagande![2] — вдруг длинно и отчетливо произнес Минюк ясным злым голосом.

Сережа почувствовал, как холодок побежал по его спине: что-то знакомое почудилось ему в этом голосе. Мальчик еще ниже наклонился к больному. В нос ему ударило крепким, уксусным запахом пота. Лицо Минюка в сумраке почти не выделялось на подушке.

— Свет надо бы раздобыть,— сказал Сережа, все еще дрожа мелкой дрожью.— Ты покарауль его — я сейчас вернусь.

В первой палате света не было. Каганец из операционной Соня-санитарка наотрез отказалась выдать:

— Доктор хоть и уехал, а мало ли что может ночью случиться... У вас только глупости на уме.

Франя из кухни Сережу попросту выгнала:

— Олии тильки на донышке — не дам!.. Скажи Дом-

[1] Мамочка! Мамочка! (нем.)

[2] Но это дешевая пропаганда! (нем.)

ке — нехай спать идет. Завтра до свету ее подыму — на хлеб ро́зчину[1] ставить!

Однако, когда Сережа ни с чем вернулся в столовую, там уже горел свет. В ящике буфета Домочка разыскала старую жестянку из-под ваксы, масло слила с недоеденной Минюком каши, а фитилек смастерила из ваты, выдернув ее из продранной на локте собственной телогрейки. Зажигалку, да еще отличную, немецкую, она нашла в кармане у Минюка.

— Я ее еще днем, как он прикуривал, рассмотрела! — сияя, объяснила она Сереже.— Только она еле-еле зажглась... Больше бензина нету!

— Молодец! — похвалил Сережа.— Хотя, собственно говоря, по чужим карманам лазить не полагается!.. Давай-ка! — и тут же, обжегшись, чуть не выронил светильник на пол, но Домочка уже подолом платья перехватила из его рук раскаленную коробочку.

— Выше, выше подними! — скомандовал Сережа.

Домочка подняла каганец сколько могла, а Сережа, заслонив обеими руками лицо Минюка, оставил открытыми только нос и глаза.

— Теперь ниже! — сказал он хрипло, чувствуя, что у него подкашиваются ноги.

Домочка сунула огонь почти к самому носу больного. Веки Минюка дрогнули, и он испуганно открыл глаза.

— Фу ты, весь мокрый! — сказал он отдуваясь.— Мне бы хоть одно яичко и стакан спирту... Порошки — это одна ерунда...

Его светлые спутанные волосы так намокли от пота, что казались черными. Рыжая борода Минюка тоже была мокрая и завивалась колечками. Пока веки больного были опущены — еще можно было сомневаться. Но, встретив взгляд пронзительно-голубых глаз, Сережа почувствовал, как вся кровь медленно и больно отлила от его сердца.

— Под-тя-ни-те ко-жух! — еле выговорил Минюк, выбивая дробь зубами.— Хо-лод-но!

Сережа дал бы скорее отрубить себе руку, чем прикоснулся бы к этому человеку. Но Домочка спокойно и деловито подтянула кожух к самому подбородку Минюка.

[1] Ро́зчина (укр.) — опара.

— Ну, спите с богом... Мы до вас еще наведаемся,— сказала она тихо и подтолкнула Сережу к коридору.— Может, позвать кого старших, Сереженька? — спросила она дрожащим голосом.

— Без тебя знаю, что делать! — отозвался Сережа.— Ты иди лучше спать, Франя сердится... До того, как взрослых звать, надо с ребятами посоветоваться.

Когда глаза немного привыкли к темноте, Сережа прошелся между койками первой палаты. Раненые уже спали. Со всех сторон доносилось мирное посапывание. Как-то нехорошо, словно заходясь в удушье, храпел Максимчук-младший. Он, бедняга, больше полутора месяцев должен был лежать навзничь. Сейчас ему уже разрешили поворачиваться, но он все забывает — вот и храпит так страшно...

Сережа подошел и осторожно повернул спящего.

Хорошо, что Домочка ушла,— сейчас необходимо на свободе поразмыслить над своим открытием, а потом, конечно, посоветоваться с ребятами. Сереже пришел в голову один план, но без Вадима, Наташи и, пожалуй, без Домочки он не считал себя вправе приводить его в исполнение.

По дороге в Кохановку на вопрос, найдут ли и будут ли искать Геншке, Пава ответил: «Можешь не беспокоиться. Народ о чем надо предупрежден! Твое дело маленькое».

Еще точнее эту мысль выразила Панченко. Перечтя несколько раз Павино письмо, Наташина мама сказала: «Спасибо! Считай, что ты свою миссию выполнил».

Да, она, безусловно, полагает, что ребята не должны вмешиваться в дела взрослых!

Ах, как жалко, что сейчас нет в лесничестве милого, дорогого доктора Бориса Макаровича! Он-то первый и сказал Сереже о конспирации, но вместе с тем Борис Макарович совсем не считает, что если тебе нет пятнадцати лет, то ты еще не человек.

Когда мама как-то пожаловалась доктору, что Сережа отбился от рук, тот сказал: «Вы все еще его в маленьких держите! А я в его годы в гимназии учился, и уроки давал, и мать с сестрой кормил, да еще в Комиссаржевскую был влюблен и ежедневно караулил ее у театра!.. Правда, не в пятнадцать лет, а в семнадцать,

но я уверен, что вы учителенка до двадцати будете укачивать...»

Да, с Борисом Макаро́вичем можно было бы посоветоваться обо всем... А сейчас нужно созвать Моревинт и поговорить с ребятами.

Наташу еле добудились — она спустилась сердитая и озябшая. Домочка в кухню, оказывается, так и не ушла и дожидалась Сережу в коридоре. Вадя первым очутился в столовой.

Сережа говорил горячо, долго и довольно путано, но слушали его внимательно и терпеливо. Только Домочка нерешительно подняла руку в самом конце его выступления.

— А может, все-таки старших позвать? А то мама моя казалы: «Пленных до штаба треба доставлять! А то, если ты не умеешь, так не ты его, а он тебя допросит».

На слова Домочки никто не обратил внимания.

— Так чего же ты хочешь, Сергей? — спросила Наташа сердито.— Мне завтра дежурить, а тут поднимают среди ночи! Ты считаешь, что Минюк не Минюк, а Рожков-Геншке? Чудесно... Завтра все расскажем доктору или, если он не приедет, маме и Нине Леонидовне.

И вот тогда как с цепи сорвался Вадим.

— Чем мы тут занимаемся?! — закричал он так, что все испуганно оглянулись на дверь.— Возим воду, моем полы, кипятим бинты... Я ничего против этого, конечно, не имею,— смутился он под пристальным взглядом Наташи Панченко.— Но разве это работа! Все это потому, ты уж не сердись, Наташа, и ты, Сергей, что здесь командуют женщины! Марк Аронович не в счет — он отличный хирург, но во все остальное не вмешивается... А посмотрите, что делается в «замке»! Федька Рубан... Чем он лучше нас? А он и газеты доставляет, и через «зону» сколько раз перебирался... Раненые говорили: он даже в перестрелке участвовал! А мы?.. — Вадя с трудом перевел дыхание.— И вот сейчас, когда подвернулся такой счастливый случай доказать, что мы тоже чего-нибудь да стоим,— девчонки в ужасе... Как же: «ночь на дворе», «нет никого из старших»! — передразнил он тоненьким голосом.

— Мы, к твоему сведению, не девчонки, а такие же члены Моревинта, как и ты,— отчеканила Наташа.

— Но мы обойдемся и без классных дам! — продолжал Шалыгин.— Если вы боитесь, скатертью дорога! Мы с Сережкой справимся. Сергей уверен, что Минюк — это Рожков, то есть Геншке, укравший документы Рожкова, шпион. Я тоже в этом уверен. Я предлагаю... — Вадим встретился с презрительным взглядом Наташи и побледнел еще больше,— я предлагаю всем членам Моревинта допросить Минюка, занести его показания в протокол, на ночь оставить у дверей столовой охрану, а утром оповестить обо всем взрослых... Что ты хочешь, Домочка?

Домочка поднялась и как-то по-старушечьи обтерла уголки рта двумя пальцами.

— Цэй Минюк, чи як он, дуже сильный. Як вин железо ворочал, аж гром стоял... А у нас оружия не мае...

— Понятно,— сказал Вадя, иронически улыбаясь.— Ты, Домочка, два месяца бываешь в коммуне, а сейчас живешь здесь с нами, маляриков навиделась — дай боже!.. Неужели же ты не знаешь, что после приступа малярии самый здоровый человек совершенно ослабевает?.. Трехлетний ребенок может с ним справиться. Почитай-ка эту книгу — «В помощь военному фельдшеру»... Ну, идем все в столовую,— добавил Вадим миролюбиво.

— Нет! — Наташа так мотнула головой, что косы ее просвистели возле самого Сережиного носа.— Мы с Домочкой пойдем спать. Ей с утра нужно хлеб печь, а мне — на дежурство! Ну, интересных вам приключений, мистер Ник Картер и мистер Нат Пинкертон!

— Ей-богу, если бы она не была девчонкой, я бы... не знаю что! — пробормотал Вадя, глядя ей вслед.

Сережа, еле дыша, осторожно распахнул дверь столовой, но она, как назло, взвизгнула на весь дом. Немедленно же на шум отозвалась со двора верная Жучка. Эта Жучка своим беспричинным истерическим лаем может хоть кого вывести из терпения!

Мальчики вошли один за другим и переждали несколько секунд. В доме все было тихо. Вадя шагнул к

столу, и вдруг, от его ли дыхания или от движения воздуха, фитилек в коптилке затрещал и потух.

— Ничего,— пробормотал Шалыгин.— У деда Дудника за ставней свеча. А огниво свое с кремнем он держит под подушкой... Нет, ты оставайся,— сказал он, задержав Сережу за плечо,— двоим нам отсюда уходить нельзя.

В комнате было так темно, что Сереже почудилось, будто что-то жужжит и кружится перед его глазами. Мальчик, пригнувшись, на память шагнул к стене, где, по его расчетам, должен был стоять диван, и больно ударился виском об угол стола.

— Вы тут? — спросил он шепотом.

Никто не отозвался. Мальчик пошарил по дивану — диван был пуст. У Сережи от испуга задрожали ноги. В эту минуту вошел Вадим со свечой. Огромная тень его перемахнула через стену и потолок и надвое переломилась в углу.

— Что это с ним? — спросил Вадя сердито. (Минюк лежал на полу у окна, странно и неловко поджав под себя ногу. Мальчики наклонились над ним.) — Умер?..

Нет, руки больного были потные и теплые. Он еле слышно, но внятно дышал.

— Либо он догадался, что все открылось и собирался удирать,— сказал Вадим спокойно,— либо свалился с дивана во время второго приступа... Но если он собирался удрать через окно, то напрасно: окна уже забиты и замазаны. А форточка слишком маленькая... Перетащить его на диван, что ли? — добавил Вадим растерянно.— А вдруг он притворяется? Ты пульс умеешь находить, Сережка?

Ни Сережа, ни Вадим пульс находить не умели. Да если бы и умели, это им мало бы помогло — у мальчиков не было часов, кроме того, они не помнили, сколько ударов в минуту делает сердце человека в нормальном состоянии.

Минюк был хоть и худой, но тяжелый, и мальчики долго и неумело взваливали его на диван. То и дело скатывалась то беспомощно повисшая голова больного, то съезжали на пол ноги.

— Ну что же делать? — сказал Вадим с досадой.— Он без памяти — это уже безусловно... Доктора в лес-

ничестве нет. Позвать Ксану Федоровну?.. — Шалыгин подумал.— Нет, Ксану Федоровну я ни за что не позову! Отойдет, ничего с ним не сделается!.. Ладно, пускай будет по-Наташиному! — решил он наконец.— Допросим его завтра, уже как следует, в присутствии Ксаны Федоровны и Нины Леонидовны... Может, и доктор к тому времени приедет...

— Вадя! — сказал Сережа умоляюще.— Вадечка! Ведь Франя может опознать Геншке... Ей-то ведь и писал о нем Пава. Может быть, сходить сейчас за Франей? Она, правда, такую фамилию — Геншке — не помнит, но если увидит его...

— Так она тебе и пойдет среди ночи... Все дело в том,— Вадя горько усмехнулся,— что с легкой руки Ксаны Федоровны нас здесь все считают детьми. Все наши начинания заранее осуждены на неудачу... Пошли спать! — И, заслонив с одной стороны огонек ладонью, Вадим ловко задул свечу.

Сережа видел уже третий сон, когда внизу залилась отчаянным лаем Жучка. Она и лаяла и визжала одновременно. Противная собака — переполошит, пожалуй, весь дом!

— Вадя! Вадя! — окликнул Сережа.

Но... куда там! Вадим даже похрапывал во сне.

«Пойти посмотреть, что там?» — подумал Сережа лениво. Слышно было, что Жучка буквально заходится от злости, с остервенением бросаясь на кого-то. Сережа стянул с Шалыгина одеяло:

— Вадя, Жучка что-то уж слишком разлаялась!

— Наверно, собака с хуторов забежала,— отозвался Вадим сонно.

В эту минуту Жучка, отчаянно взвизгнув, замолчала.

«Выгнала!» — решил Сережа. Перед отчаянным Жучкиным натиском нередко отступали даже огромные одичалые хуторские псы.

И тотчас же под грузными шагами заскрипела лестница и открылась дверь.

— Чтобы мне это было в последний раз! — объявил дед Дудник, входя.— Хочу закурить, хватаюсь — нема кресала под подушкой... Хорошо — одна спичка нашлась... Я — к окошку, за свечкой — свечку тоже унес-

ли! А як закашляешься ночью, нужно закурить — хоть сдохни...

— Извините! — сказал Вадя виновато.— Мы и свечу и кресало в столовой забыли!

— А дверь входную зачем снаружи на засовы заперли? Мне на двор нужно было, смотрю — дверь снаружи на засовах... А что, если бы пожар? Об этом вы своими головами не подумали?!

— Как — дверь на засовах? — спросил Шалыгин сердито. И вдруг испуганно глянул на Сережу: — Сергей, слышишь?

— Да вы просто не умеете открывать дверь,— объяснил Сережа спокойно.— Она разбухла от дождя — ее нужно приподнимать немного...

— Ну, може, и так,— согласился дед.— А свеча и кресало чтобы мени в момент на месте были!

Мальчики промерзли, еще минуту назад им очень хотелось спать, но сейчас они, как по команде, соскочили с кроватей.

— Ну ладно, я дверь сейчас вам налажу! — сказал Вадим.— А ты, Сергей, сбегай за свечой и кремнем... И посмотри, что с этим типом, кстати...

Как раз напротив окна столовой, за низкой крышей сарая, в багровых облаках медленно всходила большая луна. Она не освещала комнату, а как будто только еще больше наполняла ее туманом и темнотой.

Кинувшись сначала к столу, Сережа сшиб по дороге котелок с кашей и зажал уши от оглушительного грохота. На столе ни свечи, ни огнива не оказалось. Сережа прислушался. В комнате как будто никто не дышал. Мальчик обшарил руками диван — немца на диване не было. Может быть, он опять свалился?

Ползая на четвереньках, Сережа попал рукой во что-то липкое и теплое, чуть не потерял сознание от ужаса и только потом сообразил, что это вывалившаяся из котелка каша.

Но вот на полу уже явственно проступило лунное окно, накрест перечеркнутое переплетом оконной рамы. «Где же немец?»

Теперь луна ярко освещала комнату. Светло было,

пожалуй, как днем, только мешали очень черные и очень четкие, падающие от предметов тени.

Сережа внимательно обвел глазами столовую, даже заглянул под стол, за диван, за буфет. Уже можно было различить черепки расколотого горшка и блестящую маслянистую горку каши на полу. Минюка не было.

— Сережка, беда! — сказал Шалыгин, входя.

— Вадим, Минюка нету! — пробормотал Сережа оторопело.

— Ага... А дверь столовой ты запер на ключ, выходя? — спросил Вадим каким-то странным, неживым голосом.

— Что? — не понял Сережа.— Какую дверь? Ах, эту? Нет, не запирал. Ее вообще никогда не запирают.

— Так... А выходную дверь он снаружи запер на засовы,— объяснил Вадим все тем же деревянным, безжизненным голосом.

— Кто он? — переспросил Сережа, хотя еще до объяснения Вадима он почувствовал, как у него точно екнуло что-то в груди и странно и быстро похолодели ноги.

Испуганно следил он за тем, как его товарищ то головой, то ногами вперед пытался протиснуться в узенькую форточку. Наконец, обмотав руку полой куртки, Вадя решительно высадил верхнюю широкую фрамугу окна и через секунду уже очутился за окном в саду. Сережа видел, как, освещенный луной, он опрометью бросился к воротам.

В комнату Вадим вернулся раньше, чем Сережа догадался побежать за ним. Правую руку он не держал, а как бы нес впереди себя.

— Поранил руку все-таки? — спросил Сережа, разглядев на рукаве Вадима какие-то темные пятна.

— Это не моя кровь,— ответил Вадим все тем же деревянным голосом.— Это Жучкина кровь...— Опустившись на диван, он уткнулся головой в колени и громко застонал.

— Вадька, что с тобой? Замолчи сейчас же! — закричал Сережа испуганно.

И Вадим сейчас же затих.

— Может быть, он еще недалеко ушел? — выговорил Сережа с трудом.— Он ведь еле-еле мог двигаться!

— А вот ушел же! — пробормотал Вадим.— Из наших разговоров он понял все и убрался заблаговременно. Значит, он совсем не так обессилел, как пишут в учебниках! Жучка, как видно, бросилась на него, и он ее убил... Огниво дедкино, и свечу, и кожух он, конечно, захватил с собой...

— Господи, какой ужас!.. Вадька, чего ты? — спросил Сережа встревоженно.

— Я... ничего... — ответил Шалыгин, отворачиваясь.— Меня нужно расстрелять!

— При чем тут ты?.. Тогда меня нужно в первую очередь. Я обнаружил этого Геншке. Я не закрыл дверь...

— Нет! И ты знаешь, что я один во всем виноват! Ввалились сюда «допрашивать», а он все мотал себе на ус... Ушли и не закрыли за собой дверь... Когда Жучка залаяла, его еще можно было догнать... Идем к Ксане Федоровне,— добавил Вадим, поднимаясь.

Но Ксана Федоровна уже сама с каганцом в руках спустилась в столовую.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Беда

— Почему такой шум? Приехал кто-нибудь? — спросила Наташина мама.— И потом, что это за глупые шутки над дедом?

— Ксана Федоровна, вы можете меня арестовать или даже расстрелять,— сказал Вадим безжизненным, деревянным голосом.— Партизан Минюк — это не Минюк, а шпион Рожков-Геншке. Ребята собирались сообщить вам об этом, но я их отговорил. Мне хотелось, чтобы мы сами... Словом, я хотел отличиться... Я решил допросить Минюка. Но он был без сознания, и мы ушли. Я забыл запереть дверь на ключ, и Минюк убежал...

— Что-о-о? — Ксана Федоровна с такой силой схватилась за щеки, что весь ее румянец как будто перегнало на лоб.— Да ты понимаешь, что ты говоришь?!

— Я понимаю, что я преступник,— сказал Вадя хрипло, не поднимая глаз.

— Нет, ты не понимаешь! — закричала Ксана Федоровна, срывая голос.— Если это действительно немец, то он был послан сюда не зря... Он уже все тут высмотрел...

— Ксана Федоровна... — начал Вадим.

— Молчи! — закричала Панченко.

Сереже показалось, что она замахнулась на Шалыгина.

— Мама, что ты? — раздался испуганный голос. В дверях, кутаясь в теплый платок, стояла Наташа.— Почему ты нападаешь на одного Вадима, когда виноваты мы все?

Сережа видел, как удивленно вскинул на нее глаза Вадя, но возразить Наташа ему не дала.

— У нас было основано такое общество, отделение Моревинта,— продолжала она.— Вадим только исполнил наше общее постановление.

Ксана Федоровна, подняв каганец, посветила дочери прямо в лицо.

— Отделение? Моревинта? — пробормотала она.

— Разговаривай со всеми нами... Почему ты набросилась на него одного? — добавила девочка уже не так уверенно.

— Наташа, выйди из комнаты, иначе я тебя ударю! — сказала Панченко хрипло.

Каким нескончаемо долгим казался этот день!

Кладовую никто не запирал на ключ, ребят как будто никто не караулил, но, когда Наташа собралась было заняться уборкой первой палаты, Ксана Федоровна велела ей немедленно вернуться «к себе».

В «коммуне» что-то происходило. Кто-то, тихо переговариваясь, прошел по коридору. Под окном проехала одна подвода, другая, третья... Вот из кухни тащат какие-то мешки. С утра моросит дождь, бочка для воды полна, вода переливается через край...

— Мама,— сердито сказала Наташа, расслышав в коридоре шаги матери и открывая дверь,— мы так без дождевой воды останемся!.. Можно, мы переставим бочки?

— Справимся и без вас! — сказала Ксана Федоровна и прикрыла дверь.

— Когда же это кончится?! — спросила Наташа с отчаянием.— Чуть пальцы мне не прищемила! Значит, даже дверь мы не имеем права открывать!.. Что за крик? — добавила она испуганно.— Это на кухне. Плачут или смеются?

— Плачут,— прислушавшись, определила Домочка.

Да, теперь из кухни уже явственно доносились голоса, прерываемые взрывами рыданий.

— Мамочка, кто это плачет в кухне? — спросил Сережа.

Но мать, не отвечая, посмотрела точно сквозь него, взяла что-то в ящике и вышла.

Через минуту снова открылась дверь.

— Вадя, тебя зовут! — крикнула Анна-Мария. (Ага, уже и Анна-Мария в лесничестве!)

Когда Вадим вернулся, на него жалко было смотреть — так сильно дрожали его руки. Только Домочка отважилась.

— Плохо, Ваденька? — спросила она робко.

— Плохо! — признался Шалыгин.— Ужаснее всего то, что вы все страдаете из-за меня. Я пытался объяснить это Ксане Федоровне, но она и слушать не хочет...

Сережа сделал жест рукой, означавший: ничего, за друга, мол, можно и пострадать, когда в разговор вмешалась Домочка.

— Если бы Вадим допросил как надо этого немца,— сказала она,— нам бы всем была благодарность. Не ему одному... Может, даже нас в той Моревинт приняли бы,— добавила она застенчиво.— Так вот, и сейчас мучиться не один должен. Все мы в ответе...

— Ах ты, моя богиня правосудия! — И Наташа нежно поцеловала подругу.

И вот наконец всех их вызвали в столовую.

Сережа решил рассказать не только о событиях этой

ночи, но и обо всем, что ему известно было о Рожкове-Геншке-Минюке раньше.

— В первый раз я увидел Евдокима Рожкова в Одессе, на постоялом дворе Майбаха... Он был в матросской форме... — Сережа посмотрел на Анну-Марию.

Девушка сидела очень прямо, не касаясь даже спинки стула.

— Во второй раз,— продолжал Сережа,— я встретил Рожкова в Кохановском лесу... Мы ехали с Борисом Макаровичем и догнали по дороге Рожкова с Анной-Марией...

Все на секунду оглянулись на Анну-Марию, а она еще выше подняла свою маленькую светлую голову.

— Тогда Рожков был уже в немецкой форме, потому что Анна-Мария достала ему фальшивое удостоверение, то есть справку немецкую...

— Отпускное свидетельство от ротного писаря,— поправила Анна-Мария спокойно.— Рожков думал в Одессу к своим пробраться...

— Потом в Одессе мы... — Сережа, замявшись, замолчал.— Ну, словом, в Одессе я распечатал Павино письмо, адресованное Фране... Там Пава просил Франю предупредить Ксану Федоровну, что немецкий шпион Рудольф Геншке каким-то образом раздобыл документы на имя Евдокима Рожкова... Так вот этот Минюк, что удрал сегодня ночью, на самом деле Евдоким Рожков, или, вернее, Рудольф Геншке...

— Ничего не понимаю! — сказал Марк Аронович, сердито пожимая плечами.— Геншке! Минюк! Рожков! Кто же он такой на самом деле? И, если он, как говорит Анна-Мария, пробирался в Одессу, что ему понадобилось на нашей восьмой делянке?

Анна-Мария поднялась с места.

— Что ему понадобилось? Я ему понадобилась! — сказала она гордо.— Он вправду в Одессу думал пробираться, но мы поссорились на прощанье... И он, значит, не выдержал — вернулся сюда. И это не Геншке,— повернулась она к Сереже,— а самый настоящий Рожков и есть! Он ночью в одних исподних выскочил из хаты Виртов, там его бумаги все остались... Тогда, наверно, Геншке этот или кто другой и забрали себе его документы...

— Нет,— тнхо сказал Сережа,— это не Рожков... Не мог Рожков такое говорнть по-немецки...

— Много ты понимаешь по-немецкн! — крикнула Анна-Мария.— Ксана Федоровна, Ннна Леонидовна, ну куда это годнтся?.. Соплякн такие суд над человеком устраивают!..

— Объяснн, Анна-Марня, товарнщам все подробно,— сказала Ксана Федоровна устало.— Я-то в курсе дела...

— Рожков — матрос с крейсера «Память Меркурия»,— начала Анна-Марня. Голос ее чуть дрожал.— Прнехал Рожков в Александровку к своей барышне. А ее кулаки в восстанне убили. Он сам еле выскочил. Документы его осталнсь в хате. Может, нх тогда н выкрали.

— Ты хорошо его знаешь? — спроснл доктор строго.

— Знаю... Я люблю его... н он меня,— ответнла Анна-Марня тнхо.

— Барышню его, говоришь, кулакн в восстание убнлн? Это, значит, когда же? — Марк Аронович, подняв очки на лоб, обвел всех голубыми блнзорукими глазамн.

— Полгода... нет — семь месяцев назад,— подсказал Шалыгин быстро.

Анна-Мария всем туловищем, как волк, повернулась в его сторону.

— Полгода? — МаркАроновнч покачал головой.— Недолго же он горевал... Ну, тебе в838днее! Я в такнх вещах плохо разбираюсь...

— Разобрались уже без тебя! — перебнла его Ксана Федоровна.— Давайте сейчас с одннм делом покончим! Ты, Сергей, понял наконец, что ребятам нельзя действовать на свой рнск? Человек этот, Рожков, возможно, н не прав... Не следовало ему, может быть, так таннственно пробнраться к нам... Подождн, Анна-Марня, дай я скажу. Хотел тебя повндать — прншел бы прямо... Но прав Рожков или не прав, Сережа, это не вашего ума дело! Ты понял?

Сережа опустнл голову н промолчал. Ксана Федоровна пожала плечами и перешла к опросу девочек.

— Да ведь Ваднм и Сережа все подробно объяснnли уже,— сказала Наташа серднто.— Больше мне добавить нечего...

— Нам в той Моревинт очень хотелось попасть,— робко пояснила Домочка.

— Из чего же это вы заключили, что достойны быть принятыми в Моревинт? — спросила Ксана Федоровна, щурясь как от боли.— Какие, по-вашему, цели преследует Моревинт?

Дети, понурясь, молчали.

— Мы очень точно не знаем,— наконец ответила Наташа.— Вот мы пока и основали отделение Моревинта.

— Отделение? — сказала Ксана Федоровна презрительно.— А знаете вы, что, собственно, означает это слово?

— Оно означает... — начала Наташа и вдруг замолчала.— Если ты собираешься издеваться над нами, я ничего не скажу...

— Это означает «Молодежный революционный интернационал»,— пояснил Сережа смущенно.— Мы ведь по-настоящему не знали, что нужно сделать, чтобы быть принятыми в Моревинт.

— Ну, и какие цели преследовало это ваше отделение?

— Мы очень любим свою родину,— начал Вадим бледнея.— Мы хотели бороться с оккупантами...

— Ах, так? — спросила Ксана Федоровна иронически.— Вы любите свою родину? Как это оригинально! А все эти люди, очевидно, не любят своей родины? — Она обвела рукой круглый стол.— И те, в палатах и в операционной, тоже не любят своей родины?

Наташа передернула плечами:

— Ну и пускай любят! И пускай записываются в партию или в Моревинт!

— Спасибо за разрешение! — громко сказала Анна-Мария.

Суд происходил в столовой. Кроме Ксаны Федоровны и подсудимых, здесь присутствовали пять человек выздоравливающих, доктор Винницкий, Франя, Анна-Мария, сторож Дудник, две девушки из кухни, подводчик со станции Мардаровка и еще трое людей, которых ребята не знали.

Сереже хотелось перехватить хотя бы один сочувственный взгляд, но даже мама, даже Франя смотрели мимо него.

— Ну так вот... мы хотели бороться... Дело в том, что мы... Если бы кто-нибудь... — все тише продолжал Вадя Шалыгин. И наконец замолчал.

— Что же вы делали для этой борьбы? — спросила Ксана Федоровна сурово.

— Ну, что могли,— ответила Наташа.— Ухаживали за нашими ранеными... Носили воду... Кололи дрова. Стирали. Федя Рубан два раза привозил лекарства... Он вообще много делал.

— Ах, вы и Рубана, оказывается, приняли в свое общество?

Наташа замолчала.

— Это я предложил Рубана... Заочно... — попытался объяснить Сережа.— Ведь кто-кто, а Рубан достоин по-настоящему...

— Молчи! — закричала Наташа.— Она же издевается над нами... Неужели ты не понимаешь?

— Ну, а дальше? — словно не расслышав дочери, продолжала Ксана Федоровна.— А если бы вы не были членами этого общества, вы разве не делали бы всего этого? Ваше общество помогло вам чем-нибудь в этой работе? Могло ваше общество поддержать вас в хорошем начинании или помешать вам совершить какую-нибудь ошибку?

Ребята, не поняв ее, переглянулись.

— С жиру беситесь!.. — вдруг закричала Ксана Федоровна.

Сережа заметил, как даже доктор Винницкий укоризненно покачал головой. Даже беспощадная Анна-Мария обвела взглядом худые и утомленные лица ребят. Пожалуй, меньше всего заслужили они это обвинение.

— Я объясню,— сказала Ксана Федоровна, успокаиваясь.— Вы живете в относительно спокойной обстановке. А кругом льется кровь! Вот тетя Даша на кухне второй день плачет — ее сыну отняли ногу выше колена. Каждый день мы несем огромные потери в людях... И предстоит нам еще немало испытаний. К Одессе идет французская эскадра... А вы что?.. Когда спросишь вас о целях, какими вы руководствовались, вступая в Моревинт, вы несете кто в лес, а кто по дрова... А вот в деле с Минюком вы проявили удивительное единодушие!

— Ничего подобного!.. — вмешался Вадим.

Но Наташа дернула его за рукав.

— Пусть выкричится! — сказала она устало.

Ксана Федоровна, кажется, услышала ее. Она помолчала с секунду, постукивая пальцами по столу.

— И хочу вас спросить еще об одной вещи,— сказала она тихо.— Вы вот писали эти автобиографии...

— Минуточку! — сказала Наташа.— Ты не имела права рыться в моем ящике!

— Автобиографии,— повторила Ксана Федоровна.— Ты, Наташа, пятерочница, кажется... А как ты пишешь?! «Родилась в июни 1904 года»... «И» на конце! Но вот самую ужасную автобиографию написала Домочка. А ведь Нина Леонидовна говорит, что она девочка старательная, только учение ей трудно дается... Домочке пятнадцать скоро, а она даже букв как следует не знает!.. Поди-ка сюда... Объясни мне, что это ты понаписывала?

— Это «мэ», а это «рэ»,— сказала Домочка дрожащим голосом.— Это мени мама так показалы...

— Безобразие! — закричала Ксана Федоровна.— Вы считаете ее своей подругой, а никто из вас не позаботился, чтобы она была грамотной!

— Но когда же, мама? — спросила Наташа тихо.— Мы заняты почти целый день...

— А вот как только дело коснулось Минюка, вы нашли и время и место, чтобы собраться, и обсудить, и выпустить его.

— Ты все время говоришь: «выпустить», «выпустить»... Он ушел сам, никто и не думал его выпускать! — отозвалась Наташа.

Но Ксана Федоровна пропустила мимо ушей и это ее замечание.

— А между тем, если бы вы отнеслись к вопросу о вступлении в Моревинт посерьезнее, посоветовались бы со взрослыми... — Ксана Федоровна еще держала руку на плече Домочки и, отчеканивая каждое слово, все сильнее и сильнее нажимала на это тонкое плечико.

Домочка только один раз испуганно оглянулась на ребят.

Однако очередь смутиться пришла и для самой Ксаны Федоровны.

Бледная, но решительная, поднялась со своего места Наташа.

— Конечно, выгонять из комнаты легче всего,— сказала она, не мигая глядя в лицо матери красными, воспаленными глазами.— Но, если бы я была коммунисткой, моя дочь не от кого другого, а от меня узнала бы о существовании Моревинта, а я о нем слышу от тебя сегодня в первый раз!..

Дверь отворилась, в комнату заглянул доктор Борис Макарович. Быстрый ветер прошел по ногам. Сереже стало очень холодно.

— Приехал? Вот и чудесно... Ну что, Макарыч, новости хорошие? — начала было Ксана Федоровна весело, но, разглядев лицо доктора, вся потемнела.

Борис Макарович, поздоровавшись, обошел стол и остановился за спиной Панченко. Он вытащил из-за пазухи бумагу и, положив руку на плечо Ксаны Федоровны, начал очень тихо шептать ей что-то на ухо.

Домочка, потупясь, еще стояла перед Ксаной Федоровной, и вдруг Сережа обратил внимание на то, как нежно обхватила Панченко девочку руками, точно защищая ее от какой-то неминуемой беды.

— Нет, не могу, Макарыч! — сказала вдруг Ксана Федоровна устало. Она расстегнула пуговичку у ворота.

Но доктор стоял за ее спиной, молча упираясь взглядом в резного зайца на дверце буфета.

Сережа попытался встретиться с ним глазами. Тогда Борис Макарович перевел взгляд еще выше — на лепной карниз. У правого его виска что-то непрерывно, мелко дрожало.

Ксана Федоровна придвинула к себе бумаги и прочла до последней строки, вздохнула и хотела было от себя отодвинуть, но доктор строго тронул ее за руку. Панченко перевернула лист и прочла также и то, что было написано на обороте.

— Может быть, ты сам поговоришь с ними? — спросила она неуверенно.

— Если тебе трудно, я могу... — сказал Борис Макарович сердито.— Только женщина как-то скорее найдет настоящие слова...

— Ладно... Давай я,— решила Панченко.

Борис Макарович задержал руку иа ее плече. Потом быстро поднялся и вышел. Сереже так и не удалось встретиться с иим глазами.

— Дорогие мои дети,— начала Ксаиа Федоровиа и закашлялась, так сильио дрожал ее голос,— ие время сейчас заниматься пустяками... Наш народ, наша партия одержали сейчас великолепную победу, но помиите, мои дорогие, что победа не дается даром...

Оиа поднесла листок к глазам. Руки ее дрожали.

— Немцы официально заключили с иами перемирие, но ведь Украина вся кишит петлюровцами...

Ксана Федоровна гляиула в окно иа небо. Она положила на стол кулаки и так их сжала, что засветились все восемь косточек. Потом оиа сиова обияла Домочку.

— Нашему отряду, отступавшему из Одессы, пришлось пробиваться сквозь сильное петлюровское заграждение. Мы поиесли большие потери,— добавила Паинченко тихо.— Я оглашу список убитых и раненых. «Шишков, Константии Егорович, убит,— прочла оиа, твердо выговаривая слова.— Оксмаи, Ефим Абрамович, убит. Ариан, Ованес Вартаиович, убит...» Вся «Выпечка»,— добавила она с трудом.

Сережа только теперь с ужасом понял, что Шишков Констаитии Егорович — это и есть Константин, пекарь из «Выпечки», а Оксмаи Ефим Абрамович — это и есть Фимочка. И Ариаи!

Список был длинный.

— «Тищенко, Иван Федорович, тяжело раиеи. Клячко, Юрий Павлович, умер от ран...» — подиимая глаза на Франю, прочла Ксана Федоровна и снова обхватила Домочку за плечи.— Клячко Юрий Павлович — это Франии племяиник, брат Домочки. Юрко!..

Да, список был длинный, и какие все знакомые одесские фамилии: Ильященко, Белоконь, Борзенко...

Борзенко Геииадий Семеиович — это тот самый ученик художествениого училища, который так хорошо помогал партизанам. Он от руки рисовал немецкие штампы и печати на удостоверениях, и иевозможно было отличить их от настоящих. Оккупаиты повесили его на Привозной площади.

Редко, редко удавалось услышать утешительиое «ра-

нен». «Убит! Убит! Убит!» — как будто вколачивали гвозди в крышку гроба.

— Ой, ой! — сказала Ксана Федоровна, закрывая глаза и вся покачиваясь.

Самое страшное заключалось в том, что никто не плакал. Домочка, как будто еще больше похудевшая за эти несколько минут, молча вцепилась в рукав Ксаны Федоровны.

— А мама их где? — через силу спросил Сережа.

Ксана Федоровна сделала жест рукой. Все поняли: мать Домочки — там, в лесу.

— Она знает? — спросила Наташа.

Ксана Федоровна пожала плечами. Перевернув страницу, она продолжала читать по списку.

Но вот она произнесла никому как будто бы не известную фамилию:

— «Рудой, Федор Акимович, убит».

И в ответ дико вскрикнула девушка, работавшая на кухне:

— Феденька, убили-таки!

И тут только заплакала, закричала и забилась в руках у Ксаны Федоровны Домочка.

— Юрко наш, Юрочка, мамо, как же это так! — кричала она, отрывая от себя руки Панченко.— Мамочка, маты наша, где вы, мамочка?.. Сереженька, как же это так?..

Наташа крепко обхватила ее руками, но Домочка, вырываясь, плакала и кричала.

И потом долго еще в ушах Сережи стоял ее вопль:

— Брату! Братику! Мамо!.. Сереженька!

Кроме этого страшного списка, Борис Макарович, оказывается, привез и другую бумагу — «Отношение» уполномоченного Одесской городской управы, адресованное «заведующему вторым отделением валегоцуловской волостной больницы, врачу господину Винницкому».

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Еще одна встреча

«Ваше Высокородие,— значилось в «отношении», полученном доктором Винницким,— согласно договоренности с его высокоблагородием господином майором оккупационных войск Тайцем, из количества дров, занаряженных для нужд населения города Одессы, выделено для отопления и кухни вверенной Вам больницы двести пудов осины и полтораста пудов березы. Означенное количество благоволите принять 25 ноября, для чего прошу Вас прибыть на станцию Мардаровку к 6 часам утра со своими тягловыми и транспортными средствами, а также с собственной рабочей силой, пригодной для погрузочно-разгрузочных работ.

Примите и проч.

Уполномоченный Одесской городской управы О. Пацюк».

Тягловых и транспортных средств на восьмой делянке не было. Рабочую силу, пригодную для погрузочно-разгрузочных работ, составляли четверо выздоравливающих, Вадим, Сережа, Соня-санитарка, Наташа, Домочка, задержавшаяся в «коммуне» Анна-Мария и Франя.

Доктор был против того, чтобы брать Франю на станцию.

— Я, конечно, мало в этом разбираюсь,— сказал он, поднимая на лоб очки,— но вдруг они бросятся друг к другу — Франя и Пацюк, мало ли что может произойти?

Франя очень рассердилась на доктора.

— Чтобы Пацюк так ко всем кидался, давно бы на столбе висел! — сказала она сердито.

Панченко и Кульчицкая, посоветовавшись, решили «женское население» делянки с Марком Ароновичем вообще не отправлять.

— Шестерых человек хватит! — сказала Панченко.— Грузить же дрова не придется: скинете на платформу,

а потом перетащите под навес. Завскладом разрешит!

Завскладом был «свой».

Увидев, что доктор переоблачается в свою старенькую пиджачную пару, Ксана Федоровна подозрительно оглядела его с головы до ног.

— Да ты сам уж не собираешься ли дрова грузить? Знаешь, голубчик, руки хирурга — слишком дорогая вещь, чтобы мы тебе позволили этим богатством бросаться!

И доктор вынужден был дать слово «честного беспартийного специалиста», что на станции он будет осуществлять только верховное руководство.

— Мальчики, возвращайтесь поскорее!.. — сказала Наташа на прощанье.— Сергей, я просто не знаю, как мы тут без тебя с Домочкой справимся.

Вот уже почти неделя, как Домочка не плачет. Девочка спокойно и старательно выполняет любую поручаемую ей работу. Она даже улыбается, когда ее пытаются развеселить.

Но заставить Домочку поесть, поспать или выйти в лес подышать свежим воздухом невозможно было без Сережиной помощи.

— Сережа, на помощь! — так и кричали обычно Наташа, Франя или Соня-санитарка.

— «За папу, за маму» я тебя упрашивать не буду,— говорил Сережа решительно,— но, Домочка, неужели ты не понимаешь: нельзя же так огорчать людей, которые желают тебе добра!

Ему самому было стыдно и этих слов, и этого тона. Такие наставления могла бы читать Ольга Ивановна, или классный наставник «Дудочка», или сам инспектор Модест Кириллович Богоявленский. Однако Домочка ничего предосудительного в Сережиных словах не видела.

— Я понимаю,— говорила она виновато и, давясь, покорно глотала все, что Сережа ей пододвигал.

Марк Аронович поднял мальчиков на рассвете. Подвод не было — на станцию пришлось добираться пешком. Однако, когда погрузочно-разгрузочная сила прибыла на

Мардаровку, выяснилось, что товарный состав под дрова еще не подан. Стрелок железнодорожной охраны сообщил, что придется еще пропустить эшелон с немцами, возвращающимися на родину.

Уполномоченный Одесской городской управы — Пацюк, Омелько Гнатович — на Мардаровку тоже еще не прибыл. Мальчики потащили «Макароныча» посмотреть на отъезжающих немцев.

Состав их стоял на втором пути. По каким-то немногочисленным, но несомненным признакам оседлости можно было понять, что стоит он здесь уже давно. У зеленой тачки была навалена груда картофельной шелухи, высыхали пролитые помои. Австриец в голубой шинели заливал водой дымящиеся на земле угли. Подле бака с кипяченой водой стояла коротенькая очередь с котелками. В некоторых вагонах были установлены переносные печи. Заметно было, что подле таких вагонов толпа стоит погуще.

Уполномоченный Пацюк показался совсем не с той стороны, откуда его ждали. В тяжелой распахнутой шубе шел он, постукивая палочкой по асфальту перрона.

— Смотрите, у него даже походка другая! — восхищенно шепнул Сережа.

Доктор Винницкий торопливо двинулся навстречу Паве.

— Рад приветствовать в вашем лице представителя Одесского городского самоуправления! — произнес он торжественно.

— Вас никто обо мне не расспрашивал? — не здороваясь, тихо задал вопрос «уполномоченный».— Похоже, что дежурный о чем-то догадывается...

— А начальник станции?

— Там — все свои. А дежурный что-то долго ко мне присматривался... Ну да ладно... С Жеребкова я приехал верхом. Лошадь, на всякий случай, привязана за станцией. А с этой стороны я хорошую дрезину себе присмотрел. Дело идет: четырнадцать человек на Слободку отправил! А сегодня ребята пломбы с вагонов поснимали и погрузились в товарные. Человек тридцать отправится, а с ними — винтовки, пулеметы, потом там мелочишка разная... На Знаменской узкоколейке мы ихнего машиниста и кочегара сняли, кондукторов тоже своих поста-

вили. Состав в тупик загнали. Наши ребята потом разгрузят...

Пятясь задом, по рельсам прошел паровоз без вагонов и скрылся за станцией.

Через секунду пронзительно взвизгнул свисток. Немецкий состав сильно рвануло. Солдаты на ходу повскакивали в вагоны. Но, очевидно, опять произошла какая-то заминка, и поезд снова остановился. Машинист соседнего товарного состава высунулся из будки.

— Забирай уже своих немцев к чертовой бабушке! — крикнул он, сердито раздувая усы.— В Одессе народ небось без топлива сидит!

— Что, французов боишься заморозить? Французов жалко? — поддразнил его стрелок.

— Народ жалко! — поправил машинист не зло.

В одной из теплушек, в углу, сидел человек в штатском. Хотя он и жался в темный угол, уж очень выделялся его костюм на фоне голубых и зеленых солдатских шинелей. На груди штатского горел красный бант.

Сережа дернул Паву за хлястик шубы:

— Смотрите — красный бант. По какому праву?

— Видно, имеет право,— возразил Пава спокойно.— Зря не надел бы... Может, солдатик какой-нибудь дошел тут, у нас, своим умом... А может, еще из Германии ум вывез...

— Павочка,— пробормотал вдруг Сережа, приглядевшись,— а знаете, кто это? Обер-лейтенант, ну тот, с револьвером... Он маму допрашивал!.. Вадька, посмотри-ка!

Шалыгин, подойдя, подтвердил, что это именно тот самый офицер, который вел допрос и из-за которого задержали Нину Леонидовну. Почему же он в штатском?

— А шут с ним! — сказал Пава рассеянно.— Нехай едет в Германию... Немцы сами разберутся, кто он и что! А вот красный бант он напрасно прицепил. Маскируется, гадюка! Там, среди немцев, есть такие, что своей кровью этот бант заслужили... А он маскируется!.. — добавил Пава. И, показав рукой на собственную грудь, крикнул: — Ты, слушай, бант сними! Бант!

Немец, не разобрав, очевидно, его слов, поднял кверху сжатый кулак и выкрикнул:

— Рот Фронт!

В теплушке лейтенанта стояла переносная печурка и была заготовлена аккуратная стопка дров. Упираясь руками в пол, перед печкой сидел на корточках солдат. Задыхаясь и кашляя, он изо всех сил дул в открытую дверцу печки. От усилий солдата на спине его, под выгоревшим сукном, ходили худые лопатки, красные руки торчали из коротких рукавов его поношенного мундира.

— Ишь, и тут без холуев обойтись не могут! — пробормотал Пава с сердцем.— Стой-ка, стой!.. — сказал он вдруг, всматриваясь в солдата.

Тот обернулся под его пристальным взглядом.

Сережа, не отдавая себе отчета в том, что делает, вдруг рванулся к поезду.

— Рудольф Геншке! — закричал он изо всех сил.

— Стой! — кричал на бегу Пава.— Стой! Эй, кто там, задержи поезд!

Дверь теплушки, визжа, поехала на роликах и захлопнулась.

И вдруг на глазах у Сережи клочок сена, приставший к вагонному колесу, медленно поехал кверху, а потом стал вращаться, пока не слился в сияющий круг. Поезд тронулся.

— Врешь — не уйдешь! — закричал Пава и побежал за поездом.— Я тебя, сволочь, и в Германии найду!.. Товарищи немецкие солдаты! Геноссе!..

Сережа вдруг ахнул. Дверь теплушки отъехала чуть-чуть, в образовавшуюся щель высунулся человек в штатском и выстрелил в Паву в упор, но промахнулся. Тогда вслед за ним высунулся Рудольф Геншке и выстрелил еще раз. Но еще до того, как раздался выстрел, Вадя Шалыгин рванулся вперед и заслонил Паву своим телом.

— Тормоза! — крикнул Пава.

— Машинист! — закричало несколько голосов.

Стрелок железнодорожной охраны оглушительно засвистел. Машинист высунулся из своей будки, увидел господина в богатой шубе, размахивающего руками, а рядом с ним — железнодорожного стрелка.

— Опять, видно, какого-нибудь коммуниста ловят! —

сказал он помощнику и, делая вид, что не понял знаков, дал самую большую скорость.

Сейчас, однако, никто и не думал останавливать поезд — все бросились к раненому. Вадя лежал лицом вниз в луже крови. Он хрипло дышал, и видно было, как от каждого его вздоха кровь быстро и ярко проступала у него на спине. Возле него уже суетились доктор, Пава и еще какая-то женщина. У Павы даже полы шубы были запачканы кровью.

Вдруг из толпы на перроне отделился человек в зеленой фуражке и быстро направился по второму пути. За ним, поддерживая на боку наган, побежал стрелок железнодорожной охраны.

— Что случилось? — спросил человек в зеленой фуражке.

И по тому, какой тревожный взгляд бросил Пава на доктора, а потом — на путь впереди, Сережа понял, что в зеленой фуражке это и есть дежурный по станции.

— Да вот тут немец один проезжал с красным бантом. Господин уполномоченный велели ему бант скинуть. А немец как закричит: «Рот Фронт!», да как выстрелит из нагана! — доложил стрелок, держа руку у фуражки.— Большевик немецкий, не иначе,—добавил он нерешительно.

— И попал в моего товарища! — добавил Сережа.

Дежурный еще раз внимательно оглядел Паву, пробормотал несколько сочувственных слов доктору и наклонился к стрелку.

Сережа слышал, как тот ему ответил:

— Бывает, господин дежурный, такое сходство в личности... А так документы все правильные.

Вадю положили на груду порожних мешков. Кровь из раны наплывала безостановочно. Доктор Винницкий с серьезным лицом мыл руки у бака с кипяченой водой. Пава скинул с себя шубу и пиджак и, присев на доски, рвал сорочку на бинты.

— Павочка,— зашептал Сережа, наклоняясь к нему пониже,— еще одна беда: мне кажется, дежурный велел стражнику следить за вами!

— Знаю! — отозвался Пава сумрачно.— Много он не уследит! Мне бы только Вадю в коммуну доставить! А состава с дровами сегодня не подадут.

— Доставим Вадю и без вас! — сказал доктор тоном, не терпящим возражений.— А где же она, ваша дрезина?

Пава, не отвечая, накинул на себя шубу и спрыгнул вниз, на шпалы.

— Доктор, как вы думаете, Вадим останется жить? — спросил Сережа испуганно. И просительно заглянул Марку Ароновичу в глаза.

Доктор Винницкий молчал.

— Но он жив еще? — спросил Сережа, весь холодея.

— Жив,— неуверенно сказал доктор.

— Неправда, он умер!.. — закричал мальчик и, плача, зарылся лицом в груду мешков.

Сережа ошибся. Вадим Шалыгин остался в живых.

Для всей «коммуны» потянулись мучительные часы ожидания. По коридору взад и вперед озабоченно сновали люди. Сережа сидел в столовой.

Вот, распахнув ногой дверь, вошла мама с поднятыми кверху мокрыми руками. Нина Леонидовна встретилась с Сережиным умоляющим взглядом, но ей сейчас было не до него.

Вот в хирургическую прошел доктор Винницкий, и Ксана Федоровна тотчас внесла за ним побрякивающую металлическую коробку, в которой кипятят инструменты.

Потом — молчание. Только кровь стучит в горле, в висках и в пальцах. За стеной два раза тоненько крикнул Вадя. И опять — тишина.

Что-то трудно сдерживаемое, как тошнота, поднималось к горлу. Сережа заплакал вслух, как маленький.

Бесшумно распахнулась дверь. В столовую вошла Наташа Панченко. Облокотившись на подоконник, девочка долго смотрела во двор. Она дышала на стекло и неприятно скрипела по нему ногтем. Потом повернулась к операционной и застыла — неподвижно, как на часах.

Отворилась дверь террасы, вошла Франя и вылила в ведро воду с плавающими в ней розовыми ватками. Франя сегодня заменяла Соню-санитарку. Оглянувшись на Наташу, Франя только тяжело вздохнула и

снова скрылась за дверью. Сережа сел на пол, обхватив руками колени и покачиваясь. Наконец много времени спустя в столовую вышел бледный и потный доктор Винницкий.

— Благополучен! — ответил он на безмолвный Наташин вопрос.— Большая потеря крови. Слабость... но благополучен.

С коротким рыданием Наташа притянула к себе Сережу и крепко поцеловала его в губы.

Полночи Сережа отдежурил у Вадиной кровати. В четыре утра пришла его сменить Домочка. Пробираться наверх Сереже не хотелось, и он, не укрываясь, без подушки, прикорнул на диване в столовой. Сначала с непривычки болела шея. В углу, под полом, нахально возились мыши, но в конце концов Сережа заснул.

Разбудили его чьи-то шаги.

— Мамочка! — сказал мальчик и пошарил рукой в темноте.

Кто-то разжал его пальцы и вложил ему в ладонь что-то металлическое, гладкое и теплое.

— Узнаешь? — спросил Наташин голос.

Сережа пошевелил рукой, и это что-то, соскользнув вниз, повисло на цепочке.

— Это твой медальон, что ты Женьке подарила! — сказал мальчик с удивлением.— Но ведь Вадим его выбросил!

— Он потом отыскал его под окном... И все время носил на груди... Мама сняла, когда его перевязывали, и отдала мне. Теперь мама все знает...

— Что — знает? — спросил Сережа с испугом. Ему показалось, что он быстро-быстро падает куда-то вниз.— Вы ведь всегда так ссорились с Вадимом...

Наташа надела медальон себе на шею. Стоя на коленях рядом с диваном, она положила свою голову рядом с Сережиной головой.

— Ну, знает всё!.. — сказала она просто.— Ты только не сердись, Сереженька, я тебя тоже очень-очень люблю!

— А ну-ка, Сережа, повернись к свету,— сказала Наташа, когда окна залило молочным сиянием.— У тебя глаза сейчас совсем-совсем голубые... — Она ласково по-

ложила ему руку на плечо.— Ты знаешь, Домочка наша считает, что ты гораздо красивее Вади...

Сережа молчал.

— Домочка — чудесная девочка... — снова начала Наташа.— Да?

— Да! — сказал Сережа недовольно.

— Ну ты не сердись, я больше не буду... Посидеть с тобой еще немножко?

— Ты тоже не сердись,— пробормотал Сережа виновато,— но давай лучше разойдемся... Хоть поспим до утра.

Наташа покорно направилась к двери и вдруг вернулась.

— Сергей, я стала просто самая настоящая трусиха! Кто-то там копошится в сенях. Пойдем посмотрим.

Сережа поднялся с дивана.

Однако уже тихонько скрипнула дверь из операционной. Потом вторая — в сенях. Кто-то их опередил.

— Тетя Аня, не надо! — услышал Сережа Домочкин голос.— Нехорошо! Вадечка только-только заснул — разбудите!.. Вон идет кто-то, тетя Аня!

Сережа открыл дверь.

Анна-Мария сидела в уголке сеней на полу, а Домочка, наклонившись над ней, осторожно обтирала подолом ее грязное, исцарапанное лицо.

— Вон Сереженька с Наташей! Вставайте, тетя Аня! — ласково уговаривала девочка.

В первую минуту Сереже показалось, что Анна-Мария пьяная, так странно и дико озиралась она по сторонам, такая она была растрепанная, исцарапанная. Так она была не похожа на себя.

Наташа, шагнув в угол, уже пыталась вместе с Домочкой поднять Анну-Марию с полу, но та не давалась.

— У тебя брата убили, Домочка! — пробормотала она с отчаянием.— А я? Я сама убитая, Домочка! Это меня нужно в тот список поставить! — и снова упала лицом на доски пола.

Сережа понял, что Анна-Мария говорит о списке убитых и раненых, который прочла им Ксана Федоровна.

— Вот ты плакала по брату! — говорила Анна-Мария с жестокостью очень страдающего человека.— Так ты

хоть плакать можешь по нем. Ты еще счастливая, значит!.. — Девушка вдруг заметила Сережу.— Сереженька, ну скажи, можно было подумать, что он шпион? Нет, не тут, а тогда, в лесу?

Сережа молчал. Он вдруг вспомнил сверкающий на солнце булыжник и веселую, статную Анну-Марию, шагавшую рядом с веселым, статным Евдокимом Рожковым.

— Он же так любил меня! — прошептала Анна-Мария с отчаянием.— Говорят, всех их, шпионов, на таких специальных курсах обучают. А девушек уговаривать их тоже учат?.. Кимочка, Кимочка, что ты натворил!.. Молчи, Домна! — крикнула она со злостью.— У тебя горе — так все тебя жалеют... А мне даже плакать нельзя! По куткам прячусь, как зверь... Сереженька, что же мне теперь с собой делать? Повеситься в лесу или утопиться?..

Сережа с Наташей переглянулись. Оба они вспомнили Павино письмо и ту неизвестную Мотю Фесенко из Франиной деревни, которая утопилась из-за Геншке. Она тоже, вероятно, его любила. Сережа раньше как-то не обращал внимания на это место Павиного письма.

Он даже не мог себе представить, чем Анне-Марии можно сейчас помочь.

— Тетя Аня, давайте я косы вам зачешу,— сказала Домочка решительно.— Там Вадечка больной... Что вы, убить его хотите? Нехорошо так, тетя Аня!

Анна-Мария дико оглядывалась по сторонам.

— А Вадим ведь говорил... — вдруг пробормотала она.— Сереженька, я до последней минуты верила ему — Геншке этому... Ой, ой, куда мой разум делся? — Анна-Мария замычала от боли.

— Тетя Аня, перестаньте,— сказала Домочка строго.— Ну, плохой вам попался человек... Разве вы виноватые? Вставайте, вставайте... Ну, вот и хорошо. Дайте я вам кофточку поправлю... А ты иди, Наташенька... Сереженька, идите себе! — шепнула Домочка, оглянувшись.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

„Осенняя муха"

Названия городов, сел и местечек на доске теперь приходилось менять чуть ли не ежедневно. Красная Армия наступала!

И это было единственной радостью восьмой делянки, потому что дела «коммуны» начали складываться скверно.

Четверо тяжелобольных: Боруля, молодой партизан Ефим Максимчук, Вадим Шалыгин и недавно доставленный с рожистым воспалением Левченко — поправлялись медленно. Да и «поправлять» их, собственно говоря, было нечем.

В один из очередных вторников (день, когда на делянку обычно доставляли продукты) подводу прождали до ночи. Не привезли продуктов ни в среду, ни в четверг. Была надежда, что их доставят наконец в воскресенье, но и эта надежда не оправдалась.

В следующий вторник Ксана Федоровна отрядила Наташу с Сережей в лес на рассвете. Возможно, прошлый раз люди выезжать на шоссе побоялись, подождали немного в лесу, а потом повернули обратно.

Будь это неделю назад, ребята проболтали бы всю дорогу, но после Вадиного ранения Сереже уже трудно было оставаться с Наташей наедине. Шли молча. Только и слышно было: хруст, хруст — это потрескивал под ногами прошлогодний валежник.

— Надо бы собраться сюда всей компанией, хворост насобирать,— сказала Наташа.

— Да, надо бы...

И опять молчание.

Пройдя насквозь молодой лесок, ребята вышли на столбовую. На дороге не видно было ни проезжих, ни прохожих. Очевидно, Ксана Федоровна все-таки пере-

усердствовала — никто и не приезжает в такую рань.

Прождав часа полтора и промерзнув, ребята свернули к развилку, где Соня-санитарка иногда принимала раненых. Ждали они около часа, и около часа к ним с проселка доносились голоса.

— Эти люди стоят на месте,— прислушиваясь, определил Сережа.— Пойду-ка посмотрю, в чем дело.

У него была слабая надежда, что Наташа скажет: «Не ходи — опасно» или: «Пойдем вместе». Он-то безусловно пошел бы один, но она могла бы проявить хоть небольшую заботу.

Однако Наташа только молча кивнула головой.

— Знаю, я ей совсем-совсем не нужен,— бормотал Сережа, шагая напролом через кусты.— Если меня убьют сейчас, она даже не заметит. Нет, заметит потому только, что не любит одна ходить по лесу...

А Наташа в это самое время думала о том, как хорошо ей с Сережей. Можно идти, молчать, думать о своем. А если скажешь что-нибудь, совсем не надо долго объяснять — они с Сережей понимают все с полуслова.

Дожидаясь, она совсем окоченела на холодном ветру, а уходить с условленного места в глубь леса не решилась. Наконец появился бледный и взъерошенный Сережа.

— Плохо! — сказал он.— У Гандрабурского шляха стоит отряд петлюровцев. У Майновского — второй... Я говорил с хлопцами. Уже девять дней, как их тут поставили, якобы сторожить какое-то «большевистское гнездо». Они останавливают все подводы и обыскивают всех прохожих.

— А тебя?

— И меня... Меня красивая Вадина шинель выручает,— улыбнулся Сережа.— Я сказал, что я — сын александровского священника. Мы похожи с ним немножко... Петлюровцы спрашивают, где мой крест, а я говорю... — Сережа не докончил фразы — Наташа его не слушала.

— Господи, как же мы своих больных поднимем на ноги! — пробормотала она.— Не понимаю! Если «большевистское гнездо» — это наша коммуна, им проще было бы нагрянуть к нам...

— Да нет, они, оказывается, знают, что у нас охранная грамота от ихнего генерала Коновальца... Да, Наташа, другая беда: они, оказывается, знают и то, что у нас перебежчики Боруля и Максимчук лежат в палате...

На делянке эти плохие новости были встречены сравнительно спокойно.

— Ну что ж,— сказала Ксана Федоровна, выслушав сбивчивый рассказ ребят,— этого следовало ожидать... Мы уже давно подсчитали с Франей наши ресурсы и решили быть поэкономнее.

Результаты подсчета были весьма неутешительны: картошки и свеклы заготовлено было вдоволь, следовательно, настоящий голод «коммуне» не угрожал... Муки могло хватить на неделю при условии, что количество раненых не увеличится. Жиров, кроме прогорклой олии для каганца, не было. Сахару оставалось на дне мешка.

— А ты не припрятала на черный день? — спросила Ксана Федоровна, изучившая Франин характер.

— Вот он черный день и есть! — сказала девушка сердито.

— Затяни пояса потуже! — объявила как-то утром Наташа, появляясь в столовой, где Сережа с Домочкой заканчивали уборку.— Ужины и завтраки отменяются. Их будут выдавать только коечным... Причем,— добавила она угрожающе,— смотрите, чтобы это не дошло до наших лежачих! Вы ведь знаете, что это за ребята! Вадим, боюсь, уже что-то понял...

Итак, было голодновато. Но коечные больные все-таки по утрам получали по стакану морковного чая с сахаром и по тоненькому ломтику хлеба. Соня-санитарка два раза приносила по буханке хлеба с хуторов.

В третий раз девушка вернулась с полдороги.

— А ну их к бесу! Как осенние осы цепляются! — говорила Соня, зашивая разорванный рукав.— Чуть кацавейку мою напополам не разодрали.

«Осенняя муха»,— вспомнил Сережа Павины слова. «Осенняя муха — самая злая». Да вот и немцы напоследок здóрово кусались. И где они сейчас, эти немцы...

Со всех сторон доходили вести об эвакуации немецких войск. Соня-санитарка принесла свежие новости: части Красной Армии заняли Раздельную и Мигаево.

Сведения эти не были проверены в штабе, однако Ксана Федоровна разрешила их объявить.

— Вместо завтрака! — пошутила Наташа, занося на доску новые названия.— Не знаю, как вы, но я, ей-богу, после этого сообщения как будто не так чувствую голод!

— Да ты героиня просто! — сказал Сережа.

Это была шутка, он совсем не хотел Наташу обидеть, но она тут же вспылила:

— Я не понимаю, ты, очевидно, воображаешь, что ты один-единственный способен на подвиг...

— Если ты думаешь, что пить чай без сахара — это подвиг, дело твое!.. — сказал Сережа, уже на самом деле рассердившись.

— Юрко наш,— вмешалась Домочка,— с партизанами четыре дня сидел у катакомбах совсем не евши... Ничего, только схудли все трошки... — добавила девочка тихо.

— Ты бы хоть уж не худела, миротворица! — сказала Наташа ворчливо.

На Домочку действительно просто больно было смотреть — так и казалось, что ее унесет ветром.

Благодаря Домочке ссора на этот раз не разгорелась, но вообще ребята ловили себя на том, что все они стали какие-то «ненормальные», как выразилась Наташа.

Итак, в «замок» проехать нельзя было, а о том, чтобы отправить кого-нибудь за продуктами в сторону железной дороги, нечего было и думать — там эшелонами стояли петлюровцы. То и дело приносили известия об их бесчинствах.

— Странно, что восьмую делянку они оставляют в покое,— не раз удивлялся доктор Винницкий.

— Им не до нашей делянки сейчас,— успокаивала всех Панченко.— Петлюра все силы бросает, чтобы задержать продвижение Красной Армии... А делянка наша в стороне.

Успокаивая других, Ксана Федоровна, однако, каж-

дый вечер лично пробовала, туго ли завинчены болты на железных ставнях, и проверяла запоры у ворот и дверей.

Вместо погибшей на посту Жучки Соня-санитарка привела с хуторов небольшого приятного песика Жучка́. Дед Дудник сколотил для него будку.

— Напоследок,— сказал дед. Он собирался переехать в «замок» к Борису Макаровичу.

Однако Жучок, оборвав цепь, удрал на следующий же день.

— Голод чует,— объяснила Соня-санитарка печально.

— Вы бы хоть спектакль какой-нибудь поставили,— сказала Панченко. И Сереже странно было слышать просительные нотки в ее обычно спокойном и уверенном голосе.— Ведь до твоего приезда, Сергей, ребята наши почти каждую неделю что-нибудь ставили. «Запорожца за Дунаем», «Наталку-Полтавку», а то просто пели, Наташа танцевала, а Нина Леонидовна играла на пианино...

— Вадим, между прочим,— повернулась она к дочери,— тоже спрашивал, почему наш «клуб» не работает...

И вот в столовой появилось написанное цветными карандашами объявление:

«Желающих принять участие в постановке «Дай сэрдцу волю — заведэ у неволю» просят записаться у Сони-санитарки».

В эту ночь на восьмой делянке мало кто спал. Закончив кипятить бинты, Нина Леонидовна улеглась было и уже вздремнула, когда снизу донеслись громкие взрывы хохота. Внизу, в первой палате, уронили что-то тяжелое. Потом хлопнула дверь аптеки — это, очевидно, Соня-санитарка отправилась урезонивать своих больных. Нина Леонидовна с опаской оглянулась на кровать Ксаны Федоровны, но и та тоже уже не спала.

— Пускай посмеются немного, Ниночка,— сказала Панченко зевая.— Лучше не поспать одну ночь, чем так маяться, как все мы маемся последнюю неделю!

Наконец внизу угомонились. Но сон Ксаны Федоровны уже развеялся. Она спустилась вниз, обошла весь дом и еще раз проверила замки и затворы. Заснула она только под утро, но спала так сладко, что Кульчицкой

жалко было ее поднимать. Нина Леонидовна решила сегодня подежурить вместо Панченко.

Проснулась Ксана Федоровна оттого, что, как ей показалось, где-то рядом, на втором этаже, со звоном вылетело стекло. Сорвавшись с постели и глянув на ходики, Панченко сердито проворчала что-то об интеллигентском мягкосердечии Кульчицкой. Нужно было спешить на кухню — составлять рацион для лежачих. Ветер дул с северо-востока и был такой сильный, что Панченко с трудом открыла дверь, выходящую на крыльцо.

Несмотря на тревогу, она невольно улыбнулась: мерзлые листья тотчас же, как цыплята, сбежались к ее ногам. Величественный орех, державшийся дольше других деревьев, облетел, оказывается, за эту одну ночь.

Свернув от крыльца, пестрая стайка побежала вдоль аллеи к кухне. В воздухе в первый раз бодро запахло морозцем, дым над кухней разноцветными прядями рвался в небо. Забыв на секунду, зачем она вышла во двор, Панченко глубоко и сильно втянула в себя воздух. Ничего подозрительного она не заметила. Окно могло распахнуть сквозняком, и не мудрено, что вылетели плохо замазанные стекла. Впрочем, Ксана Федоровна готова была поверить, что и звон разбитого стекла ей только почудился, но в эту минуту кто-то сильно забарабанил в глухие железные ворота.

— Эй, видчиняйтэ! — крикнул хриплый голос.— А не то мы вам вси стекла повыбиваемо!

Над головой Ксаны Федоровны на втором этаже стукнула форточка.

— Панченко, немедленно же иди в дом и запри за собой дверь на засовы! — распорядился доктор Винницкий.

Из окна второго этажа можно было отлично рассмотреть живописную группу, расположившуюся за воротами. Двое всадников на гладких, кормленых конях, задрав головы, разглядывали здание лесничества. Они съехались так близко, что кони их озорно покусывали один другого за морды. Третий, спешившийся, петлюровец, не выпуская из рук повода, сгребал ногою сухой лист, очевидно думая пристроиться под кустами, где уже расположились пятеро или шестеро его товарищей.

Приоткрылась дверь кухни. Осторожно выглянула Франя.

— Сюда, сюда! — поманила ее рукой Панченко.— Соня, Валя, Нюша, давайте все в дом! Ребята наши где?

В эту минуту в столовую влетела пуля. Она пробила в стекле аккуратную круглую дырочку, вокруг которой сиянием разошлись трещины.

Опять грохнул выстрел, но, пожалуй, еще оглушительнее за воротами захохотали петлюровцы. Они стреляли из нагана, вставив дуло в сторожевой глазок ворот.

Вихрем примчались из кухни Соня-санитарка, две девушки и Франя. Франя накинула на голову юбки, точно спасалась от дождя. Ее-то вот чуть не задело третьей пулей.

Доктор Винницкий нашелся первым. Выждав, когда среди петлюровцев началась перебранка, сопровождавшая каждый выстрел, он спокойно подошел к воротам и задвинул массивную чугунную заслонку на глазке.

Господина казенного лесничего, как видно, очень напугали крестьянские волнения 1905 года, и впоследствии он отлично позаботился о своей безопасности. Но у господина казенного лесничего, кроме железных ставен, глухих ворот и усаженного битым стеклом забора, для самообороны, несомненно, имелось еще и оружие.

На восьмой делянке оружия не было.

У раненых, поступавших «на койку», отбиралось все, вплоть до карманных ножей, чтобы, пока ребята находятся на излечении, «оружие зря не гуляло».

— Петлюровцы, конечно, и не подозревают, что у нас нет ни одного револьвера и ни одной винтовки,— сказала Ксана Федоровна.— Иначе они уже перелезли бы через забор... Фоменко этим своим «Стрелять буду!» надолго их не задержит.

Выздоравливающий Фоменко пугал петлюровцев, выставляя в слуховое окно на чердаке какую-то трубу: «Уйди, петлюра, стрелять буду!»

— Надо немедленно же закрыть железные ставни,— распорядился доктор.— Темновато будет, но это ведь, надо надеяться, ненадолго. Вода в доме есть?

— Гайда воду таскать! — крикнула Франя выглянувшей из столовой Анне-Марии.

Девушка через секунду выскочила с двумя ведрами. Все переглянулись. Как хорошо, что Анна-Мария понемногу становится такой, как раньше!

В дом вкатили пустую бочку. Ее успели налить почти до половины, когда над головами ребят чиркнула пуля, а Наташа, ахнув, уронила ведро.

Хотя ничего серьезного с Наташей не случилось — пуля только чуть-чуть оцарапала ей руку,— но Нина Леонидовна все-таки распорядилась прекратить излишнюю беготню.

Был созван коротенький военный совет.

— Может, поговорить с ними? Выяснить, чего они хотят? — спросил Марк Аронович.

— С кем говорить! — сказала Соня-санитарка пренебрежительно.— Все они пьяные, как зюзи... Этот, с серьгой, как повалился на землю, так и захрапел. Добро бы это регулярное петлюровское войско было... Те, конечно, тоже бандиты, но хоть какая-то управа на них есть... А эти — совсем сумасшедшие... Но вот посмо́трите — пошумят, постреляют и уберутся!

Доктор Винницкий, однако, вступил все-таки с осаждающими в переговоры.

Когда потом в «коммуне» вспоминали «три дня петлюровской осады», каждый находил за собой какую-нибудь вину.

— Картошку и буряки первым дело надо было вытащить из погреба! — досадовала на себя Франя.— А я как вспомнила — смотрю, а эти бандюги уже по двору шарят!

Панченко ругала себя больше всех. Как комиссар госпиталя, она должна была договориться об оружии. На весь госпиталь выхлопотать хотя бы две винтовки.

Доктор Винницкий считал, что большой ошибкой с его стороны было вступать с петлюровцами в переговоры.

— Соня оказалась дальновиднее меня! — признался он сокрушенно.

Марк Аронович умолчал о другом своем проступке —

«несомненном и непростительном», как аттестовала его Панченко.

— Нет, вы видели такого героя! — рассказывала Ксана Федоровна возмущенно.— Мы тут, в темноте, совсем сбились с ног. Сам он ночь не спал — откачивал гной Калюжному. Еды нет. Вода на исходе. И вдруг вижу — спускается наш доктор в полном своем облачении, даже медаль за Эрзерум нацепил. «Куда?» — спрашиваю. «К петлюровцам!» Эти громилы каждые полчаса выкрикивали ведь нам какую-нибудь новую гадость. И вот, видите ли, они ему объяснили, что снимут осаду, «если доктор-жид сам отдастся им в руки!» Ох, и задали же мы ему с Ниной баню!

И Ксана Федоровна растроганно улыбалась, вспоминая, как испуганной ласточкой в столовую влетела Домочка: «За что это петлюровцы нашего доктора так?!» И как черный, огромный, малоречивый Калюжный нежно погладил девочку по голове: «Когда бешеная собака на человека кидается, разве человек знает, «за что»? — И, помолчав, добавил грозно: — Ну, нехай теперь при мне кто скажет слово «жид»!»

...Двое верховых с винтовками за плечами выехали на степную, еще по-вечернему синеющую дорогу. Молодой, сквозной лесок в конце их пути весь уже просвечивал алым,— где-то на том краю неба всходила, как видно, поздняя луна.

— Красно как луна восходит! — заметил передний, из-под ладони оглядывая дорогу.— К морозцу!

— Пора бы уже... И так осень в этом году задержалась, от сырости руки-ноги ломит,— отозвался второй.

«Ноги ломит»,— внятно повторило над лесом. Всадник остановил коня и огляделся.

— Это эхо! Сейчас они сюда не сунутся! — успокоил его товарищ.— Лесом плутать им неинтересно, и партизан боятся. Партизаны в лесу... А это что тут темнеется? — спросил он удивленно.

Слева, с обочины дороги, на них будто надвинулся второй, никогда не росший здесь лесок.

— Фу ты, кукуруза неубранная! — сказал передний верховой, приглядываясь.— Сколько добра пропадает на степу! Ну, плохи наши дела. А я мечтал сюда напрямик по стерне выехать. Версты две сэкономили бы... — Он

еще раз из-под ладони оглядел дорогу.— Слушай-ка,— добавил он вдруг,— а луна-то, оказывается, вон где всходит.— Он показал рукой.— Что же это за лесом, а?

— Пожар! — отозвался второй, щурясь.

Оба онн привстали на стременах.

— А ведь это в лесннчестве... — пробормотал первый с тревогой.— Давай-ка махнем все-таки напрямнк через кукурузу!

— Но-о! Шалишь! Ну чего ты, дурачок? — сказал он ласково и погнал коня на высокую шуршащую н звенящую стену, которую только что принял за лесок.

Конь, подобравшись весь, сердито храпел и пятился, мотая мордой.

— Не любншь? — спросил всадник, похлопывая его по холке.— Но-о, милый!

Напугал ли коня свист несрубленной кукурузы или он по собственному лошадиному опыту знал, как трудно вязнут копыта в паханом черноземе, как сечет морду и режет ушн острый кукурузный лист, но он храпел и не двигался с места.

Седок, оглаживая его, нащупал под взмокшей конской кожей каменные напружившиеся мышцы и покачал головой.

— Может, что чует? — спроснл он.— Сейчас мертвяков много неубранных в кукурузе. Ну, не шали! — прикрикнул он сердито, а сам уже легко спрыгнул на землю. В седле он казался значительно выше ростом.— В повод кони пойдут! — сказал он, оглядываясь.— Здесь поперек два-три гона, больше не будет...— И шагнул вперед, стараясь за двоих отводить гибкие, сильные лнстья.

Его длинный товарищ, ссутулясь, молча слез с лошади и, прихрамывая, пошел, норовя попадать ему в след.

— Рука твоя как? — спросил он заботлнво.

— Немного помучимся, зато кусок дороги выгадаем,— сказал первый, как будто извиняясь.— А рука побаливает. Приедем — обоих перевяжут.

Глубоко набирая в легкие воздух, онн продвигалнсь, точно плыли против течения в звенящей непослушной воде.

Почуяв твердый грунт под ногами, кони пошли весе-

лее. Спустя несколько минут оба всадника снова вскочили в седла.

— Горит как здо́рово! — сказал невысокий, с беспокойством поглядывая вперед.— А ну-ка, прибавим шагу!

И он погнал такой рысью, что у коня уже начала громко ёкать селезенка. Но так как товарищ его заметно отставал, первому то и дело приходилось останавливаться.

Дорога сделала два поворота, потом подковы весело зацокали — въезд в лесничество был мощеный.

Уже открылась прямая как стрела аллея, распахнутые настежь ворота, огромный костер, пылающий посреди двора, и голубеющее от лунного света небо над домом.

Здания за огнем и дымом было не разглядеть, но, когда пламя ветром приваливало набок, в глазах всадников рябило уже от шести костров, отраженных окнами второго этажа.

— Стекла наверху целые. Горит, видать, не в доме,— сказал невысокий.— Кто же всю эту иллюминацию устраивает? — добавил он, вглядываясь в мечущиеся перед огнем черные фигуры.

В эту минуту одно из окон второго этажа распахнулось, и в нем показался человек в белом халате.

— Доктора Винницкого узнаёшь? — прошептал невысокий.

Всадники спешились и, неслышно ступая вслед за конями, подходили к воротам. Предосторожность эта, однако, была излишней, так как за треском горящего дерева и за перебранкой навряд ли кто расслышал бы их шаги.

— Эй вы, добродии, или как вас там! — крикнул доктор Винницкий.— В последний раз предлагаю прекратить это безобразие! Иначе вы ответите перед самым главным вашим начальником, генералом Коновальцем! Вот у нас имеется от него охранная грамота... Имена ваши тоже все переписаны: Малюга Гнат, Василевский Федор, Кандыба Федор, Стеценко Михаил и прочие... А Стеценко ответит особо. Какое вы имели право разорять и жечь имущество персонала больницы?

— Эге, так я и думал — петлюровцы! — сказал невы-

сокий тихо и, дернув плечом, разом скинул на ладонь ремень винтовки.

— Гир-гир-гир! — передразнил доктора петлюровец с серьгой в ухе.— Плевал я на твоего Коновальца, и на его грамоту, и на твою жидовскую больницу тоже! Имена наши, что Химка вам сообщил, так при нас и останутся, а с него мы с живого шкуру спустим! Выдайте нам сейчас же цього змея подколодного — Химку Максимчука та Максыма Борулю! И доктора-жида и бочку спирта! А нет — мы вас, как клопов, из дома выжарим!

— Бери на прицел этого с серьгой, а я — левого,— быстро шепнул невысокий.— Ох, рука бы не подвела! Ну-ка!

Оба выстрела стукнули разом, и только эхо разделило звук надвое и понесло дальше — к облакам. Петлюровец с серьгой молча рухнул в костер. Товарищ его бросился бежать к кухне.

— Эх, промазал! — сказал невысокий с досадой.— Нет, смотри, зацепил все-таки!

Петлюровец присел на землю, потом поднялся, побежал дальше. Вторая пуля свалила его у самой кухонной двери.

— Окружай лесничество! — закричал невысокий во всю глотку.— Ременюк, бери пятнадцать человек, заходи с того боку!.. А ты, петлюра, выходь по одному с поднятыми руками!.. Товарищ Галайда, принимай зброю![1] Кого поймаешь с оружием в руках — кончай на месте!

У костра уже выросла сутулая фигура Галайды. В каждой руке он держал по нагану. Товарищ его стоял у ворот с винтовкой наготове.

Спустя минуту из кухни, подняв вверх руки, вышли двое петлюровцев.

— Ты вяжи дружка своего, а тебя я сам свяжу,— сказал Галайда спокойно и, не выпуская из одной руки нагана, другой провел по бокам и по груди петлюровца.— Товарищ Винницкий,— крикнул он, скручивая ремнем руки своего пленника,— а где же остальные?

— Их двое только сейчас и осталось,— ответил док-

[1] Збро́я (укр.) — оружие.

тор, испуганный быстротой, с какой на его глазах совершилось это чудесное превращение.— Остальные, видно, удрали...

— Ну, раз их двое, так и нас тоже двое! — подходя, сказал невысокий.— Марк Аронович, мы к вам с одним вашим старым знакомым на перевязку заехали.

— Гнатенко! — крикнула из окна Ксана Федоровна.— Франя сразу сказала, что это ты. Но мы побоялись голос подавать. Да мы думали — вас тут целый полк пришел!

— Завидую я Фране! — сказала Панченко, нашаривая в темноте ступеньки и подавая руку Нине Леонидовне.— Нет, ты подумай: откуда-то из ночи прилетает пуля, а она говорит: «Это Пава, не иначе. Я его повадочку знаю!»

— А я Паве завидую,— сказала Нина Леонидовна тихо.

Павла Гнатенко и Мусия Галайду принимали на кухне. В доме — внизу в палатах, наверху в спальнях, на чердаке — шла уборка.

— И чего браться не за свое дело! — сердито заметила Соня-санитарка, увидев, что Наташа заливает йодом порезанную руку.— Сказано — стекла я без вас вынесу! Не нужно нам такой помощи, потом полкварты йоду на себя изведете! А я — отвечай!.. Ксана Федоровна,— крикнула она проходившей мимо Панченко,— нехай девочки лучше около погреба поубирают, воздухом немного подышат, а то здесь страшенно жженым тряпьем несет!

— Тшш! — шикнула Наташа и присела, чтобы мать ее не заметила.— Сонечка, миленькая,— взмолилась она, чуть не плача,— хочешь, мы двадцать ведер воды не в очередь принесем? Хочешь, мы с Домочкой до конца жизни будем дрова укладывать?.. Только пусть нас не посылают к погребу — там *они*.

У погреба на досках положили трупы обоих петлюровцев.

— Это моревинтовки наши так... — начала было Соня, которая сама собиралась на днях подать заявление в Моревинт и старалась держаться соответственно строго, но, разглядев бледные лица девочек, замол-

чала.— Их уберут скоро...— пробормотала она успокоительно.

О сне девочкам нечего было и думать — работы не переделать до рассвета. Даже рассказы Павы о том, как он на дрезине проскочил под самым носом железнодорожной охраны, как бежал по крышам вагонов, как потом встретился с Галайдой, они слушали пятое через десятое.

Сереже повезло больше: он помогал Галайде починять разваленный петлюровцами дымоход и узнал кое-какие новости. Сережа успел даже тайком сбегать в первую палату и шепнуть Вадиму, что Мусий Галайда — партизанский командир из-под Знаменки. А прибыл он специально для переговоров о слиянии его отряда с отрядом знаменитого Александра Рудаковского.

Как бы в награду за все пережитое, обитателей восьмой делянки в ту же ночь ждала большая радость. Никто еще и не ложился, когда по мощеному въезду загрохотала тачанка.

Узнав, что петлюровцы сняли все заградотряды, доктор Борис Макарович из «замка» «подбросил» своему коллеге в «лесную коммуну» муки, сала и сахара. Привезла продукты Динка. Лошадь с тачанкой переходила в полное распоряжение «лесной коммуны».

Для Сережи радость была еще более ощутимой, чем для всех прочих: письмо от Бориса Макаровича и Динку с тачанкой в «лесную коммуну» доставил старый Сережин дружок — Федя Рубан!

Он привез приказ немедленно приготовить «второе инфекционное» для приема новой партии раненых.

— Что, новости есть какие-нибудь? — спросила Наташа.

— Новостей много! — сказал Рубан солидно.

— Ну, как на дорогах, Федор? — поинтересовался Сережа, когда товарищи сдержанно, по-мужски, поздоровались.

— Хорошо... Тихо. Только, знаешь, спускается такая мгла, какой я еще в жизни не видел!

Г Л А В А   Д В А Д Ц А Т А Я

Выше человеческого роста

— «Тогда считать мы стали раны, товарищей считать!» — бормотал Сережа, проходя унылой столовой с выбитыми стеклами.

Железные ставни были надежной защитой, но все-таки в нижнем этаже не осталось ни одного целого стекла. Особенно пострадала маленькая белая операционная.

Весь Франин запас прогорклой олии петлюровцы извели — съели или уничтожили. Второй каганец соорудить было не из чего, и, пока верхний этаж приспосабливали под «палаты», весь низ оставался в темноте. Раненых по одному брали на носилки.

Вадя упросил Ксану Федоровну, чтобы его перенесли последним.

Он видел, как Сережа Кульчицкий и Федя Рубан, таща под мышками скамьи, прошли к двери. Потом Вадим расслышал легкие быстрые шаги.

— Наташа, посиди со мной немножко! — сказал он тихо.

Не ответив ни слова, девочка присела в ногах его кровати. От окон с выбитыми стеклами тянуло стужей, и Наташа заботливо подоткнула со всех сторон Вадино одеяло.

Первая палата освещалась теперь только пламенем догорающего костра. Свет то вспыхивал, то пригасал, и от этого Наташина и Вадина тени то сходились, то расходились на стене.

— Смотри — поссорились! — улыбнулась вдруг Наташа.

Пламя костра прибило ветром к земле, и тени разбежались по углам.

За окнами шла борьба мертвенного лунного света с лихорадящим, изнеможенным пламенем костра. По мере того как костер погасал, ярче, точнее и геометричнее становился освещаемый луной круг, весь, как Марс, исчерченный черными треугольниками и прямоугольниками подмерзших к ночи дорожек. Перед самым окном, на переднем плане, высилось какое-то странное сооружение, похожее на гигантский треног — кажется, это были наискось разрубленные ясли из конюшни. Рядом штопором вилась обугленная резина провода.

Ничто уже здесь не напоминало веселого, чистого и хозяйственного двора восьмой делянки. Пейзаж за окнами стал таким чужим, словно от обычного его отделяли миллионы верст или миллионы лет.

— На что похоже? — спросил Вадя, слабо улыбнувшись.

— На «Борьбу миров»,— ответила Наташа не задумываясь.

А ответила она не задумываясь потому, что этот же вопрос полчаса назад задал ей наверху Сережа Кульчицкий, и они оба с ним в один голос ответили: «На марсиан Уэллса».

С чердака лесничества ребята недавно притащили разрозненные номера «Мира приключений» и с пропусками перечитали «Борьбу миров». Двор лесничества сейчас действительно походил на иллюстрации к Уэллсу.

— Тише! — вдруг сказала Наташа и прищурилась.— Кто это там, в белом?

Напротив, на крылечке кухни, склонившись к перилам и горестно подпершись рукой, стояла Франя.

— Чи в раю такое бывает, чи в аду? — сказала она кому-то в сенцах.

— Видишь, Франя тоже...— шепнула Наташа.

Вадя кивнул головой.

Франя, конечно, не знала о Марсе и не читала «Борьбы миров», но и она поняла: в том, что учинили петлюровцы на восьмой делянке, было что-то нечеловеческое.

Наташа вдруг тронула Вадю за плечо. Из распахнутой двери кухни вышел Павел Гнатенко, бережно, как букет, неся перед собой забинтованную руку.

— Ну вот, Франечка, и дождались мы нашего счастья...— Пава здоровой рукой притянул девушку к себе.— Видишь, какое оно, наше счастье?

— А другого мени и не трэба... Стой, тут хвост этот...— сказала Франя и своими крепкими зубами перекусила выточенные нитки бинта.— Я же с упрямого роду, Павло,— добавила она тише,— еще девчонкой казала, що буду чекать на тэбе... И ось дочекалась.

— Дочекалась,— повторил Пава.— Рыбонька ты моя...

— Наташа, неудобно как-то: мы как будто подслушиваем,— пробормотал Шалыгин смущенно.

— А если, например, музыкант играет у себя в комнате, а люди — под окном...— начала Наташа, но, не докончив фразы, снова сжала Вадино плечо.

— Дочекалась, Франечка,— повторил Пава.— Только не знаю, может, не на радость, не на покой... Может, на горе, на смерть, а? Ты подумай хорошо...

— Пять рокив думаю... И вот ничего краще не придумала,— отозвалась девушка спокойно.— А хочь и на смерть! — добавила она гордо.— Вместе же умирать?

Пава промолчал.

— Или как? — спросила Франя робко.— Могут опять разлучить нас с тобой?

— Все может быть,— сказал Пава, щурясь.— Знаешь, враг, когда бьет, выбирает место, чтобы побольнее... А ты готовить хорошо умеешь? — спросил он вдруг.

Наташа растерянно оглянулась на Вадима, но теперь, в темноте, ей не разглядеть было его лица, только слабо выделялись белки Вадиных глаз.

Франя тоже не поняла Павиного вопроса.

— Ты про що? — спросила она тихо.

— Готовить ты хорошо умеешь? — повторил Пава.— Ну, там пироги всякие, жаркое?

— Догожу тоби як-нэбудь,— ответила девушка, и по голосу было понятно, что она улыбается.

— Не обо мне речь,— заметил Пава серьезно.— Пацюка Омелько Гнатовича уже выследили. И стреляли в него, и шапку он, бедный, потерял, и шубу заграничную на дрезине бросил...

Франя нежно погладила его забинтованную руку.

— Придется мне теперь усы и бороду запускать. Не

разлюбишь? — спросил он шутливо.— И фамилию другую нужно подыскать... А тебя мы решнли к одному французскому генералу кухаркой устроить. Нашей хохлацкой кухней интересуется... Штабной генерал, важный. Все документы через него идут. А нам там свой человек во как нужен! Не побоишься?

— Справлюсь! — ответила Франя спокойно.— Чого мени бояться? Страшно тнльки живой оставатысь, як що тэбе не будэ...

— А куда я денусь? — сказал Пава беспечно.

В дверн первой палаты мелькнул свет. Вошла Соня-санитарка, заслоняя рукой каганец.

— Где вы тут? — спросила она и вдруг испуганно поднесла свет к мокрому лицу Наташи.

— Ты что это? Ей-богу, ну что вы за народ! Тут радоваться надо, а они плачут... Держи-ка! — и, сунув девочке коптилку, сама направилась в угол, где еще стояла доска.— Ну, конец нашей газете! — бормотала Соня, стирая тряпкой последние запнси.— Всё! Красная Армия вышла на соединение с партизанамн! Драка, конечно, еще будет — Петлюре зубы еще не обломали. А все-такн Красная Армня вышла!.. Надо бы за своей новой шалью на хутор сбегать, а Ксана Федоровна не пускает! — вздохнула Соня жалобно.— Мы тут сидим — ничего не знаем, а, говорят, шляхом, за Мардаровкой, вторые сутки красные части идут. Только туман такой, ничего еще не увндишь. Старые люди говорят — туман этот до нового месяца.

Передовые отряды Красной Армии появились на проезжей дороге 21 ноября. Однако ни в тот, ни на следующий день никому из обитателей восьмой делянки не удалось «выйти на шлях». У всех было по горло работы.

— Устроимся, уберемся, встретим их и тут с хлебом-солью! — утешала Ксана Федоровна девушек.

Но, видя, что они вытаскивают все-таки из своих скрынь праздничные юбки и кнрсеткн, Панченко отдала приказ: «За самовольное оставление территории госпиталя лицами санитарной службы виновные будут подвергнуты аресту».

Да, да, теперь ведь уже не только Соня-санитарка, но и Франя, и Наташа, и Домочка, и Вадим, и Сережа

числились в «санитарной службе второго тылового партизанского хирургического госпиталя».

— Скоро командование вам всем справки выдаст,— пообещала Ксана Федоровна.

Как это ни странно, но послушная, исполнительная Домна Клячко одна-единственная из лиц санитарной службы нарушила приказ комиссара госпиталя, да еще во время своего дежурства.

Сережа был в ту ночь у Домочки поддежурным. Наташа сидела у Вадиной постели. Это в последние дни вошло у нее в привычку—дожидаться, пока Шалыгин уснет.

И вот с Наташи-то все и началось.

Домочка заканчивала поить больных. Сегодня они в первый раз за долгое время получили «чай внакладку». Сережа носил за Домочкой ведро с кипятком. И вдруг их окликнула Наташа Панченко.

— Кто-нибудь из вас смотрел в окно? — спросила она испуганно.

Домочка и Сережа тотчас же кинулись к окнам.

— Ой, ой, красота какая! — ахнула Домочка восхищенно.— Господи, сколько красоты на свете есть, а мы и не видим... В лесу всю жизнь живу, лес, как свою хату, знаю, а таким он мне и во сне не снился!

Да, таким лес и во сне редко кому может присниться.

Туман, не туман — Сережа не мог даже определить, что это,— как не до конца опущенный занавес, держался на аршин-полтора от земли. А снизу, из-под этого палевого, переливающегося искрами занавеса выбивало волшебный холодный голубой свет, и он ходил по сказочно зеленой траве и кустам волнами, как северное сияние.

— А может быть, мне это показалось...— начала было Наташа виновато.— Ой нет! Вот, вот, опять! — закричала она испуганно.— Вот — прямо перед окном! Медведь, что ли?

И Сережа, Наташа и Домочка одновременно собственными своими глазами увидели, как мимо кустов терна в тумане прошло нечто черное, лохматое, ростом не с медведя — медведи, пожалуй, помельче! Но Сережа не успел даже испугаться, потому что это нечто, вынырнув из тумана, обернулось вдруг обыкновенным дворовым псом,

тем самым Жучком, что недавно сбежал с восьмой делянки. На шее у него еще болтался обрывок цепи.

— Что же это было? — спросила Домочка растерянно.

Сережа сам не знал, что это. Мираж? Но миражи случаются как будто только в пустынях... И днем, при солнце... И если даже мираж, то слово это Домочке ничего не объяснит.

— Ты не пугайся... Это... такое явление природы... (Фу, ему лезла в голову всякая ерунда — «флуоресценция моря», «огни святого Эльма»!) Это просто из-за тумана,— вдруг нашел он самое понятное объяснение.

Жучок снова нырнул в туман и, уже невидимый, глухо залаял где-то вдалеке.

— А в лесу есть что-то,— сказала Домочка, прислушиваясь.— Или это, может, Жучок, как и мы, в тумане видит всё по-другому? И гавкает с перепугу?.. Нет, в лесу что-то есть,— добавила она, помолчав.

— Деревья в лесу...— засмеялась Наташа. Вообще-то она над Домочкой никогда не подтрунивала.— Ну, Вадим заснул. Я, пожалуй, пойду. Хотя, Сережа, мне нужно бы поговорить с тобой...

Как ни тихо была произнесена эта фраза, Домочка ее услышала.

— Ребятки, очень вам хочется спать, а? — спросила она робко.

— Ну, как тебе сказать...— протянула Наташа нерешительно.— А в чем дело, подружка?

— Может, посидите здесь пока, а я выйду на воздушок... Голова что-то разболелась,— добавила Домочка виновато.

— Да, господи, иди, конечно! — всполошилась Наташа.— Сергей, раз уж Домочка жалуется, значит, у нее сыпной тиф по меньшей мере!

У Домочки действительно немного болела голова.

Девочка вышла на крыльцо и постояла несколько минут. Налаявшийся и набегавшийся Жучок тяжело улегся ей на ноги. Домочка стояла и слушала.

Всю свою недолгую жизнь она прожила у леса и леса не боялась.

Она была приучена ко всяким лесным шумам и шорохам. Домочка знала, что вот такое таинственное движе-

ние, шорох, перешептывание начинается около полуночи. Это ночь обходит дозором свои самые темные, самые ночные владения. Однако полуночный час уже миновал.

И перед рассветом в лесу поднимается легкая, еле заметная суета, точно деревья со сна разминают свои ветви, ветки и веточки.

Но и до рассвета было далеко.

Еще к дождю лес тоже приходит в движение, но... Домочка посмотрела на небо — на дождь тоже было не похоже.

Девочка спустилась с крыльца и решительно шагнула в туман. Пес тотчас же ткнулся ей в ладонь сухим, горячим носом и двинулся следом.

— Ишь набегался как, аж нос пересох! — сказала Домочка укоризненно.

В лесу что-то творилось. И, хотя жутковато было от этой щемящей и беспокойной красоты, Домочка вошла в лес, время от времени опуская руку на голову Жучка и чувствуя, как под ее ладонью, то собираясь в складки, то разглаживаясь, все время ходит кожа на круглом собачьем лбу.

«Это, наверно, Жучок тоже думает, думает так само, как я... И ничего выдумать не может»,— решила девочка.

Пес шагал уже рядом, тепло привалившись к ее ноге. Вдруг он взвизгнул и прижался еще плотнее.

Опустив руку, Домочка пригладила его вставшую дыбом шерсть. Жучок еле слышно заворчал.

— Ну, чего ты? Что это ты увидел?..— начала было Домочка и замолчала. Она тоже увидела.

Из круглого сияющего облака, сам окруженный сиянием, на высоком — раза в полтора выше обыкновенного — коне выехал всадник-великан.

Ехал он, спокойно опустив поводья, не торопя коня, чтобы очень не опережать идущих за ним людей.

Если бы Домочке сказали, что этот человек с узенькой желтой, придающей ему очень гражданский вид бородкой мешковато держится в седле, едет, чуть ссутулясь, что на нем старое пальто с вырваными с мясом пуговицами, а поводья он держит в правой руке, потому что левую после последней перевязки раздуло, как бревно,— девочка не поверила бы.

Не поверила бы Домочка и тому, что партизанский командир, только что одержавший трудную победу над немцами и петлюровцами, прорвавшийся к частям регулярной Красной Армии, уже получил приказ снова увести своих людей в леса и тревожить внезапными нападениями, доводить до паники врага, любого врага Советской власти, независимо от того, какую форму — добровольческую, немецкую, французскую, английскую американскую, сербскую, греческую или японскую — этот враг будет носить.

Выше человеческого роста, сияющим и прекрасным увидела Домочка партизанского командира Александра Рудаковского, и таким он запомнился ей на всю жизнь.

За всадником четкими рядами — по восемь человек в ряд — шагали великаны.

Выходя из голубой мглы, они превращались в обыкновенных, кое-как и по-разному одетых людей. За спинами их поблескивали трехлинейки казенного образца, охотничьи берданы и винчестеры, немецкие маузеры, японские винтовки. И, несмотря на что-то очень невоинское в их одежде и оружии, сноровка у всех была военная, и выправка военная, и шаг четкий, слаженный, военный...

— Это наши, Жучок, наши... Видишь, сколько их идет! И еще, и еще... Видишь, как идут... — не шепотком, а во весь голос говорила Домочка, и Жучок, точно поняв девочку, крепко ударил по ее икрам своим сильным толстым, как скумбрия, хвостом.

Вот мимо Домочки, ступая поосторожнее, но не теряя шагу — левой! левой! левой!..— два человека пронесли носилки. Опытный глаз девочки различил под наброшенной сверху шинелью плоское, как будто неживое, неподвижное тело. Но по тому, как ступали несшие его товарищи, девочка поняла, что человек на носилках жив, хотя, может быть, и ранен тяжело.

— Так и Юрка нашего несли... — выговорила Домочка непослушными обветренными губами.— Несли и вот вынесли же из боя... к своим! — плача, добавила она.

И опять, и опять проносили мимо носилки, потом проехала мажара, закиданная сверху соломой, а из-под соломы торчали руки и ноги. Домочка перекрестилась.

Потом две женщины на веревке протащили корову, потом все застлало дымом — прогрохотала незатушенная походная кухня, и опять, не торопя коня, мимо проехал всадник.

— Это кончился один отряд,— объяснила Домочка Жучку́.— Сейчас второй пойдет. Это на коне — командир другого отряда.

А великаны, снова и снова выходя из голубого марева на черную прогалину просеки, превращались в обыкновенных усталых людей с обожженными ветром лицами, в разбитых сапогах, немецких ботинках, в постолах... Кое у кого ноги были даже обмотаны соломой. Но Домочке и они навсегда запомнились такими, какими она их увидела в голубом волшебном мареве — выше человеческого роста!

И, забыв о восьмой делянке, о дежурстве, об оставшихся вместо нее Наташе и Сереже, Домочка шагнула из кустов.

— Тю, а мне черт те что почудилось! — сказал старый бородатый партизан, рассматривая тоненькую девочку, вынырнувшую из кустов с собакой.— Малявочка, що, Балтский шлях скоро будет?

— Сейчас, дядечка! Еще самую капельку пройти! — улыбаясь сквозь слезы, сказала Домочка.— Я вас до самого шляха доведу!

А собака, присев на минутку, внимательно оглядела проходящих и вдруг залилась веселым приветственным лаем.

— Можно, Жучок, можно! Лай, Жучок! — говорила девочка улыбаясь.

Если бы не Сережа и Наташа, Домочка за самовольную отлучку получила бы строгий выговор, и, кто его знает, может быть, этим одним Ксана Федоровна не ограничилась бы. Но Сережа и Наташа высидели все дежурство, и, когда усталая, промокшая по пояс Домочка тихонько поскреблась у крыльца, дверь перед ней тотчас распахнулась.

— Явилась? — сказала Наташа сердито.— Мы уже решили, что ты заблудилась в лесу...

— Я, в нашем лесу?..— спросила Домочка удивленно.— Водички мне,— сказала она и опустилась на первую попавшуюся скамью.

— Ну, Сережа, ты поухаживай за ней, а я пойду,— сказала Наташа зевая.— Вторые сутки не сплю...

— Домочка,— говорил Сережа, держа кружку, а заодно поддерживая девочку под локоть, чтобы не очень расплескивалась вода,— ну ты или пей, или спи... Хотя подожди, не спи, я скажу тебе что-то интересное... Наташа подслушала... То есть она не подслушивала, конечно... Они громко говорили. Они и сейчас еще у Ксаны Федоровны... Рубан, оказывается, вот зачем приехал...

И так как глаза девочки закрывались сами, он присел рядом и громко сказал над самым ее ухом:

— Нас будут принимать в комсомол! Знаешь, что это такое! Вот Федор собирается нам обо всем этом рассказать.

Длинные ресницы Домочки поднялись, и она, обхватив Сережу за шею, поближе притянула к себе его голову.

— Аший дут,— послышалось Сереже, но ни расспросить, ни переспросить Домочку уже нельзя было.

Сережа боялся пошевелиться — кругленькая гладкая головка девочки легко скатилась ему на плечо. Домочка уже крепко спала, ее мокрые ресницы блестели. Вокруг глаз залегли черные тени, но Домочка и во сне улыбалась.

«Наши идут»,— вдруг понял Сережа Домочкину фразу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Федя Рубан

— Ксана,— сказала Кульчицкая, когда Федя Рубан вышел наконец из их комнаты,— а ведь Наташа твоя, пожалуй, права: забросили мы наших ребят.

— Ничего, ребята хорошие...— как будто невпопад, а на самом деле очень впопад ответила Ксана Федоров-

на.— Ты чего это терзаешься? — спросила она с ласковой насмешкой.— Ну, говори уж все сразу!

— Я не терзаюсь,— тихо заметила Нина Леонидовна.— Только не кажется ли тебе, что они еще недостаточно серьезно всё делают? Не кажется, что они все время как будто играют?

Панченко посмотрела ей прямо в глаза.

— Кажется,— сказала она спокойно.— В особенности с Наташкой моей беда... А ты думаешь, я в девятьсот пятом была достаточно серьезной? Ведь уже здоровая девуля была, а на спевки бегала, прокламации под фартуком носила все больше для того, чтобы с Панченко своим лишний раз посидеть... А потом какие дела делали! Так и ребята наши: свяжутся с комитетом — узнают настоящую работу... Если бы они в четырнадцать-пятнадцать лет были посерьезнее, да господи, это просто ходячие чудовища какие-то были бы!

— Почему — ходячие? — спросила Кульчицкая смеясь.— А что, вообще-то чудовища ходить не умеют?

— Ну вот то-то! Больше тебе возразить нечего!

Ксана Федоровна через плечо заглянула в лист, который собиралась подписывать Кульчицкая.

— Товарищ дорогой,— сказала она,— так не годится! Какая же Наташа аккуратная и исполнительная! Нельзя же так, голубушка: я пишу, что она недисциплинированна, своевольна. Что же это получается? Я согласна: Наташа прямая и честная девчонка, но вот дисциплина у нее очень и очень хромает. А по-твоему, всё наоборот... Что же это значит?

— Вот это и значит, что мы разного мнения об одних и тех же вещах,— сказала Кульчицкая, чуть краснея.— Допускаю, что ты лучше знаешь Наташу, но что касается меня, то все поручения, которые я Наташе давала, она выполняла добросовестно и аккуратно. Вообще как работником госпиталя я ею довольна.

— Какие там поручения ты ей давала! — махнула рукой Панченко.— Полы помыть?.. Коллектив у нас все-таки небольшой. И не такая уж Наташа загадочная натура, что вот мы, двое взрослых людей, даем ей такие различные характеристики...

— Ксаночка,— сказала Нина Леонидовна твердо,— я, как и ты, работник госпиталя. Я, как и ты, член пар-

тии. Не с таким большим стажем, как ты, но член партии... Я за свои действия отвечаю. Мне поручили дать характеристику Наталье Панченко, и я это делаю... Я наблюдала Наташу и в хорошие и в плохие минуты нашего госпиталя и, как мне кажется, вправе вынести о ней суждение.

Панченко с любопытством посмотрела на нее.

— Ладно,— сказала она.— Только тогда я вот еще что допишу...— Присев на краешек стола, она энергично, с нажимом приписала строчку в Наташиной характеристике и прочла вслух: — «Не ровна в отношениях с людьми и по отношению к своим обязанностям». Я лично,— добавила она, поднимаясь,— считаю, что и перед принятием в комсомол и во время пребывания Наташи там она требует длительной воспитательной работы. И это, конечно, моя вина.

Заключение Панченко блестяще оправдалось уже на следующий день.

Узнав, что Федя Рубан — это и есть тот таинственный товарищ, который будет вести политическую работу на восьмой делянке, Наташа так и просияла.

— Да это же просто чудесно! — вырвалось у нее. И, догоняя Рубана на лестнице, она закричала: — Феденька! Ты? Не Магомет — к горе, а гора — к Магомету!

Так как Рубан смущенно оглянулся на Сережу, Наташа сама смутилась.

— Словом, чудесно! — повторила она.— Ты иди к нам в комнату, я сейчас притащу все заявления.— И, шагая через три-четыре ступеньки, сбежала вниз.

Федя посмотрел ей вслед, потом оглянулся на Сережу и вдруг улыбнулся. «Как сквозь тучу солнце»,— вспомнил Сережа мамино определение. Однако, когда Наташа вошла в комнату, лицо Рубана было снова серьезно.

— Вот! — Наташа выложила на стол кипу бумаг.— Видишь, некоторые автобиографии на восемь страниц разогнали. Это со всей нашей делянки... И еще, Феденька, с хуторов один парнишка дал. Он пока не работает у нас, но Марк Аронович уже договорился — его возьмут вместо деда Дудника.— Наташа вытащила из

кипы бумажек засаленную тетрадку.— А это его творчество. Он и стихи свои сюда приложил. А здорово как это назвали: «Ком-со-мол» — Коммунистический Союз молодежи! В тысячу раз лучше, чем Моревинты всякие.

— Стихи? — Рубан с любопытством перелистнул засаленную тетрадку. Видно было, что ему не хочется ее закрывать, но он все-таки ее закрыл.

— Да, а вот его автобиография. И две рекомендации.— Наташа просительно заглянула Феде в лицо.— Видишь, все как полагается... И еще двое наших раненых тоже подали к нам... И правда, когда там еще они попадут в свой отряд!

— Он не у нас будет проходить,— сказал Рубан, отодвигая засаленную тетрадку.— Хорошо — на хуторах у нас уже свои люди появляются. Но у них там собственная первичная организация. Большая работа, я не охвачу... Эти — тоже не у нас.— Рубан отложил в сторону еще два заявления.— Пускай вылечатся, их в отряде будут проводить...

— А проведут? — спросила Наташа огорченно.— Ну какой же ты, Федор, ей-богу!

Скрипнула дверь. Вошла Домочка и скромно присела на свою собственную кровать.

— Слышала? — кивнула ей Наташа на Рубана.— Здóрово, да?.. Так ты говоришь, Федя, что проведут?

— А как же...— Рубан снова улыбнулся.

Сережа присматривался к своему старому дружку. Вытянулся он как! Теперь Федя стал походить на своего покойного отца. И очень интересно Федя улыбается: губы совсем неподвижные, глаза за длинными, густыми ресницами черные-черные, без блеска, и вдруг в них как будто вспыхнуло что-то, от уголков побежали веселые морщинки. Но это буквально на одну секунду. И лицо снова неподвижное. И вправду — как из-за туч солнышко!

— Проведут, а как же! — повторил Рубан.— Тебе ведь ясно, кого могут не принять? Ясно! Классового врага, примазавшегося или с какими-нибудь там грехами... А честный рабочий или крестьянский хлопец — милости просим. Интеллигент тоже...

— Девушки тоже,— в тон ему добавила Наташа.— Да?

— Безусловно! И девушек тоже всех примут! Мы не то что принимаем — не принимаем...— бормотал Рубан, внимательно просматривая каждую бумажку.— Мы просто зовем в комсомол. Каждый новый комсомолец — это наша удача. Лишняя винтовка против врага.

Наташа смущенно глянула на свои руки и промолчала.

— Научим, ничего!..— проговорил Рубан.— Ты что — обиделась за этого хлопчика с хуторов?

— Да, и за наших раненых. Только не обиделась, а огорчилась... А еще говоришь — «зовем в комсомол»! Ну как я им теперь объясню?

— Так и объяснишь. Примут их, конечно, но в другой организации. Там посильнее народ — мне всего не охватить... Вот только поручили поговорить с вами четырьмя... Я ведь тоже еще без опыта... С вами четырьмя и вот еще...— Рубан заглянул в свою самодельную книжку,— Софья Кирилловна Недоля... Есть такая?

— Конечно! Это Соня-санитарка.

Федя разгладил Сонино заявление, прочел и сделал в углу его какую-то пометку.

— Вот мы беседовали только что с Ниной Леонидовной и Ксаной Федоровной. Они напишут вам характеристики.

— Нам? Они? — переспросил Сережа удивленно.— Разве матери имеют право давать характеристики?

— А кто же другой может вас оценить по работе? В данном случае они пишут не как матери, а как члены партии...— сказал Федя веско.

Наташа вдруг громко фыркнула:

— Федя, ну что ты как стал говорить: «беседовали», «в данном случае», «охватить»!

Рубан не покраснел, а как будто потемнел в лице.

— Говорю как умею. Гимназии не кончал...

— Да ну брось, Феденька! — сказала Наташа ласково.— Наоборот, ты бы попроще, а то ты — как волостной писарь...

— Говорю как умею...— повторил Рубан сухо.— А это кто же такой — «Та-лы-гин»? — прочел он по слогам.— Ну и пишет же человек!

— Шалыгин,— поправила Наташа.— Он лежит перевязанный весь, потому и плохо пишет... Что ты смот-

ришь так удивленно? Это же Вадим Шалыгин... Ну, Вадя наш!

— Так это Вади-им! — протянул Федя, обводя всех своими черными пристальными глазами. Он еще раз прочитал заявление и покачал головой.— Вот уж не думал я...

Поднявшись с места, Рубан молча переложил на столе бумаги.

— Словом,— выговорил он наконец,— может, товарищи из укома найдут нужным...— Рубан помолчал.— Да, такое дело... Не думал я...

— Ты о чем? — спросила Наташа рассеянно.

— Может, товарищи из укома найдут,— повторил Рубан внятно,— что можно принять... Но меня коснется — я буду против!

Наташа, не понимая, смотрела на него.

— Если хочешь знать мое мнение,— сказал Федя решительно,— я против того, чтобы в комсомол принимали сына белогвардейца.

— Какого сына белогвардейца? — с возмущением переспросил Сережа.

— Вадима Шалыгина. Сына офицера!

— Господи, что за ерунда! — Наташа сердито пожала плечами.— Ты в своем уме? Почему белогвардейца? Отец Вадима — офицер военного времени. Ты способен сейчас спокойно рассуждать?

— Я способен... Вот ты-то способна?

Наташа перехватила испуганный взгляд Сережи и успокоительно кивнула ему. Лицо ее было сейчас очень бледное, но спокойное.

— Вот ты послушай, Федя, что я скажу,— начала она тихо.— Твоего отца брали на фронт в германскую?

— Ну, брали!

— Нет, ты не злись... Слушай! Отца Вадима тоже взяли. Понял? Он не сам пошел, его взяли. Мо-би-ли-зова-ли... Только твой отец был без образования и попал в солдаты, а Вадима отец — в офицеры. Понятно? — спросила Наташа уже даже как будто снисходительно.

Сереже показалось, что сейчас вот Федя сумрачно — по-своему — улыбнется и скажет: «Понятно». Но Федя не улыбнулся.

— «А Вадима отец — в офицеры»! — повторил он мед-

ленно.— Та-ак... Семен Буденный — может, слышала — тоже в гусарских вахмистрах служил... А вот пошел в Красную Армию. Или Щетинкин — в царской армии штабс-капитан был, трижды георгиевский кавалер... Товарищ Рудаковский говорит: Щетинкин и посейчас в Сибири партизанит.

Как ни взволнованы были Наташа, Домочка и Сережа, но, когда Рубан назвал имя Рудаковского, все трое быстро, с любопытством глянули на него.

— А Шалыгина отец где? — спросил Федя тихо.

— Но он и не у белых! — сказала Наташа горячо.— Сергей, что же ты молчишь? Ты же видел Анатолия Вадимовича в Дофиновке!

— Видел. Это неважно где. Но я вообще его знаю. Он очень благородный человек... Дофиновские ребята говорили, он еще при белых снял погоны...

— Не в погонах дело! — вдруг перебила его Наташа.— И пускай бы даже он у белых служил... и не штабс-капитаном, а генералом! Разве *его* принимают в комсомол? Важно, что *Вадим* из себя представляет, а не то, кто его отец! У Ленина отец тоже дворянин был...

— Ты к Ленину, знаешь, не равняйся! — сказал Рубан сердито.

— А почему?

— Так вот...— Не глядя уже на Наташу, Рубан положил на стол Вадино заявление и прихлопнул его ладонью.— Я один не решаю. Но я свое мнение сказал.

— Да что мы — принцы наследные?! — В голосе Наташи послышались слезы.— Мы-то сами что сделали? Значит, по папенькиным и маменькиным заслугам нас примут? По наследству? А Вадим, значит...

— В вас тоже еще разберутся — принимать или не принимать,— угрожающе заметил Рубан.

Наташа хотела что-то сказать, глянула в его черные без блеска глаза и вдруг стукнула кулаком по столу.

— Давай тогда мое заявление! — закричала она.— Давай! Не надо... Если Вадим недостоин, так что уж о нас говорить!.. Сережа, Домочка, берем свои заявления!

— Ты за грамотных давай не расписывайся,— сказал Рубан тихо.

— Домочка, Сережа! — беспомощно оглянулась Наташа на товарищей.— Домочка, ну как по-твоему? Говори же, что ты молчишь?.. Сергей!

— Я лично глубоко уважаю Вадима Шалыгина и считаю...— начал Сережа.

Но Домочка, подойдя сзади, положила ему руку на локоть.

— Можно я? Как я понимаю...— начала она.— Я за Вадечку так скажу: у нас в Кохановке есть такие одни — Чумаченко. Батьку их на германской в один год с моим батькой убили. Один сын у них — в петлюровцах, один — в белых, один — в красных... Так кто же за кого будет отвечать?

— Да не белый его отец совсем! — выкрикнула Наташа возмущенно.— Я про заявления тебя спрашиваю!

— А про заявления, Наташенька...— Домочка виновато оглянулась на подружку.— Это же не в гости на блины зовут: хочешь — идешь, хочешь — не идешь... Это же комсомол. Мы, может, целый год даже о том Моревинте мечтали...

— Так...— сказала Наташа очень тихо. Лицо ее из бледного стало уже каким-то желто-зеленым.— Вы мечтали, а Вадим грудь свою подставил... Не знаю, какой комсомолец Рубан, а Вадим Шалыгин — настоящий комсомолец! У него пуля на четыре сантиметра ниже сердца прошла... Ну, ты отдаешь мне мое заявление, Рубан?

— Ты не Рубану, а в уком его подавала... Вот уком и...— начал Федя.

Но Наташа, не дослушав, выдернула из пачки свое заявление. Разорвав его на клочки, она вышла из комнаты, громко хлопнув дверью.

— Мы на сантиметры не считали! — вдруг, сорвавшись с места, крикнул ей вдогонку Рубан.— Ни на сантиметры, ни на вершки!

— Федя! — сказал Сережа укоризненно.

— Семнадцать лет Федя! Эти разговорчики все я тоже сообщу секретарю, как будущие комсомолки рассуждают! — Рубан дрожащими руками рылся в заявлениях.— Моего батьку как подстрелили, никто не считал на сантиметры! Ишь как: «Без образования — так по-

шел в солдаты...» Мы еще покажем этим образованным... Фу, куда же оно делось!

Рубан нашел наконец то, что искал. Он еще раз перечел заявление Шалыгина и на обороте:

— «Рекомендуют член партии с 1907 года Панченко К. Ф. и член партии с 1917 года Вурст А. В.». Так-так...— бормотал он про себя.— Ничего, мы еще посмотрим, что товарищи из укома скажут...

— Федя, Федя, ты неправ! — с отчаянием начал Сережа.— Ты просто плохо знаешь Вадима...

— Нехай товарищи в укоме скажут, кто прав, а кто неправ,— перебил его Рубан.— Ну, ты берешь свое заявление, Клячко?

— Нет,— сказала Домочка тихо.

— А ты, Кульчицкий?

— Тоже нет.

И тотчас же в коридоре прозвучали легкие, быстрые шаги: это Наташа, очевидно, дождалась за дверью конца разговора.

Прошло часа полтора, пока Сережа с Домочкой освободились от дел и вернулись в комнату девочек. Наташа была уже там. Она ничком лежала на своей кровати. Она даже не шевельнулась на скрип открывшейся двери.

— Спит,— сказала Домочка.— Две ночи не спала.

«Плачет»,— подумал Сережа.

Оба они в раздумье остановились подле дверей.

— Пусть поспит! — решила Домочка.— Потом поговорим.

— Не о чем нам с вами больше разговаривать,— сказала вдруг Наташа, круто повернувшись и садясь в постели...— Тебя, Сергей, посылают... между прочим, надо будет сказать маме, что у нас все слышно, когда у них в комнате говорят... Я не собиралась подслушивать, но все слышала... Комсомольское поручение,— добавила Наташа, нехорошо усмехнувшись.— Ну, ни пуха тебе ни пера...

— Наташа,— сказал Сережа, чувствуя, что еще немного — и он расплачется.— Рубан — это еще не все. Ксана Федоровна и Анна-Мария написали Вадиму очень хорошие характеристики...

Наташа, не слушая, смотрела в окно. Под распахнутым воротом на ее шее высоко поднималась и опадала голубая жилка...

— Ах, зачем ты порвала свое заявление!

— Я много думала,— сказала Наташа, вся повернувшись к Сереже.— Ну, Домочка, эта святая Параскева, она все делает по-своему. Но ты, ты отлично знаешь Вадима... Ну, пускай тебе выдадут билет... У меня на твоем месте не хватило бы совести...— Наташа вдруг закрыла лицо руками.— Вадиму не дадут, а тебе дадут! — вдруг закричала она.— Слушай: если тебе выдадут комсомольский билет, а Вадиму не выдадут, я тебя возненавижу...

— Ты и так ненавидишь меня,— сказал Сережа устало. У него не было сил спорить.

— Ты, Домна Павловна, чудесно рассуждала о комсомоле,— начала снова Наташа,— а вот подумала ты о том, что такое Союз молодежи? Это содружество значит. Значит, нельзя предавать товарища, бросать его в беде. А вы!..

— Беды еще нет, Наташенька,— сказала Домочка тихо.— Зачем ты так говоришь!

— Словом,— успокаиваясь, продолжала Наташа,— Сергею Кульчицкому дают комсомольское поручение... Куда-то там нужно доставить Динку. Ей даже хвост и гриву подстригли — бедная лошадка...

— Уже мух нету, Наташенька,— так же тихо сказала Домочка,— ничего, что подстригли...

— У тебя на всякий случай жизни есть утешение,— опять нехорошо улыбнулась Наташа.— Ну так вот: Сергею дают комсомольское поручение: какому-то партизану доставить Динку... Нарядят Сергея как можно лучше, чтобы приняли его за Витьку — сына священника из Александровки... Ты, наверно, похвалился, что очень похож на Витьку? — спросила Наташа презрительно.

— Я никому ничего не говорил... Если ты не хочешь, я могу не поехать.— Голос Сережи так дрожал, что, кажется, даже Наташе стало его жалко.

— Это же тебя не на блины зовут,— добавила она, мельком глянув на Домочку,— хочешь — едешь, хочешь — нет... Это же комсомольское поручение!.. Ну, да-

дут тебе комсомольский билет, но это же ведь несправедливо! Он будет тебе руки жечь!..— выкрикнула Наташа и вдруг заплакала.— Сереженька, прости меня, у меня вот тут, в груди, болит, когда я подумаю о Ваде... Я уж отлеживалась, отлеживалась... Нужно идти к нему, а я боюсь: вдруг он поймет, догадается...

Домочка хотела что-то сказать, но промолчала.

— А ты поезжай, Сереженька,— сказала Наташа ласково.— Хоть гарью этой не будешь дышать... А может, тебя там пампушками с луком угостят,— добавила она, виновато улыбнувшись.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Дынка

Поначалу было решено, что Федя Рубан отправится из «лесной коммуны» на рассвете вместе с Сережей. Тот довезет Рубана до развилка дороги, а дальше поедет один.

Все пораньше разошлись по своим комнатам, чтобы завтра встать вовремя. Ксана уже разделась и легла, а Нина Леонидовна готовилась лечь, когда к ним постучался Рубан и объявил, что пришел прощаться. Он решил добираться в «замок» к Борису Макаровичу пешком. Напрямик через лес будет ближе и спокойнее.

А ведь как радовалась Нина Леонидовна, что в свою первую самостоятельную поездку Сережа выберется из дому со своим любимым дружком. Однако, выслушав Федю, поняла, что тот прав: по столбовой ему пришлось бы сделать крюк, да и ехать им вместе с Сережей версты четыре — не больше.

Учительница и ученик пожали друг другу руки, Кульчицкая приподнялась было на цыпочки — поцеловать Федю, но тот не понял ее движения или застеснялся Ксаны Федоровны. Попрощавшись и пробормотав: «На

той неделе еще придется к вам завернуть», Рубан вышел.

Ксана сначала мирно пожелала подруге спокойной ночи, но, видя, что та застыла у окна, опершись на подоконник, сердито прикрикнула:

— Хватит на луну любоваться! Да ты ляжешь наконец или нет?!

А Нине Леонидовне было не до сна. Объяснения Феди — почему он вдруг переменил свое решение, были как будто разумны и убедительны, но...

Отзвуки столкновения между ребятами дошли до Кульчицкой и Ксаны Федоровны, но у них не было времени потолковать обо всем этом. Не сговариваясь, обе решили про себя ни о чем ребят не расспрашивать: захотят — расскажут сами.

И, пожалуй, о поступке Наташи они так бы и не узнали, если бы не Анна-Мария. Минут через пять после ухода Рубана девушка вошла в комнату, щурясь от яркого лунного света.

— Наташка наша чего натворила, слышали?! — спросила она сердито.— Заявление в комсомол порвала! А вы, Нина Леонидовна, еще ее такой овечкой в рекомендации выставили... Я давно говорю: это непорядок, когда подле одной девчонки трое хлопцев крутятся!

Ксана, очевидно, уже заснула: дышала она мерно и тихо.

— Ты это о чем, Марихен? — спросила Нина Леонидовна шепотом.

— Да вы с Ксаной Федоровной слепые, что ли? Не видите, как тот Пришибеев к Сереже и Ваде придирается?!

С большим трудом Кульчицкая сообразила, о ком идет речь. Ну и путаная же голова эта Марихен!

А ведь несколько лет назад, когда Нина Леонидовна — не по программе — разбирала в своей вечерней школе Чехова, как умно и складно говорила Анна-Мария о «Даме с собачкой»... А вот «Пришибеева» она, очевидно, забыла или вообще не поняла.

— Это ты Рубана Пришибеевым окрестила? — спросила она недовольно.— Вот уж ничего ты ни в Феде, ни в Чехове не поняла!

— Поняла я и Чехова и Федьку как надо,— сказала девушка упрямо.— Вы вот давно в «замке» у Бориса Макаровича не были... А я видела, какую там Федька себе канцелярию развел. Сам выбелил кладовку, стекла в окошке вставил, стол откуда-то притащил, а на дверь громаднющий замок повесил...

— Что же в этом плохого? — удивилась Кульчицкая.— У него ведь хранятся все заявления. Стол нужен. Да и комната отдельная, вероятно, нужна. Может быть, ему и комсомольские билеты вначале придется у себя хранить... Нет, Анна-Мария, ты неправа. Придирчива слишком! Сережу вот ты любишь, так готова ему все грехи простить... Я не говорю уже о Феде, но ты ведь и к Наташе часто ни с того ни с сего придираешься.

— Вот уж неправда,— зашептала Анна-Мария горячо.— Наташку я, может, больше, чем вы, больше, чем ее родная мать, люблю... А Федька...

— Оставь Федю в покое! Не хочу тебя и слушать.— И Нина Леонидовна в сердцах снова повернулась к окну.

— Интересно, интересно! — Кульчицкая и Анна-Мария даже вздрогнули — так неожиданно раздался из угла голос Ксаны Федоровны.— Хоть, может, Марихен, я, на твой взгляд, не слишком хорошая мать, но я очень благодарна тебе за Наташку. Ох, как необходим девчонке вот такой строгий, пусть даже придирчивый, старший друг! А насчет Рубана я целиком согласна с Ниной... Чем он тебе не угодил? Замóк большой повесил? А может, маленького не было... Канцелярию завел? И правильно, хоть порядок какой-то будет, не то что у наших... Знаешь, из бедняков выкарабкаться в люди не так просто... Вот он и относится благоговейно к тому, на что интеллигент и не обратит внимания...

— А пустую кобуру он зачем на пояс прицепил? — спросила Анна-Мария с презрением.— Да, да, знаю, что вы скажете: он, мол, еще мальчик, они, мол, еще недоиграли... Слышала я ваши разговоры...

— Слышала — и на здоровье тебе,— отозвалась Панченко спокойно.— Федору в жизни не то что доигрывать, ему и играть в детстве не пришлось. С малых лет в пастухах,— добавила она тихо и мягко.— А ревность между нашими хлопцами — это уже твоя чистейшая фан-

тазия. Года через два или три еще можно будет об этом говорить...

Анна-Мария только презрительно фыркнула.

— И кобура эта — ерунда, и большой замок — ерунда, зря ты все это...

— А от кого он замком этим запирается? От Бориса Макаровича? Или от раненых, что за Советскую власть кровь проливали? Ленин вот небось не запирается. Доверяет людям.

Кульчицкая заговорила только через несколько минут, медленно, точно подбирая каждое слово:

— Изо всех учеников я, пожалуй, больше всех любила Федю. И не потому, что он больше всех старался, у него всяко бывало. Да, он горячий, несдержанный... Может быть, иногда несправедливый, но как он тянулся ко всему хорошему!.. «Унтер Пришибеев» — и как только тебе не стыдно, Марихен!

— А вот и не стыдно,— пробормотала Анна-Мария.

— Да, повторяю, может быть, Федя иногда действительно чрезмерно придирчив. Но знаешь, моя милая, у мальчика, отца которого застрелили бандиты, для такой вот придирчивости есть серьезные основания... А как вспомню Федю в хате-читальне... или как мы с ним подпольные буквари мастерили... Ей-богу, Марихен, ты многое понимаешь не так, как надо... А как Федя партизанам помогал! Сколько московских газет через кордон доставил... Мне думается, ты не представляешь себе ясно, кто такой унтер Пришибеев, Чехова-то мы давно уже с вами читали,— сказала Кульчицкая и вдруг вспомнила, что год назад подарила Анне-Марии полное собрание сочинений Чехова — приложение к «Ниве».— Нет, Марихен,— добавила она, вздохнув,— ты все-таки недопоняла чего-то... Ты ведь тоже не ангел, а тебя, однако, никто Пришибеевым не обзывает...

— И не обзовут,— заявила Анна-Мария твердо.— А что до Чехова, так у него нигде не сказано — из бедняков этот унтер или из кулаков. Может, маленьким он тоже чужую скотину пас... А вот нацепил погоны, часы завел и по-о-ошло! Так и Федька!.. Ничего не говорите мне! — вдруг закричала девушка, услышав, как взвизгнули пружины кровати под круто повернувшейся к окну Панченко.— Я теперь каждого человека насквозь вижу...

После того гада хорошую науку прошла! И посчитайте — Федьке сейчас только шестнадцать или семнадцать. А вырастет, он еще себя покажет.

Нина Леонидовна снова собралась возражать, но Ксана решительно прервала ее:

— Просил, кажется, Борис Макарович да и Марк Аронович ночных бдений не устраивать. Днем — работать, ночью — спать, а разговаривать только в сумерки,— добавила она многозначительно.

Нина Леонидовна поняла ее и покорно замолчала: оба врача рекомендовали не заводить с Анной-Марией разговоров, которые могут девушку растревожить.

...Анна-Мария давно уже ушла. Ксана давно уже заснула. А Кульчицкая так и пролежала с открытыми глазами до рассвета.

Наконец сборы в путь были закончены.

Кульчицкая внимательно следила за тем, как Сережа, низко пригнувшись в повозке, проехал под развешанным бельем. Сыну ее, очевидно, казалось, что, не пригнись, он обязательно задел бы веревку. Она еще улыбалась, когда на повороте Сережа оглянулся. У матери тотчас же больно защемило сердце.

— Сережа! — крикнула она и бросилась догонять подводу.

Сережа оглянулся еще раз, и Нина Леонидовна, убеждая больше самое себя, сказала:

— Ну и отлично... Я очень рада...— и вдруг замолчала.

Сын ее покраснел так сильно, что на него жалко было смотреть. Как у всех тонкокожих людей, румянец его быстро дошел до границы волос, перешел границу и вспыхнул по неровному, путаному пробору.

— Что ты, милый? — спросила Кульчицкая невольно.

— Мама, а это ты не потому...— Нина Леонидовна смотрела на него таким внимательным и таким ясным взглядом, что Сереже уже стыдно было заканчивать фразу, но он все-таки ее закончил: — ...не потому, что там легче... безопаснее? Не потому ты меня посылаешь?

Мать поцеловала его в голову.

— Да что ты, дорогой,— сказала она спокойно.— Сейчас всюду страшно...

Динка переждала, пока мать с сыном расцеловались, и снова перешла на рысь.

«Терпи, терпи, Нина!» — сама себе сказала Кульчицкая и, помедлив немного у входа, подошла к постели больного.

Вдруг за ее спиной рывком распахнулась дверь. В палату заглянула Соня-санитарка.

— Ну куда это годится?! — закричала она с сердцем.— Иду с хутора, вижу — Сергей поехал! А как это вы мальчишку в такую дорогу пускаете? Вчера петлюровцы двор у Козаченко пожгли!

— Закрой дверь, Соня,— сказала Кульчицкая спокойно,— и сними белье: похоже, что будет дождь или даже снег.

И, только домотав до конца бинт и обнажив багрово-синюю, раздувшуюся ногу Калюжного, она со стоном поднесла руку ко лбу.

— Трудные мы для вас, сестрица,— виновато сказал мертвенно-бледный раненый и, побелев еще больше, натужась, повернулся, чтобы ей удобнее было его обмывать.

Такое хорошее — свежее и светлое — было это утро, но Сережа ехал, грустно опустив вожжи. Стайки воробьев лениво вспархивали над дорогой, они поднимались так невысоко, что казалось — они не перелетают, а перебегают с места на место. Возились они над дымящимся еще конским навозом, значит, кто-то проехал здесь совсем недавно.

Свернув на мощеное шоссе, Сережа внимательно огляделся.

Впереди коротконогая мохнатая лошадка с притворным старанием тащила крестьянскую безрессорную телегу. Лошадка и гривой потряхивала как будто всерьез, и резво перебирала ногами, но притворство ее выдавали обвисающие постромки. Седока не было видно и, только поравнявшись с подводой, Сережа понял, в чем дело: разметавшись в повозке, как дитя в люльке, седок мирно спал, накрыв лицо шапкой. Оброненная вожжа, намотавшись на колесо, вот-вот должна была лопнуть.

— Дядько, подберите вожжу! — крикнул Сережа.

На его окрик над грядками телеги поднялось молодое заспанное лицо.

— Вот спасибо тоби, хлопчик, подай тоби боже! — пробормотал парнишка, обтирая рот. Подобрав вожжи, он уселся на мешках и, лениво хлестнув лошадь, напялил на себя шапку.

Сережа осторожно шевельнул вожжу, и Динка прибавила шагу. Парнишка был в папахе с красным верхом — может, петлюровец?

«По столбовой дороге, третий хуторок справа. От колодца первая улица налево, девятая хата справа»,— еще раз повторил про себя Сережа. Он, как и мама, плохо ориентировался в местности и путал адреса.

Минут через десять он оглянулся и различил на дороге только темное пятнышко.

«Здóрово же я его обогнал!» — подумал мальчик с удовольствием.

Налетел ветер. Сразу сильно потемнело, а спустя минуту через дорогу уже хлестал длинный холодный дождь со снегом.

Динку не надо было учить: как стрела, пролетела она мимо первого хутора, мимо второго и у колодца чуть убавила шаг.

Не обращая внимания на погоду, у колодца, даже не укрывшись под навес, стояла пара: женщина в сборчатой красной юбке и накинутом на плечи белом вязаном платке, а рядом с ней — статный мужчина в рыжем романовском полушубке. Сереже не понравились ремни, туго скрещенные на его широкой спине, и две внушительные кобуры по бокам.

«У наших не бывает столько оружия»,— подумал мальчик с опаской.

Пара, однако, стояла, мирно держась за руки — такая, как их вышивают на рушниках, а в довершение сходства в опущенной руке женщины болтался букет поздних жестких цветов — циний, которые на Одесщине называются «рожами».

«От колодца первая улица налево, девятая хата справа,— повторил Сережа.— Ой, кажется, наоборот — первая улица направо, девятая хата слева».

Свёрнул он все-таки налево. Теперь снег хлестал прямо в глаза, и даже терпеливая Динка недовольно помахивала головой. Улица поднималась крутым горбом. Сережа, жмурясь от капающей с шапки воды, считал хаты. Девятой хаты вообще не было: улица была в восемь домов. С досадой Сережа повернул Динку обратно.

Не доезжая до угла, он увидел, что хлопец в телеге уже поравнялся с колодцем и сейчас оживленно разговаривал с мужчиной в полушубке, разводя руками и поминутно показывая в Сережину сторону.

Мальчик вобрал голову в плечи и проехал мимо, боясь поднять глаза. Но он все-таки их поднял, может быть, потому, что уж слишком пристально смотрели на него те трое. Был ли петлюровцем парнишка в папахе с красным верхом — неизвестно, но человек в романовском полушубке несомненно был петлюровец: это именно он в постоялке подбивал гетманца устраивать допрос болгарину Тодору Станкову.

От испуга Сережа выпустил из рук вожжи. Динка, поняв это, очевидно, как знак того, что выбор дороги предоставляется на ее усмотрение, немедленно свернула вправо.

В девятой хате Сережу как будто ждали. Не успел он остановить лошадь, как на улицу выбежала молодая простоволосая женщина.

— Смотри, как они Динку обкорнали! — сказала она с удивлением.— Стоит? — добавила она шепотом, мотнув головой в сторону колодца.

— Кто стоит? — спросил мальчик, недоумевая.

— Ну, гадюка, враг наш стоит? — повторила женщина раздраженно.

— У колодца я видел человека в рыжем полушубке,— растерянно сказал Сережа.

— Ну, Федька Козолуп. Понятно... Самые главные богачи наши,— произнесла женщина, удовлетворенно кивнув головой.

— Только он стоит просто так себе, со своей барышней,— попытался Сережа ее успокоить.

Женщина кивнула снова.

— С Даркой Думенчихой! — сказала она, скрипнув зубами.

— Вот уж подлюка — жениха ее петлюровцы убили, а она с ними же...— пробормотала, подойдя сзади, маленькая толстенькая старушка.

— Мамо, это мальчику неинтересно,— перебила ее молодая женщина строго.— Идем до хаты!

— А сейчас к ним еще один на телеге подъехал,— добавил Сережа.— Такой молодой совсем, в папахе...

— Мишка Федченко, Мишка Дурак по-уличному,— снова кивнув, сказала молодая.— Это Козолупа смена. Полдня один караулит, а полдня другой... Нас караулят,— добавила она, нехорошо засмеявшись.— Самые главные богачи у нас — Федченко и Козолупы!

Молодая женщина так спокойно вела себя на улице, что Сережа никак не мог ожидать того, что случилось с ней в хате. Ступив на высокий порог с прибитой к нему подковой, не перешагнув его, а как-то перебросив через порог тело, женщина, рыдая, упала на земляной пол. Она задела скамью с ведром, и вода, широко плеснув, обдала всем троим ноги. Сережа испуганно оглянулся на старуху.

— Ой, сыночек, ой, миленький,— сказала та жалобно,— ты можешь человека спасти! Мы тоби чеботы с Сашка дадим и шапку хорошую, полтавскую...

Молодая женщина поднялась и вытерла подолом лицо.

— Это товарища Кульчицкой — учительки — сын, мамо,— сказала она недовольно.

— Сыночек, сделай людям доброе дело! — зашептала старуха, выждав, пока молодая скроется в дверях.— Ты можешь человека спасти... Большого героя, комиссара! — Она хватала руки Сережи синими, холодными руками.— Если опух дойдет до сердца — умрет же человек...

— Заходьте в спальню,— пригласила молодая, а сама с рогачом подошла к печке.

Сережа шагнул в комнату с веселыми голубыми обоями. У стены, под марлевым пологом, еще покачивалась деревянная люлька.

— Ой, сыночек, ты можешь большое дело сделать,— продолжала свое старуха.— Они тебя видели, догадались, соткуда ты, хоть вы Динку и обкорнали. Знают, что оружие на ней возят... Тебе все равно домой надо, вот ты не иди пешком, а езжай на подводе. Только гони силь-

но Динку и оглядайся, и той кат обязательно за тобой погонится!

— Мамо,— неожиданно подойдя сзади, остановила ее молодая с сердцем,— ну чего вы мешаетесь! Да не погонятся оны в тую сторону вовсе! Там уже красные стоят...

— Ну как же, диточки мои дорогие, ну что нам с Сашком делать? — спросила старуха и заплакала.

— Сашко — муж мой, а ихний зять,— объяснила молодая тихо.— Раненый, лежит у нас на горище. Руку у него страх как раздуло... Товарищи огородами дотащили. Если бы не эти гады, мы бы его задами на операцию в «замок» на чужой подводе повезли бы... На Динке нельзя— знают Динку тут все! А про Сашка́ они и не догадываются,— оружие думают у нас перехватить...

— Разве тут петлюровцы еще? — удивился Сережа.

— А где их нету! У нас на двадцать домов ни одного мужика не осталось,— сердито отозвалась молодая,— одни бабы в хатах! Бедные — в партизанах, богатые — у Петлюры... Вот те гады и шарят, як тхорь[1] в конюшне!

— Тогда почему же они не идут в хату искать оружие?

— Боятся! — сказала старуха злорадно.— С одного хутора все-таки, своих в хате трогать нельзя. Я сама их на пороге колуном порубаю... Они думают — оружие на дороге перестренут!

Молодая поставила на стол миску с горячей картошкой.

— Сядай, милый,— сказала она устало.

Сережа судорожно проглотил слюну: картошка была обильно полита маслом.

— Так... можно бы... сделать,— начала молодая женщина медленно, останавливаясь после каждого слова. Она помолчала, покусывая губы.— Ты бы не пешком пошел, а поехал бы. И Динку, верно, погнал бы... Но только не к «замку», а вверх по столбовой...

— Позвольте,— сказал Сережа,— так там, значит, уже столбовая на Одессу?

[1] Тхорь (укр.) — хорек.

— На Одессу,— подтвердила молодая.— А в Одессе уже французы и добровольцы... Ты боишься? — спросила она, глядя на него красивыми заплаканными глазами.

— А чего хлопчику бояться? — забормотала старуха.— Против ихней Динки здесь ни одной лошади нету...

— Мамо,— перебила ее дочь,— ну зачем вы мешаетесь! Зачем хлопчика обманывать! Оны мо́гут ему смерть сделать! — и, положив голову на стол, заплакала.

Сережа, чувствуя, что и у него на глазах выступают слезы, испугался, как бы женщины это не заметили.

— Иди, вертайся, хлопчик, до дому! — сказала молодая, вдруг внезапно успокоившись.— Ты лошадь с подводой нам доставил, спасибо тоби, а сам вертайся с богом до дому!

— Необязательно же они мне смерть сделают,— выговорил Сережа неловко.— Только я не совсем понимаю, что вам нужно...

— Да тут нема чего понимать! — обрадованно вмешалась старуха.— Сядай на подводу, гоны Динку — и край! Нам бы только на час, на два от них избавиться. А мы тогда Сашка́ — до «замка»...

— Ой, мамо, не мучайте вы меня,— перебила молодая со стоном.— «Гоны Динку — и край»! — передразнила она.— Ни, це ще не край, моя маты! Бо у хлопчика тэж матерь есть... Як же вы учительке в очи подывитесь, як що хлопчика убьют? Га? А вы ще богови в церкви свечи ставите! — добавила она презрительно.— На Одеськом шляху що робится: и гетманцы, и немцы, и петлюровцы!..— Она махнула рукой.— Иди лучше, хлопчик, до дому!

Сережа весь содрогнулся от острого, жадного желания вернуться домой, на восьмую делянку. Он сделал все, что надо: доставил Динку с повозкой и теперь может быть свободен. Пробраться сейчас мимо колодца — это тоже еще совсем не просто... Сережа глянул в окно. Шел уже настоящий зимний снег.

Мальчик почти ненавидел старуху и почти обожал молодую, потому что одна толкала его от дома, а другая — к дому. Однако ему тотчас же стало стыдно. «Ну, вот и хорошо,— решил он, успокаиваясь,— ехать так ехать! И не буду больше мучиться!»

Женщины смотрели на него с тревогой и надеждой.

— Не беспокойтесь — никто меня не убьет! Если этот Дурак будет меня догонять на своем рысаке, он меня до смерти не догонит,— поторопился сказать Сережа, чтобы ему самому уже никак нельзя было отступиться от своего решения. Но какой-то второй Сережа, который был гораздо хуже и трусливее первого, подыскивал в эту минуту возражения:

«Вот Вадя Шалыгин вскочил и заслонил собой Паву... Это очень хорошо и благородно, но это все-таки одна секунда... А вот интересно, что он сделал бы сейчас на моем месте?»

Однако этот второй Сережа оказался в конце концов не таким уж трусом. Он со злорадством представил себе физиономию Дурака, когда тот выяснит, что никакого оружия с Сережей нет и что он гнал лошадь зря.

Сразу же от самой двери «девятой хаты» перейдя на рысь, Дипка как вихрь пролетела мимо колодца и свернула на столбовую.

Несмотря на волнение и тревогу, Сережа, проехав колодец, оглянулся и хихикнул про себя. Федька Козолуп уже сменился, и Мишка — по-уличному Дурак — занял его место. Забавнее всего было то, что стоял Дурак в той же позе, что и Козолуп, держа за руку Дарку Думенчиху. Только букет циний перекочевал сейчас в его красный кулак...

Опомнившись от неожиданности, Мишка тотчас бросился к повозке. Спустя минуту Сережа услышал позади звон и грохот подпрыгивающей на камнях телеги. Однако и звон и грохот был очень далекий, а Дипка все прибавляла и прибавляла шагу.

Сережа хорошо знал, что хлопца в папахе необходимо подальше отвести от хутора и задержать часа на полтора-два. Часов у мальчика не было, поэтому он стал считать мелькающие мимо телеграфные столбы, положив в уме по пять минут на расстояние от столба до столба. Столбов он насчитал уже девяносто.

Нет, получается ерунда — пять на девяносто будет четыреста пятьдесят минут, или семь с чем-то часов... Конечно, этого быть не может.

«Раз, два, три...» — принялся было Сережа отсчитывать секунды. От столба до столба он проезжал, оказывается, за тридцать две секунды. Нет, тут тоже что-то да не так.

Хлопец в папахе уже несколько раз, привстав, кричал что-то Сереже вдогонку, но за грохотом мальчик ничего не мог расслышать. Ветер дул в спину, и Сереже в лицо относило горячим лошадиным потом.

— Стой ты, божевільный![1] — крикнул еще раз Мишка.

«А вдруг он ничего дурного не хочет? — подумал Сережа. — Чего-то кричит там, а я удираю действительно как сумасшедший. На хуторе, наверно, уже управились».

— Да стой же! — кричали сзади. — Да ты здурив, чи що?

Сережа так круто осадил Динку, что она села на задние ноги. Мальчик обернулся. Прямо против своих глаз он увидел черный кружок дула револьвера.

— Стой! Сдавай оружие! — крикнул петлюровец.

Спасла Сережу Динка. Она рванулась вперед, мальчик повалился навзничь в повозку, а кобыла, храпя и кося глазом, понеслась наверх, на самую кручу.

Выстрел прокатился, как гром. Каменная дорога удваивала и утраивала звук.

Отощавшая на плохих кормах, но широкогрудая и все еще сильная, Динка легко брала высоту. Еще раз грохнул выстрел... Сережа спутал счет. Он не поднимался: нужно переждать, пока тот расстреляет всю обойму.

«Тра-та-та» — несколько раз повторило эхо. Кажется, всё. Сейчас будет заряжать снова. Сережа, повернувшись на локте, посмотрел назад. В это время Мишка выстрелил еще раз. Пуля ударила в задник повозки. Сереже в лицо полетели мелкие щепки и пронесло кислым дымком. «Опять мимо!» Расстояние между мальчиком и его преследователем заметно увеличивалось. Динкина голова показалась уже на фоне неба. Подъем кончился. Наверху гулял ветер.

---

[1] Божевíльний (укр.) — сумасшедший.

— Милая Диночка, спасибо тебе, тот не добрался еще и до середины подъема!

Сережа оглянулся, у него сильно защемило плечо. Мальчик тронул рукой — пальцы были в крови. Значит, на этот раз Мишка Дурак попал все-таки. Сережа глянул вниз. Дорога впереди была пустая. Вдруг блеск камней стал непереносим, и в воздухе, как от накоптившей лампы, поплыли черные мушки.

Сзади, словно из раскрытой двери, вырвался громкий цокот копыт. Не решаясь еще раз оглянуться, Сережа дернул вожжи. Голова у мальчика кружилась, во рту был вкус меди.

У самого начала спуска Динка обеспокоенно оглянулась на своего седока. Мальчик на нее не смотрел. Динка сделала несколько шагов. Повозка больно наезжала ей на задние ноги, но не в этом была беда. Мальчик вяло держал вожжи и вдруг, ухватясь за грядки телеги, склонился набок. Его стошнило.

Динка, упираясь, сделала несколько шагов. Она еще раз отчаянно оглянулась на Сережу, и он сквозь мешающие ему слезы разглядел ее беспокойный и ожидающий взгляд. Лошадь ему, несомненно, что-то говорила, только он не понимал — что́.

Дальше Динка уже не могла удержать шаг, крутизна тянула ее вниз, повозка наезжала на круп, и Динка пошла напрямик в галоп, слыша, как под ее копытами отрываются камни.

Только теперь Сережа понял, в чем дело. Колеса нужно было загальмовать, а съезжать нужно было не напрямик, а зигзагами — от обочины до обочины дороги. Ухватясь за вожжи, Сережа потянул изо всех сил. Но было уже поздно. Повозка, треща, ухала по камням, держась все время под неимоверным углом к дороге. Воздух свистел в ушах, мимо неслись кусты.

Динка, натужась, еще раз скосила на Сережу кровавый глаз. Дальше крутизна была почти отвесной.

Обмотав вокруг себя вожжи, Сережа навалился всей тяжестью, сворачивая Динку вправо. Он явственно увидел, как молодой, сквозной лесок дугой развернулся над ним, раздался лязг и грохот, и мальчика сильно ударило спиной о землю. Повозка разъехалась надвое. Передние

колеса уходили вперед, за ними, как лафет за пушкой, волочилась широкая доска. Задние колеса, проехавшись по Сережиной груди, обогнали передние, Динку и с треском покатились дальше.

Мальчика несколько минут волочило на вожжах за колесами, потом что-то крякнуло, его больно щелкнуло по лицу ремнем, и Сережа откатился в ров на обочине дороги. Мерзлая трава расступилась и сомкнулась над ним, как вода.

Лошадь падает страшно. Несмотря на то что человеку падение грозит ушибами, переломами и даже смертью, оно не всегда вызывает сочувствие. И сам упавший, если только он не расшибся вдребезги, спешит с виноватой улыбкой подальше уйти от места катастрофы, точно он совершил что-то дурное или постыдное.

А лошадь падает страшно — она тяжело обваливается, с лязгом, грохотом и искрами.

Сережа с ужасом увидел бьющие по воздуху ноги. В первую минуту ему показалось, что их двенадцать, десять, по меньшей мере восемь. Лежа, он с бьющимся сердцем закрыл глаза, моля бога, чтобы это была не Динка. Но это была Динка.

Мальчик попытался подняться на локте, но резкая боль в плече остановила его. Он перевалился на другой бок... Понемногу, опираясь на здоровую руку, он поднялся, сел, ощупал ноги. Ноги были целы. Сережа попытался встать.

До Динки он добрался, мокрый от слабости и боли, и привалился к ней головой. В груди у кобылы что-то хрипело и свистело. Она лежала, вытянув красивую узкую голову, оскалив окровавленные зубы. Из ее сизого, как виноградина, глаза беспрестанно — одна за другой — катились слезы.

Содрогаясь от стыда и жалости, Сережа губами нашел ее бархатную морду и длинные мокрые ресницы.

Динка лежала неподвижно. Только на холке ее все время мелко ходила кожа, а тело изредка сотрясала короткая, резкая дрожь.

Солнце уже зашло. Темнело.

Вдруг Динка настороженно подняла острые уши. Она

услышала то, о чем Сережа догадался только минуту спустя: по дороге кто-то спускался.

Теперь Сережа уже мог различить цоканье копыт. В сумерках он узнал папаху с красным верхом. Но преследователь его не ехал, как он, напрямик, а спускался, описывая широкие полукруги.

«Идиот, негодяй!» — ругал себя мальчик.

Скрипнув зубами от боли, Сережа поднялся на ноги. Идти он не мог. Он застыл на месте, сложив руки на груди — умирать нужно стоя.

Тот, в папахе, остановил лошадь, не доезжая до конца шоссе. Сережа видел, как он дважды нагнулся к земле. Ага, это он подложил под колеса камни,— вот как надо действовать.

«Идиот, белоручка, барчонок!» — ругал себя Сережа. Вдруг слезы так внезапно подступили к его горлу, что мальчик икнул. Или это от страха? Ноги его мелко, противно дрожали. Холод шел от низа живота.

— Мамочка,— сказал Сережа почти громко,— мамочка, что же это будет?

С ужасом он различил во мраке еще много подвод на шоссе, услышал конский храп и голоса людей. Человек в папахе, перепрыгивая с камня на камень, подходил к нему.

Уже между мальчиком и его преследователем оставались какие-нибудь сажени три-четыре. Унимая дрожь, Сережа сжал зубы и закрыл глаза. Но даже сквозь опущенные веки он различал перед собой черный кружок дула.

— На́ тебе!..— пробормотал себе под нос доктор Борис Макарович, с изумлением вглядываясь в темное пятно на дороге.— Эге, да тут еще человек имеется,— сказал он, подходя поближе.— Это что еще такое? Учителенок, а ты откуда тут взялся?! — И доктор быстро шагнул вперед, потому что, если бы не он, мальчик ударился бы головой о камни.— Дедушка! — позвал Борис Макарович.

Скрипя и покачиваясь, к нему подъехала мажара.

— Вы в Одессу едете? — спросил Сережа.

— Господь с тобой, какая Одесса! В Одессе уже французы...— сказал доктор, подхватывая Сережу под

мышки.— А весу полпуда в тебе все-таки есть... Чего это ты там бормочешь?

— Динка... Динку, Борис Макарович, нельзя так оставлять!

Доктор пошел к дороге. Спустя минуту по шоссе прокатился выстрел.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Счастье

Сережа дышал тяжело и со свистом. А когда Борис Макарович наклонял к нему лицо, от тела мальчика тянуло жаром.

— Тридцать восемь и восемь обеспечены! — ворчал доктор, устраивая своего пациента на мажаре поудобнее.

Сережа навряд ли что-нибудь понимал, когда Борис Макарович ловко и привычно стал стягивать с него одежду.

— Здесь ободрано? Ничего! — сказал доктор, проводя осторожно пальцем по Сережиной груди.

Но мальчик содрогнулся: было такое впечатление, будто с него содрали кожу...

— Маленькие осколочки удалим днем, при свете, пинцетом,— бормотал Борис Макарович.— Так, так... Эге, да тебя, оказывается, ранили? Вон кровищи сколько вытекло! Не дергайся, голубчик, одну минутку. Пока не совсем стемнело, нужно же тебя осмотреть... Плечо цело... А как дела с ключицей?.. Ничего, ключица заживет. Ну, благодари своего бога... Ого, а это что? Когда ее успело так раздуть? Больно? — спросил доктор, слегка потянув мальчика за кисть правой руки. Но Сережа не ответил. Как только Борис Макарович коснулся его локтя, мальчик от ужасающей, непереносимой боли потерял сознание.

...Очнулся Сережа на мажаре. Его чуть укачивало,

как в лодке. С неба смотрели большие звезды. Слабо ныло плечо. Рука неподвнжно лежала в толстом лубке.

— Доктор, куда мы едем? — спросил он тихо.

— Уж куда-ннбудь доедем,— ласково отозвался знакомый голос.

— Да это дедушка Дудннк! — обрадовался Сережа.

— Товарнща доктора не буди, нехай сплят, знаешь — человек стомленный, делнкатный...

Обгоняя их, проехала подвода. Сильный ветер рвал нз-под снденья солому и клочьями уноснл назад.

— Раненые, кавалеры? — спроснл дед Дудннк, наставляя вперед ухо.

— Легкораненые,— браво ответнли оттуда.

Подвода медленно объезжала по стерне мажару, и вдруг хлопчик — погоныч на мажаре,— не стерпев, стегнул лошадей, и всех сильно толкнуло друг о друга.

— Чего балуешься! — сердито сказал дед.— Тут человек у груди раненный есть — растрясет его за радн тебя!

На соседней подводе ннкто не лежал — все курили сидя.

— И входит, ты понимаешь, этот самый солдат,— донеслось до Сережи,— и смотрит: ей-богу, обыкновенный человек, с бородкой, немолодой...

— Немолодой?! — восторженно переспросил кто-то.

— Ну, твоих лет примерно... Смотрит солдат, какое тут у Леннна богатство?

Сережа, с трудом повернув голову, прислушался.

— А богатство у Ленина такое,— продолжал ровный голос,— двое коечек железных стоят, солдатскими одеялами застелены, да гардеробчнк страшненький в угле... Лампа, конечно, электрическая...

— Дурачье! — пробормотал кто-то рядом с Сережей.— Оны думают — Ленин нм в короне будет ходить...

Дед Дудннк засуетнлся. Шаря руками по сену, он осторожно перелезал через спящнх.

— Йнх! — скрипнул зубамн тот же парень рядом.— И чего толочься по ногах? И крутится и крутится, як той навоз в прорубн!

— Лежн, лежи,— виновато зашептал дед,— то ж я

чайничка искал... А ну-ка, кавалеры, кто пить хочет? Бо колодец сейчас, все равно воду выливать буду.

— Я хочу,— очнувшись, сказал Сережа и зажмурился от хлынувшей ему прямо в лицо воды.

Над ним висел носок огромного ведерного чайника. Мальчик поспешно перехватил его здоровой рукой.

— Ничего себе чайничек! — сказал сердитый парень.— Забери его, за ради бога, отцеда! Цэ ж вин мени и натолкал боки!

— Заберу. Нехай только оны напьются,— ответил дедушка Дудник миролюбиво.

Непонятно, почему он сказал «оны». На делянке дед ко всем ребятам обращался на «ты». А вот это «оны» и испортило все дело.

— Панов нету, холуев не требуется! — сказал сердитый парень.— Чем гимназистов возить, лучше бы Алешку Тандитного забрали. Когда еще вторая партия пойдет!

А у Сережи от сделанного усилия уже стоял в глазах горячий красный туман. И сено под ним стало жарким и мокрым. Сережа хотел было пошевелить больной рукой, но ее вдруг не оказалось. Потом таким же образом исчезла левая рука, за ней — одна нога, другая... Потом всего его как будто не стало.

«Это, кажется, смерть,— подумал мальчик.— Значит, этот Дурак все-таки убил меня? Нет, не может быть: я ведь потом разговаривал с Борисом Макаровичем».

Додумать, однако, эту мысль до конца было невозможно, потому что Сережа уже плыл высоко над землей, только изредка почему-то стукаясь о грядки телеги.

Доктор Борис Макарович видел много смертей на своем веку, но эта приближающаяся смерть тревожила его как-то особенно. У Сережи не было никаких оснований для того, чтобы умереть.

«Никаких буквально!» — думал Борис Макарович сердито.

Потеря крови велика, еще полчаса — и она стала бы катастрофичной. Но до этого не дошло. Ранение может быть отнесено к разряду легких. Вывих ликвидирован. Общая слабость организма? Но ведь субъекты с такой

конституцией обычно и оказываются наиболее выносливыми. Нет, тут что-то да не так!

Кроме чувства невыполненного медицинского долга, Бориса Макаровича одолевали еще и воспоминания. Он ясно вдруг увидел дощатые, усеянные клопиными точками стены Миасского пересылочного пункта, куда Кульчицкая вызвала его к умирающему мужу. Робкая серенькая весна за окном, горбатые вороны на талом снегу, грубый голос, выкрикивающий что-то в телефон, и молодое светлое лицо, глубоко ушедшее в подушку.

Легкие волосы и сияние в глазах у Сережи безусловно от Нины Леонидовны... Но вот эта твердая черточка на подбородке, складки по углам рта, эти маленькие, крепко сжатые кулаки у Сережи, конечно, отцовские.

— Милый человек, светлый большевик,— бормотал доктор,— тогда я был бессилен, но теперь — клянусь! — я продлю твою жизнь! — Борис Макарович имел в виду жизнь Андрея Кульчицкого. Ведь должен был Сережа унаследовать от отца еще что-нибудь, кроме упрямства.

Вторые сутки доктор почти не выпускал из рук Сережиной руки. Мажара поскрипывала. Где-то сзади негромко переговаривались раненые. А Борис Макарович все время возвращался к одной и той же мысли: «Чашку бульона с желтком... Или стакан вина, хорошо бы тоже с желтком... Или хотя бы немного водки». Однако ни того, ни другого, ни третьего не было.

Подбородок мальчика покрывала синюшная бледность, глаза запали. Веки его все время были неплотно сомкнуты, и сквозь них нехорошо белело. «Глаза закатились, что ли?» — думал Борис Макарович с тревогой.

— Сережа! — еще раз позвал он.

Сережа слышал, но ему не хотелось отзываться. Все время на мальчика наплывала какая-то мгла, и всё, всё в мире точно останавливалось. А потом его вдруг с силой выносило вперед, и тогда он чувствовал, что у него все-таки бьется сердце.

Сережа не знал, что Борис Макарович уже в который раз с тревогой наклоняется над ним и щупает его пульс.

— Сережа! — снова говорил он ласково.— Сереженька! Ты не поддавайся, учителенок, жить очень интересно!

...Умирать тоже было интересио. И, главиое, умереть было гораздо спокойиее, чем жить. Маму жалко, но тут уже иичего ие поделаешь! Комсомол? Да, Наташа права — билет будет жечь ему руки... Уже жжет... Господн, какая боль!

Сережа закрывал глаза и взлетал куда-то вверх, потом разом камнем падал книзу. Это было самое мучительиое. А потом сиова можно было дышать и думать...

Какой ои комсомолец! Он барчонок, белоручка и всем прииес много вреда. Ои погубил Диику. Ои не выполнил даже этого единствениого поручення, которое ему доверили... Во всех окружающих ои вызывает чувство презреиия... И зачем это его еще заставили иапялить Вадииу шииель!

Мимо пролетали телеграфиые столбы. Потом вдруг, громко щебеча, иад самым Сережниым лицом проиеслись птицы. Когда же будет остаиовка? Куда оии едут? Или остановка — это уже будет смерть?

— Сережа! — еще раз позвал Борис Макарович.

И мальчик сиова ие откликнулся.

И вдруг доктор хлопиул себя по карманy парусииового балахоиа, иадетого поверх полушубка.

Лекарство было тут же, под рукой, в мокром, оттаявшем кармане. Как это ои забыл про него! Но только имеет ли доктор право это лекарство применить?

Борис Макарович вспомнил своего учителя, друга и иаставиика, профессора Бернадского. Что сказал бы тот? Бериадский, безусловно, сказал бы: «Наша задача — любым путем прекратить это состояние прострации. Состояиие это опасно уже тем, что человек как бы соглашается умереть. И ие восторгайтесь вы при мие, пожалуйста, «тихой смертью», «успением», «легкой коичиной»! Это хорошо для святых — иезаметиый переход от бытия к иебытию. Нет, батеиька, настоящнй человек — пускай в муках, пускай в корчах, но обязаи противиться смерти! Иной раз такая способность к сопротивлеиию вывозит тогда, когда иаука уже как будто бессильиа... Именно «как будто», потому что изучение вот такой способности оргаиизма к сопротивлеиию и должио стать предметом науки!»

Борис Макарович суиул руку в карман: «Не размокли? Нет, всё как будто в порядке».

Профессор Бернадский сказал бы: «Любым способом вызывайте в пациенте интерес к жизни! Пусть он останется в живых хотя бы от злости... Или ради любви... Или из ревности... Пусть только он останется жив! А там уже мы, врачи, поднимем его на ноги».

— Сережа, а знаешь, что мы вам везем? — спросил доктор так громко, что его услышали на соседней подводе.

Мальчик открыл глаза и тотчас же закрыл их снова. Эта фраза Бориса Макаровича дошла до него точно из другого мира.

Вытащив толстый пакетик из кармана, доктор с силой дернул бечевку. Узел не поддавался, и Борис Макарович помог себе перочинным ножом. В руках у него очутились маленькие рыжие книжечки.

— Учителенок, слышишь?! — выкрикнул доктор над самым ухом своего пациента.— Мы везем вам комсомольские билеты... Подпольный уком комсомола... — Борис Макарович запнулся было, но, кроме деда Дудника и раненых партизан, никого поблизости не было.— Так вот, уком комсомола выписал на всю вашу братию комсомольские билеты!

И вдруг в темноте рука Бориса Макаровича встретилась с горячей, влажной Сережиной рукой. В первый раз за эти дни мальчик пристально и ясно смотрел ему в глаза.

— Всем... всем нам? — переспросил Сережа тихо.

— Да, четыре билета на восьмую делянку... Всем как будто... Ну что же ты, Сергей? Сергей! Сережа!

— Нас пя-те-ро... — с трудом выговорил мальчик, опять съезжая куда-то вниз, в темноту.

— Инъекцию следовало бы сделать! — пробормотал доктор сердито.— А тут ни камфары, ни шприца!..

...Сережа уже хорошо различал приближение беспамятства. Оно так легко и слабо обволакивало его, что кажется, подуй, пошевели рукой, крикни — и оно тотчас же улетучится. Но ни кричать, ни двигаться у Сережи не было сил. И, главное, не было желания!

Однако и в беспамятстве мальчик слышал голоса, различал отдельные слова, а то и фразы.

— Поменьше бы нянчились — здоровее был бы! — сказал над ним сердитый парень.

Мажара, завизжав, остановилась. Потом Сережа услышал: «Драгомирюк, это какой же?» — «А вон с доктором». А потом чей-то звонкий тенорок сказал над самым его лицом:

— Как дела, Сергей Кульчицкий? Доктор Ежов жалуется...

Но на что кто жалуется, Сережа уже не расслышал. Он мучительно соображал, кто такой доктор Ежов... Ежов, Ежик... Да это же Борис Макарович!

— ...Но ты не волнуйся! С Натальей Панченко мы еще потолкуем,— продолжал звонкий голос,— Наталья Панченко для комсомола далеко еще не потеряна...

Вот сейчас необходимо было бы крикнуть, подуть, пошевелиться — прогнать эту мутную мглу... Или хотя бы открыть глаза... Сережа с трудом поднял тяжелые-тяжелые веки. Небо было почти черное. Ярко белели звезды. Над Сережей склонилось чье-то лицо.

— Будем знакомы. Драгомирюк Семен, секретарь Ананьевского укома комсомола... Мы с твоим дружком Вадимом Шалыгиным вместе в «поезде смерти» бедовали... Вот везем вам билеты. Ты, значит, беспокоишься, что Наталья Панченко...

— А Вадим Шалыгин? — спросил Сережа отчетливо.

— Что — Вадим Шалыгин? — переспросил Драгомирюк с недоумением.— Ах, приняли ли его в комсомол? Безусловно... Нам таких только подавай! — И, повернувшись к Борису Макаровичу, пояснил: — Этого Шалыгина я с «поезда смерти» знаю... А ты, Сергей, не волнуйся: мы и Панченко Наталью... Эх, напрасно только она свое заявление разорвала!

— А как со мной... обстоит дело? — выговорил Сережа неловко.

— Приняли, приняли! — вмешался Борис Макарович.

Сейчас, пожалуй, ничего нельзя было разглядеть, но, поднеся рыжую книжечку к самому носу, доктор сделал вид, что разбирает по слогам:

— «Фамилия — Кульчицкий. Имя и отчество — Сергей Андреевич. Год вступления — 1918. Выдано Ананьевским укомом комсомола». Печать, подписи — всё в порядке.

— Стойте, так это сам Кульчицкий, значит? — ото-

звался рядом сердитый голос.— Чего же было сразу не сказать! — И парень с раздробленной голенью, охнув, подвинулся в сене, точно освобождая Сереже место.

— Товарищ доктор, хоть бы посмотреть, какой он из себя. А то всё болтают: «Кульчицкий, Кульчицкий», а мне и не в голове, что это он самый в шинельке и есть...

— Можно мне подержать его немного? — тронув пальцем билет, тихо, но внятно спросил Сережа.

— Да бери его пока! Потом вручать будем. Торжественно... Карман-то у тебя есть? — спросил Драгомирюк весело.

— А я — за пазуху... — глухо ответил Сережа и опять съехал куда-то в темноту.

Кроме доктора, в Сережином выздоровлении никто ничего чудесного не заметил.

— Всё в порядке,— сказал часа через два Борис Макарович деду Дуднику.— Будет жить! Ты только смотри за ним как следует. А я вздремну немного... Давай ему есть, пить... Ребята натолкли специально для него пшеницы — кашу сваришь...

— Да уж не бросим его, присмотрим,— отозвался сердитый парень.

— А тебя где поранило, хлопец? Ты с какого отряду? — деловито, как равного, спросил кто-то из темноты.

Сережа смутился.

— Я? Я нет... — ответил он, краснея.— Я же не раненый, я — так просто... — пробормотал он неразборчиво.

— Что «так просто»? И чего нести ерунду! — грубо перебил его сердитый парень рядом. И, пристроившись поудобнее в сене, объявил во всеуслышание: — Да объяснял товарищ Драгомирюк, кажется: поранено у него плечо, вторая пуля задела ключицу, и потом еще при падении вывихнул руку. Четыре часа лежал без памяти. Две трети крови, говорят, потерял. Сергей Кульчицкий звать, с отряда Рудаковского... Ранило его, когда он отводил преследователей от дома Рудаковского... Есть здесь с рудаковцев кто, а?

— Да тут полмажары — всё рудаковцы,— с трудом ответил тяжелораненый тихо.

Кто-то, несколько раз ударив кресалом по кремню, зажег лучину и посветил Сереже в лицо.

— Совсем еще хлопчик! — сказал человек и задул огонь.— Ну, спасибо тоби большое, хлопчик: такого героя спас! Александр Рудаковский еще Советской власти сгодится!

Сережа задохнулся от неожиданности, от радости, от испуга... Он ждал, что вот сердитый парень засмеется и все засмеются вместе с ним. И тогда Сереже останется только умереть.

Однако никто и не думал смеяться.

— Значит, первое свое боевое крещение принял,— много времени спустя с уважением произнес тот, кто зажигал лучину.

А Сереже хотелось плакать, и смеяться, и разговаривать, только мешала эта противная мутная слабость.

Спать он уже не мог. Луны не было. Она шла, видно, где-то низом, за черными рваными тучами, и от этого степь была полна неровного колдовского света. Вдруг мальчик вздрогнул. Ниже дороги он разглядел темную кучку людей. Один из них опрометью бросился к синевшим на пригорке кустам.

— Борис Макарович... — расталкивая доктора, тихо сказал Сережа, показывая на подозрительные фигуры.

— Что, старик, оружие еще у кого-нибудь есть? — нащупав револьвер, спросил вполголоса доктор.— Интересно, что за люди?

Дедушка Дудник неторопливо обернулся к нему:

— Оружие все у партизанов наших... А они нас уже поберегут! — И, вглядевшись в подозрительную кучку, добавил: — Смотрю это я, что у молодых теперь глаза ни-и-куда не годятся! То же не люди, а дрохвы — птица такая.

«Это он Бориса Макаровича считает молодым!» — подумал Сережа.

— Дрохва же не гусь, перо без сала. Вот ее вчера туманом и примочило. А сегодня мороз вдарил — крыла и попримерзали... Беги, бедна, як та курка...

— Смотри, дрофы какие поздние! Ох, сейчас берданочку бы! — вздохнул кто-то на краю мажары.

— Лежи, лежи, «берданочка»! Аж зубами скрегочет человек, что птицу не подстрелил, а? — укорил дед Дудник.— Видел я его, этого охотничка, так и лезет на немца, так и лезет! От берданки его один приклад ос-

тался, а он все одно — лезет!.. Я вот думаю,— поворачиваясь к доктору, добавил дед,— что как охотник, так обязательно должен быть человек злой... Чи они в болоте простуженные, чи що... Все охотництво это с Сибиру пошло: там народ с мала́ злой. Видно, си-и-льно тяжело ему под царем было...

— А тебе под царем си-и-льно легко было? — передразнивая, спросил сердитый парень.— Давно зад от шомполов загоился? [1]

Дедушка Дудник обиженно замолчал.

Мажара тихо скрипела по дороге. Степь была полна каким-то странным диким шумом. Что-то звенело, визжало, скрипело... И потому, что встречный ветер сильно гнал тучи, казалось, что все небо летит назад, звезды летят назад, большой ветер ломит кусты и кусты тоже клубками летят назад.

— Сережа! — тихо окликнул доктор.

Мальчик промолчал. Но на этот раз он промолчал для того, чтобы не прерывать это большое и точное ощущение счастья.

— Спишь, старик? — еще тише спросил доктор.

— Нет, не-ет! — радостно засуетился дед.— По-стариковски — який може быть сон!

— Знаешь, я вот вспомнил тоже одну ночь,— начал Борис Макарович, и Сережа не узнал его обычно ворчливого голоса.— На турецком фронте я работал на перевязочном пункте. Приехали мы в одну деревню ночью... Вот сейчас, понимаешь, подводы идут: скрип, шум, звон стоит над степью. Эхо! А там никаких подвод — и вдруг, слышу, вся земля, понимаешь ли, гудит, тарахтит, звенит... «Что такое? — спрашиваю.— Что случилось?» — «А это, говорят, народ саранчу гонит». Саранча снялась, понимаешь, и, чтобы она не села снова, они ее звоночками, трещотками, из ружей палят...

— Ой,— сказал Сережа, беря руку доктора здоровой рукой,— ой, Борис Макарович, миленький...

«Оживает, оживает учителенок»,— подумал доктор, помяв его пальцы.

— Так и мы погнали свою саранчу, погнали, дорогой

[1] Заго́ился (укр.) — зажил.

товарищок! — тоненько сказал дед Дудник, всхлипнув, и в темноте было не понять, плачет старик или смеется.

— Саранчу погнали, а саранчата пооставались! — вдруг отозвался сердитый парень.— Немцев выгнали, а, смотри, вси капиталисты со всего свету на нас лезут. Французы Одессу и Крым заняли, англичаны — Кавказ...

— И саранчат погоним, великое дело! — сонно сказал охотник с края мажары, не дослушав.

— Сейчас, може, и не великое, а как они с силой соберутся — будэ великое! — не унимался сердитый парень.— Где же это ты видел, чтобы волка с такой поживы согнать, да чтобы он не оглядался!

Охотнику было уже не до сна. Он сел, протирая глаза и почесываясь.

— Ну и чего лезешь в бутылку? — сказал он наставительно.— Тебе сколько лет?.. Во-от! А мне уже на пятый десяток поворачивает. Видел я немцев — я под командой генерала Брусилова наступал. И французов видел — нас в шестнадцатом в самую Францию перегнали... Как мы потом домой пробирались — горе горькое! Всяких повидали! — Охотник скрутил цигарку и через всю мажару потянулся за огнем.— Оны, говоришь, с силой соберутся? А мы что? Сейчас мы их только вполсилы погнали... Самое главное — наш народ весь такой: як схочет — так и на гору вскочит!

— Скажи, милый человек,— тихо спросил тяжелораненый,— а какие французы из себя? Вроде немцев будут? Чего они за буржуев идут?

— Французы — народ... как бы тебе сказать... веселый больше. Польскую веру держат. Только народ, ты запомни, дорогой товарищ, никогда за буржуя не пойдет! Ты разве за буржуя шел, когда тебя царь на фронт погнал? За французов я не беспокоюсь: сами не уйдут — так мы их из Одессы в два счета выставим!

Сережа лежал молча. Иногда на глаза его почему-то наплывали слезы.

— Мамочка, милая, храбрая, спасибо, что ты меня отпустила! — шептал он про себя.

Потом он принимался думать о «коммуне». Как там ребята справляются без него? Не очень ли волнуется мама? Что сейчас написано на доске? Как там на делянке Вадим, Наташа, Домочка, Федя?

Ничто-ничто уже не сможет нарушить его счастье. Самое главное уже произошло, а дальше все будет как надо. Осторожно, чтобы не потревожить больную ключицу, Сережа сунул руку за пазуху и нащупал рыжую книжечку.

Слабо ныло плечо. Иногда ветром в лицо Сереже кидало пылью и соломой. Вдруг на одну минуту мальчику почудилось, что они вдвоем с Домочкой сидят на скамейке. Домочка задремала, и ее гладкая головка легко скатилась Сереже на плечо.

Еще плотнее зажмурив глаза, мальчик ласково улыбнулся в темноту.

Одесса—Ленинград—Москва
1938—1956 гг.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Сережа закрывал глаза. Нина Леонидовна брала сына за руку и вела по Одессе. Он отгадывал улицы по звукам и запахам. Так было раньше. Теперь Сережа для этой игры вырос и согласился поиграть в «слепца и поводыря», только чтобы не огорчить маму.

Но зато Зинаида Шишова словно берет читателя за руку и ведет по Одессе и Одесщине 1918 года.

Стоит тебе открыть книгу «Год вступления 1918», и ты сразу оказываешься в квартире Ольги Ивановны Веде, будто бы вместе с тремя гимназистами — Сережей Кульчицким, Вадей Шалыгиным и Женей Гребенюком — живешь у «Ольки — Екатерины Великой», на полном пансионе.

Ты понял, что не сегодня-завтра в город войдут немцы, и видишь, как Веде ждет не дождется их. Но ты видишь и другое — Сережа, Вадя и Женя страстно не хотят ухода красных.

Из деревни приехала Сережина мама, сельская учительница, привезла пшено для детских домов и с мальчиками долго тащила по улицам тяжелый мешок.

А потом автор привел тебя в сердце революционной Одессы — штаб Красной гвардии. И ты, сегодняшний школьник, узнал, что тетрадей тогда не хватало, и, видно, Советская власть очень заботилась, чтобы ребята учились, если дежурный член штаба Рудаковский из своего скудного запаса выделил Нине Леонидовне для ее школы целых десять тетрадей! Еще важнее то, что он сказал: «А мы сейчас гимназии, прогимназии, народные училища, сельские школы — все сравняем». Вот как она рождалась, советская единая трудовая!

И, конечно же, тебе казалось, что ты был подпольщиком — вместе с Сережей приглядывая за лошадьми у «Выпечки восточного теста», маскировавшей подпольную типографию; что ты сам был партизаном — может быть, лежа в партизанском госпитале под самым носом у немцев, жил в «лесной коммуне».

Прочтя эту повесть, ты понял, что революция проверила и размежевала людей. Франя, чтобы спасти типографию, не пожалела своего нарядного платья, бросила в чан с черной краской, а ее бывшая хозяйка Веде, помогавшая немцам, предлагала украсть пшено у детских домов. Она хотела выйти замуж за Вадиного отца, потому что он «благородный», то есть дворянин. Но истинное благородство капитана царской армии Шалыгина в том, что он перешел на сторону красных.

Нина Леонидовна, вдова профессионального революционера, но сама беспартийная, на страницах повести становится коммунисткой, настоящей боевой подругой Андрея Кульчицкого. И ты этому веришь: ты видел все, что ей пришлось пережить.

Не меньшие перемены произошли в ней как в матери. В одной из первых глав, «Торговая, четыре», Нина

Леонидовна боится послать Сережу «разнести кой-какую почту». В одной из последних глав, «Динка», она отпускает сына на действительно опасное задание. Их обоих революция подняла «выше человеческого роста».

Ты узнал и то, что люди делятся не только на белых и красных: в жизни все гораздо сложнее. Директор гимназии «Володенька» против ученических комитетов, но он и против немцев. Женя справедливо заслужил прозвище «ананьевского мещанина», но он не предал красных.

И немцы, как это было на самом деле, показаны разными. Не говоря уж о тех, кто обирал рыбаков, порол крестьян, бесчеловечно обращался с людьми, заподозренными в большевизме, что общего между двумя немками-колонистками — фрау Гетекемер, которая спала и видела, чтобы вернулись буржуи, и коммунисткой Анной-Марией?

Ребята в этой повести борются вместе со взрослыми. Так оно и было. Но тебе ни разу не пришло в голову, что Сережа, Вадя, Женя — взрослые. Ты даже, наверное, удивился: Зинаида Шишова давно выросла, а решительно все знает про мальчишек. А разве меньше помнит она о девочках? И ты, читательница, тоже, надо полагать, не обиделась на автора «Год вступления 1918» за своих сверстниц — Наташу Панченко, деревенскую девочку Домочку.

И вы не могли не задуматься, и очень серьезно, над взаимоотношениями детей и взрослых. Ты знаешь — ребятам свойственно превышать свои возможности. Так и здесь: не пожелав посоветоваться со старшими, они упустили Рудольфа Гепшке.

Но и взрослые бывают виноваты перед детьми. Зинаида Шишова, уважая своих читателей, не побоялась показать и это. Наташа справедливо упрекает мать: коммунистка, а дочери о Моревинте — юношеской коммунистической организации — не рассказала! Нина Леони-

довна была виновата перед Сережей, когда слишком берегла его.

Повесть «Год вступления 1918», изданная впервые в 1957 году, и историческая и современная. Историческая — потому что все в ней дышит тем неповторимым, словно бы уже таким далеким от нас временем. Современная — потому что и это отрочество ваших дедушек и бабушек в *главном* не отличается от вашего, а сегодняшняя Одесса по-прежнему «большой дом», населенный «своими людьми», как полноправный герой повести — Одесса 1918 года. Недаром на читательской конференции по книге «Год вступления 1918» одна девочка сказала, что, прочтя эту повесть, она захотела поехать в Одессу.

Наверно, ты спросишь, откуда Шишова так хорошо знает этот город и то время. Изволь. Зинаида Константиновна в первые годы Советской власти жила в Одессе, в Одесской губернии. Мало того, она участвовала в событиях, похожих на те, которые происходят в ее книге. Жила она, кстати сказать, и в «лесной коммуне».

В своей поэме «Блокада» Зинаида Шишова, обращаясь к сыну, говорит:

Волнуясь, сомневаясь и любя,
Как я боялась, милый, для тебя
Спокойной жизни, маленьких событий,
Холодных, ровных, равнодушных дней
Для юности бушующей твоей,
Чтоб жить легко и чтоб легко забыть их.
Нет, я беды тебе не накликала,
Но, если в мире есть беда,
То надо с ней расправиться сначала.

Чтобы уберечь тебя, читатель, от спокойной жизни, маленьких событий, холодных, ровных, равнодушных дней, она и рассказала тебе, как твои далекие ровесники расправлялись с бедой, которая была и есть еще в мире.

Этой же целью продиктованы и другие ее книги, которые ты, наверное, тоже читал. И, может быть, если бы Зинаида Константиновна не жила так долго в Одессе, она не написала бы и «Великого плаванья», и «Джека-Соломинку» и даже в соавторстве с С. Царевичем «Приключения Каспара Берната в Польше и других странах». Не одни книги и документы о путешествиях Колумба, восстания Уота Тайлера, Николае Копернике, но и собственные впечатления и переживания стояли у колыбели ее исторических романов.

Из сражений гражданской войны, бурных сельских сходок тех лет, надо думать, родился замысел «Джека-Соломинки». А из одесского порта с кругосветными рейсами его кораблей как бы вышла книга о великом плавании в Новый Свет. Корабельные мальчики флотилии Колумба — настоящие итальянцы конца XV столетия — в чем-то очень важном сродни Сереже и Ваде, и мальчикам наших дней, тебе, читатель. А английский деревенский паренек, один из руководителей восстания Уота Тайлера, Джек Строу словно старший брат Феди Рубана и сегодняшних колхозных комсомольцев.

Но, конечно же, не сразу Зинаида Константиновна стала писательницей и тем более не сразу начала писать для детей, хотя еще девочкой сочинила поэму о Христофоре Колумбе и другую — о восстании Уота Тайлера. Свое детство Зинаида Шишова словно бы не описала ни в одной из своих книг, и все-таки кое-что о том, «как она была маленькой», ты, ее читатель, узнал.

Она росла в большой, плохо обеспеченной семье учителя, с четвертого класса гимназии пришлось зарабатывать деньги уроками... И, конечно же, ее гимназические воспоминания вошли в повесть «Год вступления 1918». После гимназии Зинаида Константиновна учительствует в бессарабском городке Бельцы. И это пригодится для повести. Еще больше пригодится то, что вскоре в ее

жизнь властно войдет Революция. Совсем молоденькой девушкой она служит в продотряде, потом в отряде по борьбе с бандитизмом под началом продкомиссара Акима Онуфриевича Брухнова. Позже он стал ее мужем. А когда Брухнова назначили комиссаром полка в Киевский военный округ, Зинаида Константиновна поехала с ним и работала в красноармейских клубах Белой Церкви и Таращи.

Вряд ли кто из читателей знает, что писать и печататься Зинаида Шишова начала задолго до 1940 года, когда вышел ее первый исторический роман «Великое плаванье». Еще в 1918 году в Одессе она издала первую книгу стихов «Пенаты». О «Пенатах» похвально отозвался прекрасный русский писатель А. И. Бунин. Сотрудничала тогда Шишова и в одесских литературных журналах. В свой второй сборник стихов «Многолетье», вышедший в 1960 году в Москве, она включила много своих ранних стихов — о гражданской войне, о себе самой и комиссаре Брухнове.

В первые годы революции Шишова была членом того же одесского кружка «Зеленая лампа» — название повторяло название кружка пушкинской поры,— что и хорошо тебе знакомые Валентин Катаев, Юрий Олеша, Эдуард Багрицкий. В 1920 году она бок о бок с Багрицким служит в «Югросте». Ее посылают корреспондентом в Ананьевский уезд. И это не пройдет бесследно: «ананьевским мещанином», как ты знаешь, называет себя Гребенюк.

В 1924 году у Шишовой родился сын, и она на целых 11 лет оставила литературу. Однако все эти годы она жила такой трудной, но и такой богатой жизнью, что и сто творческих командировок не дали бы столько материала для ее книг. Любовь к сыну обернулась потом в ее произведениях действенной любовью к миллионам сыновей.

Казалось бы, Шишова совсем оставила литературу. Но сколько бы родник ни прятался под землей, все же он когда-нибудь да выбьется на поверхность. Так и настоящий талант. И все-таки, кто знает, вернулась ли бы в литературу Шишова, если бы не дружеское вмешательство Валентина Катаева?! Шел уже 1935 год. Катаев давно жил в Москве, куда и пригласил погостить Зинаиду Константиновну. Однажды он строго-настрого наказал домработнице Любе не давать Шишовой обеда, пока та не напишет воспоминаний об их общем друге Эдуарде Багрицком, умершем за год до того. Перетерпев два дня, Шишова написала. Воспоминания были напечатаны в альманахе памяти Багрицкого. А затем в популярных тогда журналах «Красная новь» и «Тридцать дней» стали появляться рассказы Зинаиды Шишовой для взрослых — «Кавалер Махаон», «Хутор дружбы» и другие — об Одесщине времен гражданской войны.

Незадолго до Великой Отечественной войны Зинаида Константиновна переехала из Одессы в Ленинград. В поэме «Блокада» в тесный узел переплетены героическая жизнь Ленинграда той поры с ее собственной жизнью. Воскресла в поэме и одесская молодость автора.

Летом 1942 года Александр Фадеев вместе со своими родными вывез в Москву на самолете больную тяжелой дистрофией Шишову. Вскоре в Москве вышли «Блокада» и «Джек-Соломинка».

Как и почему во второй половине 30-х годов возник у Зинаиды Шишовой замысел исторического романа о путешествиях Христофора Колумба? Не потому ли, что в Германии уже пришел к власти Гитлер, а в Испании народная война кончилась победой Франко?! Шишова в событиях конца XV века искала и находила ответы на вопросы, волновавшие человечество в конце 30-х годов нашего столетия, продолжающие волновать человечест-

во и сейчас. Новый Свет, в широком смысле слова, мы и теперь открываем.

Со вторым историческим романом Зинаиды Шишовой связано забавное недоразумение. Крупнейший специалист по восстанию Уота Тайлера академик А. М. Петрушевский, прочтя рукопись «Джека-Соломинки», принял ее за диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук и заключил, что «труд сам говорит за себя». Но он закончил свое письмо признанием: «Теперь, как рядовой читатель, считаю своим долгом сказать, что повесть ваша произвела на меня глубокое и отрадное впечатление. Если вы даже ничего не напишете больше, книга ваша не будет преходящим явлением и навсегда останется в русской литературе».

И в самом деле эта книга — один из лучших советских исторических романов.

Ты дочитываешь это послесловие, дочитал «Год вступления 1918», но ты полюбил героев повести, и тебе не хочется с ними расставаться. Вероятно, ты с ними еще встретишься. Ведь Зинаида Константиновна задумала не одну повесть, а целую трилогию о гражданской войне в Одессе и на Одесщине.

А. Акимова

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО
ВОЗРАСТА

Зинаида Константиновна Шишова

ГОД ВСТУПЛЕНИЯ 1918

Повесть

ИБ № 2312

Ответственный редактор
В. М. Писаревская
Художественный редактор
Л. Д. Бирюков
Технический редактор
Г. Г. Стан
Корректоры
К. И. Каревская и *Э. Н. Сизова*

Подписвно к печатн с готовых матрнц 25/XI 1977 г. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. тнпогр. № 1. Печ. л. 13. Усл. печ. л. 21,84. Уч.-нзд. л. 21,36. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1336. Цена 90 коп. Ордена Трудового Красного Знамени нздательство «Детская лнтература». Москвв, Центр, М. Черкасскнй пер., 1. Ордена Трудового Красного Знвмеин фабрнка «Детсквя книга» № 1 Росглавполнграфпрома Государственного комнтета Совета Министров РСФСР по делам нздательств, полнгрвфнн н книжной торговлн. Москва, Сущевскнй вал, 49.

Шишова З. К.

Ш65 Год вступления 1918. Повесть. Изд. шестое. Рис. Б. Маркевича. М., «Дет. лит.», 1978.

415 с. с ил.

В этой кинге чнтатели позиакомятся с юными бойцвмн революции, комсомольцамн 1918 года. Узивют, как жили их сверстиики, детство и юиость которых проходнли в годы гражданской войны и интервеиции иа юге Россин, как онн дружнли, как боролнсь протнв оккупаитов, как мужали и становились иастоящими борцами за дело иародв.

Ш $\frac{70803-014}{М101(03)78}$ 274—78 **Р2**






90 коп.